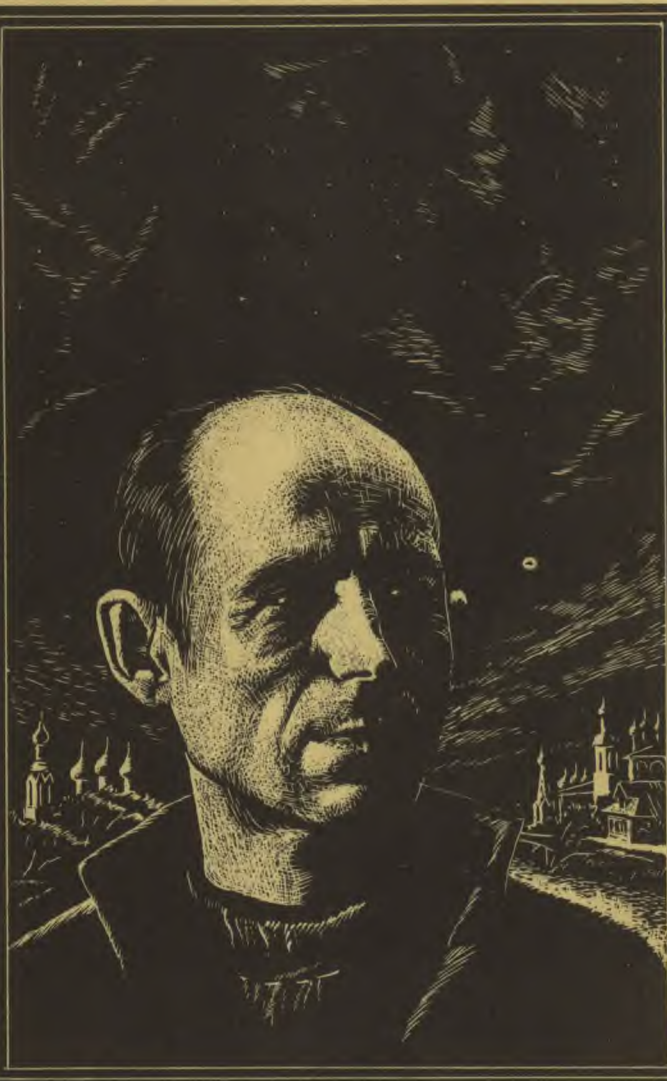


Воспоминания
о РУБЦОВЕ









Воспоминания о РУБЦОВЕ

Архангельск
Северо-Западное
книжное издательство
1983

Составители

В. А. Оботуров, А. А. Грязев

Рецензенты

В. В. Кожин, Д. А. Жуков, Ф. Ф. Кузнецов

B77

Воспоминания о Рубцове: [Сборник/Сост. В. А. Оботуров, А. А. Грязев; Предисл. В. Оботурова, с. 17—20; Худож. Ю. А. Воронов]. — Архангельск; Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Волог. отделение, 1983. — 320 с., портр., ил.

В книге этой предпринята первая попытка рассказать о жизненном и творческом пути Н. М. Рубцова (1936—1971). Воспоминания товарищей по перу, друзей, близких и знакомых Николая Рубцова, посвящения, документальные фотографии, собранные воедино, рисуют образ замечательного русского поэта, который ныне обрел уже миллионы читателей.

К $\frac{4603000000}{M157(03)-83}$ 19—83

8P2
ББК.83.3P7

© Северо-Западное книжное издательство, 1983

...ЗА ВСЕ ДОБРО РАСПЛАТИМСЯ ДОБРОМ,
ЗА ВСЮ ЛЮБОВЬ РАСПЛАТИМСЯ ЛЮБОВЬЮ...

Н. Рубцов

*Николай Михайлович Рубцов
(1936—1971)*



*Река Сухона. На противоположном
берегу — пристань Усть-Толшма.
В этом краю прошло детство
Н. Рубцова*





Н. Рубцов в Никольском детском доме

Похвальная грамота ученика третьего класса Н. Рубцова.





Министерство Просвещения
СВИДЕТЕЛЬСТВО

НАСТОЯЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО Рубцову
Николаю Михайловичу
(Фамилия, имя и отчество)
РОДИВШЕ мужа В 1936 ГОДУ, В ТОМ
ЧТО ОН ОБУЧАЛСЯ В Никаевской
СЕМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ с. Ананьин (название школы)
Боталовского р-на Вологодской обл. (район и край/область-АССР)
ПОЛНЫЙ КУРС ЭТОЙ ШКОЛЫ В ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ
СРОК 11 месяцев ГОДУ И ОБНАРУЖИЛ
ПРИ отличном ПОВЕДЕНИИ СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАНИЯ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРНОМУ
ЧТЕНИЮ 5 (пять)
ПО АРИФМЕТИКЕ 4 (четыре)
ПО АЛГЕБРЕ 5 (пять)
ПО ГЕОМЕТРИИ 4 (четыре)
ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 5 (пять)
ПО ИСТОРИИ 4 (четыре)
ПО КОНСТИТУЦИИ СССР 5 (пять)
ПО ГЕОГРАФИИ 5 (пять)
ПО ФИЗИКЕ 4 (четыре)
ПО ХИМИИ 4 (четыре)
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ использовал 4 (четыре)

560
18. июня

1950 года

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

УЧИТЕЛЯ: Аносова

Михайлов
Медведев



Н. Рубцов — матрос тралового флота. Архангельск, 29 мая 1953 г.





*Н. Рубцов во время военной службы
на Северном флоте (1955—1959)*



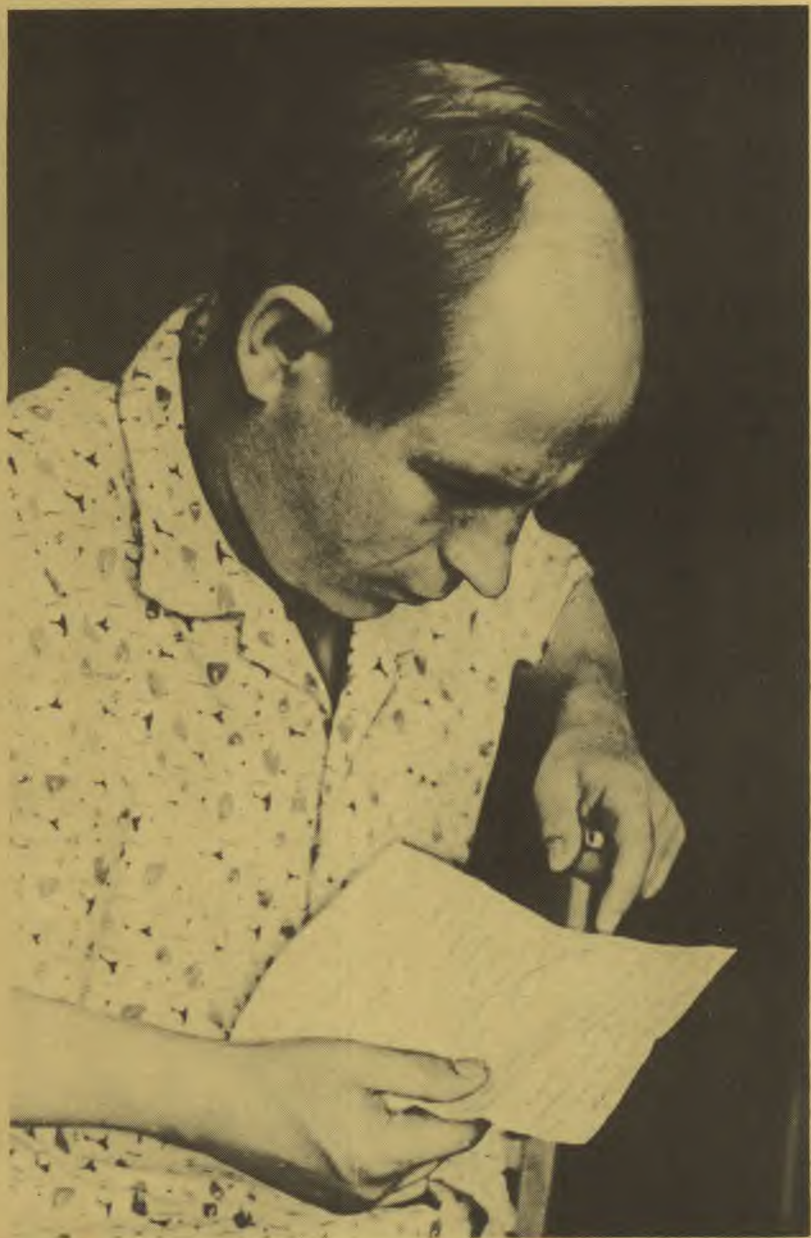


Николай Рубцов с девочкой Олей, 1955 г.

Н. Рубцов в 50-е годы.

Н. Рубцов и писатель Б. Чулков, 1965 г.





*Н. Рубцов. Вологда,
июль, 1968 г.*



*Н. Рубцов и поэт
В. Коротаев*

*Н. Рубцов в саду
областной больницы
г. Вологды.
Июль 1970 г.*





*Могила Н. Рубцова на воло-
годском кладбище*

*Улица имени Николая Руб-
цова в Вологде*



Жизнь людей выдающихся, талантливых, ярких всегда вызывает интерес читающей публики. Но когда заходит речь о воспоминаниях, нередко возникает своего рода настороженность — и вполне закономерная: а насколько точно, объективно память тех или иных людей воспроизводит прошлое, насколько соответствуют их суждения действительности?

Сознавая неизбежность подобных вопросов и небезосновательность таких опасений, приступали мы к работе над книгой воспоминаний о Николае Михайловиче Рубцове. Признаемся, поначалу возникли даже сомнения: а выйдет ли что из этой затеи? Дело в том, что отдельные материалы звучали, прямо скажем, бледновато, отражали жизнь Николая Рубцова и его духовный облик в каких-то случайных проявлениях. И лишь когда собраны они были воедино, из множества частных случаев и мелких подробностей сложился достаточно полный и определенный образ поэта.

Было бы наивно утверждать, что книга эта дает исчерпывающее представление о жизни и личности Николая Рубцова. Это всего лишь первый шаг к решению задачи. Иные воспоминания несвободны от субъективизма, в каких-то других чрезмерное внимание уделено вещам и явлениям второстепенным. Третьи больше сосредоточены на бытовой стороне жизни поэта, а не на его творческой лаборатории и духовном облике. Но, сознавая недочеты, нельзя не признать, что воспоминания знакомых и друзей раскрывают многие доселе неизвестные страницы жизни Николая Рубцова, отношение поэта к людям, к поэзии, становление его таланта, путь

от первых поэтических опытов к большому общественному признанию.

Особенно дороги свидетельства о первых жизненных шагах Николая Рубцова. Появление мальчика среди таких же, как он, сирот в Никольском детдоме в непосредственных впечатлениях передает Анатолий Мартюков, сам воспитанник этого детдома, его заметки дополняют воспоминания А. А. Меньшиковой, других учителей и воспитателей, однокашников Николая Михайловича. Собранные по крупице в переписке и беседах, отдельные штрихи показывают и обстановку, в которой начал складываться характер будущего поэта, и его самого — открытого и доверчивого к людям.

Образ бравого моряка, влюбленного в поэзию, воссоздают В. Сафонов и Б. Романов, отмечая в нем пытливость, неуспокоенность, неудовлетворенность своими первыми опытами. На новом этапе жизни поэта знали его в Ленинграде И. Михайлов, Б. Тайгин, Г. Горбовский и другие — то было время поисков и экспериментов, когда Николай Рубцов вплотную подошел к осознанию целей поэзии и своих задач в ней.

Утверждение поэтических представлений поэта и его взглядов на жизнь происходит уже в Москве, в пору учебы в Литературном институте имени Горького. В эти годы он много ездит по стране, много работает, живет подолгу в селе Никольском, а затем и в Вологде, где со временем находит постоянное пристанище. В 1964 году приходит к нему первый большой успех — с публикацией стихов в «Октябре», а затем и прочное признание — с выходом книги «Звезда полей» (1967).

Материалы о жизни Николая Михайловича Рубцова в эти годы очень разнообразны. В одних он показан с бытовой стороны, в пестроте окружающей среды (Б. Шишаев, В. Кузнецов и др.). В других отчетливо означены черты духовного облика и характер поэта (С. Куняев, Э. Крылов, М. Корякина). В центре внимания В. Кожина — собственно творческий круг, в котором окончательно сложился поэт. А воспоминания В. Елесина, С. Чухина и некоторых других приоткрывают его творческую лабораторию.

Свидетельство большой популярности Николая Рубцова в поэзии — многочисленные стихотворные посвящения его памяти. Далеко не все из них вошли в книгу. И те, что вошли, мы понимаем, неравноценны по своему

поэтическому достоинству. Но так или иначе все эти стихи помогают дорисовать духовный облик поэта, в какой-то мере вписывают его в контекст современной поэзии. При этом некоторые из стихов-посвящений — сошлемся хотя бы на имена С. Куняева и А. Передреева — представляют собою весьма примечательные поэтические явления.

Наряду с воспоминаниями и посвящениями в книге впервые публикуются некоторые материалы из творческого наследия Николая Михайловича Рубцова — стихи и переводы, заметки и письма. Надо иметь в виду, что эти материалы при жизни поэта не предназначались для печати.

Меньше всего думал Н. Рубцов, что его письма к друзьям станут достоянием читающей публики. Они и писались между делом, второпях, как обычно бывает в наш век, безразличный к эпистолярному творчеству. Тем не менее письма приоткрывают какие-то штрихи жизни поэта, его представления, отношение к людям и — главное — к поэзии. Этим они для нас и интересны прежде всего.

Стихи, опубликованные в этой книге, относятся главным образом к раннему периоду поэтической работы Николая Рубцова. Они нередко экспериментальны (как, например, «На перевозе»), носят следы ученичества. В них поэт пробует разные способы и формы письма, ищет подходы к различным темам. Здесь он нередко публицистичен («Сердце героя», «Октябрьские ветры», «Рассказ о коммунисте»). Но, убедившись, видимо, что публицистика не соответствует его духовному складу, он впоследствии не писал стихов подобного рода и этим сам оставил на страницах районной газеты, не помышляя публиковать их в книгах. Стихи эти гораздо слабее зрелых произведений Николая Рубцова. И все-таки, думается, они дадут какие-то дополнительные представления о том, как формировался поэтический мир Николая Рубцова, и помогут развеять бытующее еще мнение, будто поэт изначально был «традиционен», не ведал никаких исканий.

Формирование представлений Н. М. Рубцова о поэзии показывают его заметки и статьи. Уже в предисловии к рукописному сборнику «Волны и скалы» (1962) Николай Рубцов четко сформулировал для себя отношение к «игре», эксперименту в поэзии, вплотную подо-

шел к сознанию необходимости для поэта общественной позиции. Краткая заметочка «О себе» (1963) примечательна тем, что в ней поэт близок к четкому пониманию своего поэтического пути. Статья «Подснежники Ольги Фокиной» (1966), хотя и написана она по частному поводу, ставит целый ряд общих, основных для поэзии проблем — поэт и народ, поэт и традиция, частное и общезначимое в лирической поэзии и т. п.

Своим разнообразием материалы, представленные в книге, открывают возможности для самых различных сопоставлений и выводов. В них отражаются характер и личность большого русского поэта Николая Михайловича Рубцова, обстоятельства его жизни. А отсюда — возможность глубже прочесть многие его стихи. Если все это найдут читатели в нашей книге, мы сможем считать свою задачу, хотя бы в малой мере, выполненной. Надо полагать, со временем появятся другие материалы, новые книги. И пусть читатель примет эту первую, снисходительно простив ее неизбежное несовершенство.

Василий Оботуров

I. ВОСПОМИНАНИЯ И ПОСВЯЩЕНИЯ



ЕГО ПОДСНЕЖНИКИ

Талант — всегда чудо. И потому всегда неожидан. Читая Николая Рубцова, невольно думаешь: как мог на такой скудной почве, на заглохшем и невспаханном поле, да еще под затянувшееся ненастье, вырасти и взреть такой удивительный колос, каким предстает сейчас перед нами его поэзия. Или уж талант и в самом деле — неумирающее семя, способное прорасти даже и под тяжелым камнем трудной судьбы и, сдвинув его, пробиться на свет...

Жизнь, кажется, сделала все, чтобы убить зернышко его дарования еще до того, как оно даст росток. Едва ему исполнилось пять лет (Николай Михайлович Рубцов родился 3 января 1936 года в поселке Емецк Архангельской области), началась война. Ушел на фронт отец — и всякая связь его с семьей прервалась... А вскоре будущий поэт лишился и матери: она тяжело заболела и умерла.

Став сиротой, маленький Коля Рубцов попал в детдом, а сказать точнее — в бедный сельский приют, не имевший ничего общего с детдомами, какими страна располагает теперь. Приют теснился в обыкновенном для вологодской сельщины бревенчатом доме, правда двухэтажном: такие дома ставили мужики «справные», большесемейные...

К этому времени дом был пуст. Здесь-то, в селе Ни-

кольском Тотемского района Вологодской области, и суждено было провести Коле Рубцову целых семь (с 1943 по 1950 год) сиротских — горьких и счастливых — лет. Именно счастливых, потому что, случись такое до революции, пришлось бы ему вместе с младшим братишкой брести по миру, собирая кусочки, и еще неизвестно, был бы у России поэт Рубцов или нет... А в детдоме Коля Рубцов худо-бедно, а был все же одет, обут, накормлен и, что особенно важно, как и все деревенские ребяташки, учился в школе.

Сверстники Николая Рубцова, да и бывшие его учителя сейчас пытаются вспомнить, каким он был в те годы, но, к сожалению, память их не столь подробна, как бы нам хотелось. Хорошо помнят все лишь одно: Коля Рубцов от природы был мальчиком застенчивым, но учился хорошо, много читал. Когда начал писать стихи — неизвестно, хотя однажды вроде бы видели его стихок в стенгазете... Вполне возможно, что стихок этот и в самом деле был. Во всяком случае, мог быть, потому что сам Н. Рубцов в заметке «О себе», написанной для первого сборника стихов «Над вечным покоем» (сборник вышел позже и под другим названием), подтвердил: «Стихи пытался писать еще в детстве».

Запоматовали ровесники, а может быть, и не знали, что «тихонький» Коля в эти самые годы, начитавшись книг о морских путешествиях, буквально бредил морем.

С годами зов моря не только не умрет в его душе, а станет еще сильнее, и он осуществит-таки свою мечту. Море станет одной из самых ярких страниц его жизни и одновременно серьезным испытанием, суровой жизненной школой.

Стоит перелистать сборники его стихов, чтобы убедиться в этом. У него, как и у Сергея Есенина, наиболее подробной из написанных им биографий являются его стихи. И если он писал:

Никем по свету не гонимый,
Я в этот порт явился сам,
В своей любви необъяснимой
К полночным северным судам, —
(«Старпомы ждут...»),

то можно быть уверенным, что все здесь подлинно — и сам факт, и психологическое состояние «лирического героя».

А началось все с того, что 12 июня 1950 года, закончив семь классов (тогда ему исполнилось 14 лет), юный Рубцов отправился в Ригу: там было море и — верх его мечтаний — мореходное училище! Но... «мореходка» «не приняла» юного романтика, потому как к тому времени ему не исполнилось еще пятнадцати лет.

Можно представить себе горе подростка! Рухнула, как карточный домик, первая его радужная мечта. Сам поэт об этом позже рассказал так:

Как я рвался на море!
Бросил дом безрассудно
И в моряцкой конторе
Все просился на судно.
Умолял, караулил...
Но, нетрезвые, с кренцем,
Моряки хохотнули
И называли младенцем...

(«Фиалки»)

Написано стихотворение в зрелом возрасте и, что нетрудно заметить, с некоторой иронией по отношению к самому себе — юному и несмышленому, но вместе с тем и с явным сочувствием и даже жалостью. Да и в самом деле жалок был он, юнец, оказавшийся в большом незнакомом городе без копейки в кармане, без всяких связей и знакомств.

Вот он, одинокий, голодный, в «грязной фуфайке», свисающей с узеньких плеч, бредет по насыпи мола, глядит на корабли, стоящие на рейде, — такие близкие теперь, но по-прежнему недоступные. «Купите фиалки!» — плывет над волнами залива легкая игривая мелодия. Но не веселит она юношу. «Купите фиалки! Купите фиалки!» А у него на языке: «Купите фуфайку! Купите фуфайку!» Фуфайка — единственное, что он может продать, чтобы разжиться хотя бы кусочком хлеба. Через годы, вновь переживая те горькие минуты, поэт напишет:

Кроме моря и неба,
Кроме мокрого мола,
Надо хлеба мне, хлеба!
Замолчи, радиола...

(«Фиалки»)

Первая вылазка к морю, в большой мир, как видим, оказалась неудачной. Ветер романтики, надувавший розовые паруса его мечты, после нее, конечно, поослаб...

Неизвестно как (может быть, и в самом деле, продав фуфайку) раздобыл он денег на обратный билет до Вологды. А ведь от Вологды, пароходом, надо было добраться еще и до Тотьмы — своего райцентра, в котором, он знал, есть лесотехнический техникум.

Что общего между этим техникумом и заветной «мореходкой»? Но куда денешься? Сдал экзамены, начал учиться.

А мечта о море не давала покоя. И пусть немного радости принесла ему первая встреча с ним, но зато он многому научился в те дни, сделал много открытий. И не только географических, а и чисто житейских. А главное — испытал себя на прочность и в душе был горд тем, что не растерялся, не распустил нюни, нашел выход из, казалось бы, безвыходного положения. Значит, нечего бояться дальних дорог!

Будь у него родители, может, и поостерегли бы они сына от столь рискованного вывода. Но родителей давно не было, а раскрывать душу перед посторонними он не любил. Этим, видимо, и объясняется полоса скитаний, даже бродяжничества, следовавшая после детдома.

Неопровержимые свидетельства (а это опять же его стихи!) говорят о том, что до моря он все-таки добрался. И побратался с ним, а значит, и с «тружениками моря» — рыбаками, с их полными не только романтики, но и риска трудовыми буднями, с их совершенно особым бытом, традициями и обычаями.

Это подтверждает и Г. Фокин *, проходивший военную службу на том же эскадренном миноносце и в те же годы, что и Н. Рубцов. Более того, и призывались они, оказывается, тоже вместе, в Архангельске, и Н. Рубцов, по его словам, потому и был определен на флот, что показал себя настоящим морским волком, избороздившим северные моря вдоль и поперек на рыболовецком траулере в должности кочегара.

С точки зрения «сухопутного» человека, не все красиво в жизни моряков, особенно когда они после долгих скитаний в морских просторах сходят на берег. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь, и Николай Рубцов рисует их такими, какие они есть.

Душа матроса в городе родном
Сперва блуждает, будто бы в тумане:

* Геннадий Фокин сейчас живет и работает в городе Находке Приморского края.

Куда пойти в бушлате выходном
Со всей тоской, с получкою в кармане?
(«Возвращение из рейса»)

В самом деле, куда? Хорошо, если у тебя семья и она рядом, ну а если ты одинок и в этом порту для тебя открыта только одна дверь — в увеселительное заведение? Вопросов, как говорится, нет...

Многие стихи из «морского» цикла написаны намеренно с юмором (остроумная шутка в матросской среде высоко ценилась — это Николай Рубцов успел узнать), с явным расчетом на матросскую аудиторию, которая не терпела (и это он тоже знал) не только лжи, но даже малейшей фальши в стихах.

К сожалению, Николай Рубцов не имел привычки ставить даты написания стихов, и нам сейчас трудно сказать, какие из них были написаны в то время. Но я склонен все же думать, что некоторые стихотворения из «морского» цикла созданы были именно тогда, по свежим следам. Мне могут возразить: слишком, мол, мастеровито, слишком профессионально — ведь поэту тогда было семнадцать-девятнадцать лет... А кроме того, образование какое? Всего лишь семилетка... Все это так, но давайте не забывать, что мы имеем дело с незаурядным дарованием, и, кстати, прочтем стихотворение «Деревенские ночи», под которым — счастливая случайность! — имеется дата, поставленная самим поэтом: 1953 год. Пусть оно не совсем самостоятельно по построению, по тональности — молодой Николай Рубцов очень родствен молодому С. Есенину, — но зато «техника» какая, как в нем все подогнано, все ладно!

К табуну
с уздечкою
выбегу из мрака я,
Самого горячего
выберу коня,
И по травам скошенным,
удилами звякая,
Конь в село соседнее
понесет меня.
...Все люблю без памяти
в деревенском
стане я,
Будоражат сердце мне
в сумерках полей
Крики перепелок,
дальних звезд мерцание.

Мог автор такого стихотворения написать, например, вот эти строчки: «Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте».

Или:

У тралмейстера крепкая глотка —
Он шумит, вдохновляя аврал!
Вот опять загремела лебедка,
Выбирая загруженный трал.

(«Хороший улов»)

Но вот и еще одно свидетельство самого поэта в пользу высказанного мною предположения:

День пройдет — устанут руки.
Но, усталость заслонив,
Из души живые звуки
В стройный просятся мотив.

Это из стихотворения «Весна на море». Написано оно позже, по воспоминаниям. Но тем более важно отметить, что память поэта через годы сохранила именно эти — самые сокровенные мгновения из той жизни, мгновения, отданные сочинению стихов. И мы с уверенностью можем сказать, что, «работая в тралфлоте», Николай Рубцов писал, причем серьезно, с пониманием смысла и духа поэзии. «Из души живые звуки в стройный просятся мотив». Обратите внимание: звуки просятся в «стройный мотив». И в самом деле: в чем, в чем, а уж в стройности мотива Николаю Рубцову не откажешь! Ни в ранних стихах, ни тем более в зрелых. Читаешь — и удивляешься, как послушны поэту слова, как естественно складываются они в строчки, а строчки плавно переходят одна в другую. Никакого насилия над словами, над ритмом («строем») строк, того самого насилия, о котором В. Маяковский сказал: «Начнешь это слово в строчку всовывать, а оно не лезет: нажал — и сломал» («Разговор с фининспектором»). У иного поэта этих «сломанных» слов в стихах столько, что порой невольно начинаешь сомневаться в общепризнанной благозвучности и богатстве русского языка. Только нет, не язык, не сами «сломанные» слова виноваты в этом — виноват стихотворец. Не нашел, значит, он тех, единственных, слов для этой строчки. Единственные-то, как солдаты, стоят по струночке: ни заменить, ни вынуть нельзя, чтобы не нарушить строй и смысл стиха.

Мое слово верное
 прозвенит!
Буду я, наверное,
 знаменит!
Мне поставят памятник
 на селе!
Буду я и каменный
 навеселе!..

Короче, у Николая Рубцова нет того, что меж поэтами зовется «косноязычием». У него присущий подлинному таланту тончайший музыкальный слух. Да, музыкальный, потому что Поэзия — это плюс ко всему еще и музыка!

Звон заокольный и окольный,
У околн, около колонн, —
Я слышу звон и колокольный,
И колокольчиковый звон.

Звукопись как художественный прием он использует неоднократно, но она для него не самоцель, а средство для более глубокого раскрытия лирической сути пейзажа, как это вышло у него в стихотворении «Левитан» (по мотивам картины «Вечерний звон»), из которого взяты процитированные выше строчки.

Есть у Николая Рубцова еще два стихотворения, помеченные им самим 1954 («Да, умру я...») и 1955 («Первый снег») годами.

И они говорят о том, что в восемнадцать-девятнадцать лет он мог писать — и писал! — вполне состоятельные с точки зрения техники стихи! Под первым из этих стихотворений, кроме года, обозначено еще и место написания: «Ташкент». Как занесло его в этот далекий среднеазиатский город, неизвестно. Ясно лишь одно: и в этом «путешествии», если его можно назвать таковым, ему было несладко. Мотив страдания, даже отчаяния, пронизывает все стихотворение: «Жалкий след мой будет затоптан башмаками других бродяг». Думаю, что и эти строки не совсем самостоятельны. Но для нас они важны как документ, как еще один штрих из биографии поэта... Не путешественником, не открывателем «неведомых стран» чувствует он себя в Ташкенте, а бродягой. Да им он и был по сути: ведь после того, как он оставил детдом, у него не было нигде не только родных (кроме младшего брата), но и угла, куда бы можно было вернуться, отдохнуть душой и телом.

Как о близкой реальности в эти черные дни он думает даже о смерти, после которой «останется все, как было, на земле, не для всех родной».

Открытие это полно глубокой горечи и боли...

Но был конец и этим невеселым дням, и, как можно предположить, более-менее благополучный.

Однако это испытание едва ли было последним в те годы: ведь юного Рубцова ничто не держало, собраться в дорогу для него и в самом деле означало — только подпоясаться... «Полный свежей юношеской крови, вновь куда хотел, туда и мчал...» — так он подвел итог тому периоду в одном стихотворении.

В коротенькой же, всего на полстранички, автобиографии, предназначавшейся для упоминавшегося уже сборника стихов «Над вечным покоем», поэт хотя и не до конца, но все же раскрывает смысл этих строчек:

«Учился в нескольких техникумах*, ни одного не закончил. Работал на нескольких заводах и в Архангельском траловом флоте».

Хотя работа на заводах здесь упомянута прежде, чем на траловом флоте, на самом деле все было наоборот. На Кировский (бывший Путиловский) завод он пришел после демобилизации из армии, о чем свидетельствуют сохранившиеся письма его к друзьям. А на рыболовецком судне, приписанном к Архангельскому порту, он кочегарил до призыва в армию. Однако Борис Тайгин, с которым поэт близко сошелся в Ленинграде после демобилизации, утверждает, что к архангельским рыбакам Н. Рубцов ездил и в 1961 году, видимо, по старой памяти, с вполне определенной целью — подработать.

В 1955 году Николая Рубцова призвали в армию. Эскадренный миноносец — мощный красивый современный корабль на долгих четыре года стал для него родным домом. Жизнь, как река после весеннего половодья, вошла наконец в берега. Вместе со строгим воинским уставом, боевой учебой пришли надежность и обеспеченность быта, чего он не знал, по сути, с 1949 года...

И не случайно сослуживцы запомнили матроса Рубцова и веселым, и общительным. Запомнилась им не только улыбка его, но и неразлучная с ним гармонь: играть на гармонии он научился еще в детдоме.

* Позже, в одном из официальных писем в авторитетную областную организацию, он уточнит: «...учился в лесотехническом и горном техникумах».

Писались, конечно, на корабле и стихи. Но в них — по крайней мере поначалу — угадывается не столько рубцовская интонация, рубцовский почерк, сколько вполне понятное желание начать печататься. Газета «На страже Заполярья» публиковала — и это вполне закономерно — стихи флотских поэтов, в которых воспевались воинский долг, патриотизм, боевая дружба, смелость и взаимовыручка. Особенно щедро печатались строки, посвященные Октябрю и Маю...

На эту волну настраивается и Николай Рубцов и вскоре достигает цели: стихи его появляются в газете. За первой публикацией последовала вторая, третья...

У Г. Фокина, тоже писавшего стихи тогда, но добровольно отдававшего пальму первенства более талантливому другу, сохранилась страничка из газеты «На страже Заполярья», в которой напечатана подборка из пяти стихотворений Н. Рубцова с добрым напутствием другу-поэту, написанным им самим, Г. Фокиным. В стихотворении «Родное море», открывающем подборку, между прочим, нашел отражение и рассказанный Г. Фокиным факт из биографии поэта, который приведен выше:

Влекли меня матросские дороги
С их штормовой романтикой. И вот
Районный военком, седой и строгий,
Мне коротко сказал: «Пойдешь на флот!»

А сам Г. Фокин в упомянутом напутствии цитирует строфу из другого, не вошедшего в подборку стихотворения Н. Рубцова, строфу, в которой на пронзительной, предельно искренней и чистой ноте звучит увлекавшая поэта штормовая романтика, ставшая теперь суровой жизненной реальностью:

После дня, прошедшего «в атаках»,
Сколько раз я милой называл
Выплывшую вдруг из полумрака
Землю тундры и суровых скал...

Попадают его стихи и в сборник «На страже родины любимой» (1958). Уже по названиям можно судить об их содержании: «Пой, товарищ...», «Май пришел», «Отпускное», «Матери».

В вышедшем в следующем году альманахе «Полярное сияние» его стихам было отведено целых две страницы.

Конечно, молодой поэт не мог не радоваться успеху, хотя, наверное, и понимал, что в этих стихах он не был

всегда самим собой, брал иногда не ту, не свою ноту... Эта мысль неизбежно приходит, когда читаешь стихи, написанные им в 1957 году в Приютино, у брата, к которому он приезжал, видимо, на побывку. Они явно не для печати (по крайней мере многие), хотя и сделаны мастерски. Так и кажется, что поэт здесь еще не выступает, а всего лишь «разминается» перед выступлением, и ему не важно, на каком материале идет разминка, — важно быть самим собой, искренним и раскованным... Ну и не погрешить в технике — справиться с ритмом, с необычной, даже изощренной рифмовкой, почувствовать свою божественную силу над словом. И, кажется, силу эту он почувствовал.

Я жил в гостях у брата,
Пока велись деньжата,
все было хорошо.
Когда мне стало туго,
Не оказалось друга,
который бы помог...
Пришел я с просьбой к брату,
Но брат свою зарплату
еще не получил.
Не стал я ждать получку,
Уехал на толкучку
и продал брюки-клеш...

(«Морские выходы»)

Вот так, легко, словно бы поигрывая словами, как разноцветными камешками на ладони, повествует он о маленьком «пустячке», случившемся с ним в дни отпуска. В другом стихотворении («Товарищу») он ставит перед собой уже более сложную творческую задачу — не просто зарифмовать строки, но и добиться образности. Оказалось, что и это ему тоже под силу. «Ты дымишь своим надменным чубом, словно паровозная труба».

...Но и Приютино осталось позади. Приближался день демобилизации. И Николай Рубцов — теперь уже не столь беззаботно, как раньше, — думает о предстоящем выходе «на гражданку», о выборе жизненного пути — единственного из возможных. Ведь только в этом случае жизнь обретет смысл, станет наполненной и радостной.

Сохранилось письмо, посланное им в те дни одному из самых близких друзей — Валентину Сафонову, с которым сдружился на флоте. «Скажу только, что все чаще задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ни черта

не могу придумать! Неужели всю жизнь придется делать то, что подскажет обстановка? Но ведь толькодохлая рыба (как гласит народная мудрость) плывет по течению».

О призвании поэта, как видим, здесь пока ни слова, хотя между строк явно читается желание заняться любимым делом, а не тем, какое «подскажет обстановка». Угадывается в этих строчках и скрытый упрек себе, не проявлявшему до сих пор достаточной силы воли, чтобы не плыть, как «дохлая рыба», по течению.

В одном из первых писем другу после демобилизации обо всем этом он скажет уже более определенно: «Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать и кому доказывать — не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель (разрядка моя. — С. В.), к которой надо стремиться».

Как видим, хороший жизненный урок усвоил молодой поэт. И потому вполне можно предположить, что к моменту демобилизации он выбрал-таки для себя эту «большую цель». А называлась она Поэзией!

Демобилизовался он осенью 1959 года. И сразу встал вопрос: куда поехать? В село Никольское? Но что он там будет делать? В Вологду? Но там никто его еще не знает...

И он решает ехать в Ленинград.

А почему бы и нет?! У него есть стихи и наверняка будут новые. А в Ленинграде поэты, журналы, издательства... Да и брат там же «бросил якорь»...

Но это только просто сказать — в Ленинград. А как? Где он будет работать, жить? Однако махнул на все рукой — поехал. Помыкался какое-то время и в конце концов поступил на Кировский завод за Нарвской заставой... Впрочем, послушаем самого поэта, раскроем стихотворение «В кочегарке».

Пожилой кочегар, заметив робко открывшего дверь новичка,

Бросил лом, платком утерся.

На меня глаза скосил:

— А тельняшка — что, для форсу? —

Иронически спросил.

Я смеюсь:

— По мне для носки

Лучше вещи нету, факт!

— Флотский, значит?

— Значит, флотский.
— Что ж, неплохо, коли так!
Кочегаром, думать надо,
Ладным будешь, — произнес.
И лопату, как награду,
Мне вручил:
— Бери, матрос!

С этой «наградой» Николай Рубцов был неразлучен года полтора. В мае 1961-го, видимо, пооглядевшись, он перешел на другую работу — шихтовщиком в копровый цех.

Кочегарка и копровый цех — не лучшее рабочее место для поэта, но, видимо, поставив перед собой «большую цель», Николай Рубцов решил не считаться ни с чем.

Не теряя времени попусту, он быстро нашел дорогу в литобъединение при заводе, а через него — и в редакцию многотиражки. Вскоре его стихи появились на страницах этой газеты, а осенью 1961 года — и в сборнике «Первая плавка», составленном из стихов поэтов — рабочих Кировского завода.

Ясно, что рамки заводского литобъединения для него были узки. И потому он посещал одновременно и более солидное литобъединение — «Нарвская застава», которое давало выход уже и на большие литературные вечера, и в журналы.

На занятиях литобъединения Николай Рубцов слышал не одни похвалы. Его критиковали за «отрыв от жизни» (мало, дескать, стихов о рабочем классе), но в то же время кружковцы, видимо, догадывались, что перед ними поэт настоящий, поэт «милостью божьей». Узнав, что у него лишь семилетнее образование, руководители литобъединений настойчиво советовали ему учиться, может быть, даже в Литературном институте. «Хорошо бы», — думал поэт. Но для этого надо было закончить десятилетку. В 25—26 лет садиться снова за парту, а потом, почти в тридцать, поступать в Литературный институт? Нет, это для него не подходило.

Он решает иначе: если годы для учебы безвозвратно потеряны, значит, потерю эту надо наверстать — сдать за десятилетку экстерном!..

Сегодня хочется поблагодарить безвестных экзаменаторов за то, что они были не слишком придирчивы к поэту-рабочему, наверняка имевшему пробелы в знани-

ях по таким предметам, как алгебра, физика, химия, и не закрыли ему дорогу в вуз.

На творческий конкурс литинститута Николай Рубцов представил самодельную книжку «Волны и скалы». В нее вошло 38 стихотворений. Тот, кто первым читал и рецензировал книгу, наверняка отозвался о ней положительно, иначе не стал бы Н. Рубцов студентом.

Но те, кто потом стал учить Н. Рубцова, вероятно, не сразу поняли, что перед ними не просто талант, а почти сформировавшийся поэт; что обычные мерки, пригодные для среднего студента творческого вуза, для него не подходили; что его талант надо осторожно и любовно шлифовать, направляя в естественное для него русло.

К своим двадцати шести годам прошедший, как говорится, огонь и воду, познавший не только (а вернее, не столько) верхние, просторные и светлые этажи жизни, но и ее глухие подвалы и даже ее дно, он ждал от литинститута не школярских разговоров о ямбах и хорях, а откровений о жизни, о душе человеческой...

Ждал — и не дождался... И скоро ему стало просто скучно отсиживать положенные часы в литинститутских, зачастую полупустых, аудиториях. Зато читал он, по рассказам близких друзей, запоем, нередко ночи напролет... А то совсем неожиданно уезжал куда-нибудь — чаще в село Никольское, где прошло детство.

Владевшее им в ту пору чувство тоски по родному краю не могло не вылиться в стихи. «Не порвать мне мучительной связи с долгой осенью нашей земли...» — признавался он в одном стихотворении. «Я так люблю осенний лес, над ним сияние небес...» — вторил в другом. А в третьем с еще большей проникновенностью и искренностью писал:

Деревья, избы, лошадь на мосту,
Цветущий луг — везде о них тоскую,
И, разлюбив вот эту красоту,
Я не создам, наверное, другую.

(«Утро»)

И наконец родилась вот эта классически ясная поэтическая формула:

Но моя родимая земля
Надо мной удерживает власть, —
Память возвращается, как птица,
В то гнездо, в котором родилась,

И вокруг любви непобедимой
К селам, к соснам, к ягодам Руси
Жизнь моя вращается незримо,
Как земля вокруг своей оси.

(«Ось»)

В свете этой формулы становятся вполне понятными строки одного из немногих «городских» стихотворений: «За светлой рюмкой пунша золотого я глубоко задумываюсь вдруг». Нетрудно догадаться, о чем были эти думы. О многом... В том числе, наверное, и об этом вот:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

(«Тихая моя родина»)

Оказавшись в очередной раз на родине «с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты» (разрядка моя. — С. В.), поэт наслаждается тишиной и покоем:

За нами шум и пыльные хвосты —
Все улеглось! Одно осталось ясно —
Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы.

(Разрядка моя. — С. В.)

(«Зеленые цветы»)

Но поле и цветы оборачивались пропущенными занятиями, не сданными вовремя зачетами и экзаменами.

Такое поведение не могло быть терпимо администрацией, и в 1964 году, после второго курса, Николай Рубцов был исключен из литинститута. Пришлось просить разрешение продолжить учебу на заочном отделении, и оно было дано.

К этому времени у него установилась связь с Вологодой. В 1964 году Вологодская писательская организация пригласила его, как земляка, на очередной семинар молодых писателей. Его стихи на этом семинаре были высоко оценены и рекомендованы Северо-Западному издательству (Архангельск).

Через год (1965) книжка в Архангельске вышла. Однако она не давала представления о действительных возможностях 29-летнего автора. В письме к вологодскому журналисту В. Елесину, с которым он был дружен в ту пору, сам поэт сообщал: «У меня вышла книжечка. Конечно, тут далеко не все, на что я способен».

Действительно, первая книжка Н. Рубцова могла быть более полной. И это показала уже вторая книга поэта «Звезда полей» (1967), вышедшая в Москве, в «Советском писателе».

Все, кто откликнулся на нее, были единодушны: в литературу пришел большой талант.

Вслед за «Звездой полей» в Архангельске выпускают вторую, значительно более объемную книгу земляка «Душа хранит» (1969).

В следующем году к этим трем сборникам присоединился и четвертый («Сосен шум»), выпущенный снова «Советским писателем». Для издательства «Советская Россия» поэт подготовил наиболее полный сборник «Зеленые цветы», но... эту книгу он уже не увидел: 19 января 1971 года его не стало.

Николай Рубцов принадлежал к тому поколению советских людей, в детских душах которых тяжелым и грозным эхом отозвалась война. Сиротство, голод, холод, тоска по родительской ласке, домашнему уюту; потом скитания по стране, тяжелая работа наравне со взрослыми — все это пришлось пережить Николаю Рубцову. В таких условиях душа человека или глохнет совсем и превращается в камень, или становится болезненно чувствительной и ранимой...

Сейчас трудно предполагать, каким был бы характер Рубцова, если бы он вырос в семье, окруженный, как все дети, заботой и лаской родителей, и все горести и печали минули бы его...

Наверное, он был бы более веселым, открытым, не столь стеснительным и одновременно резким, вспыльчивым, каким знали его друзья и товарищи. Хотя он и не избегал встреч с ними, а временами даже искал этих встреч, но больше всего любил все же одиночество.

В горьких невзгодах прошедшего дня
Было порой невмочь.
Только одна и утешит меня —
Ночь, черная ночь.

Поэт не лгал: ночью, в одиноких раздумьях, он находил успокоение и даже утешение. Парадоксален конец стихотворения «Угрюмое»: «И стало угрюмо, угрюмо и как-то спокойно душе».

Однако, если вспомнить, кому оно принадлежит, все становится на свои места. В этом же психологическом ряду и стихотворение «Листья осенние»:

Ночью, как встарь,
Не слышать говорливой гармошки, —
Словно как в космосе,
Глухо в раскрытом окошке,
Глухо настолько,
Что слышно бывает, как глухо...
Это и нужно
В моем состоянии духа!
(Разрядка моя. — С. В.)

В уравновешенном, даже умиротворенном настроении о предстоящих часах одиночества он говорит почти с вожделением:

К печке остывшей подброшу поленьев
беремя,
Сладко в избе коротать одиночества время.

Наслаждаясь одиночеством, он оправдывает его:

Я не один во всей вселенной.
Со мною книги и гармонь,
И друг поэзии нетленной —
В печи березовый огонь.
(«Зимовка на хutore»)

Нашлись у него слова и для передачи того сложнейшего психологического состояния, которое овладевает человеком в часы одиноких ночных раздумий:

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром.
(«Ночь на родине»)

В рецензии на стихи молодого поэта Н. Рубцов позже напишет: «Все темы души — это вечные темы, и они никогда не стареют, они вечно свежи и общеинтересны. В вашем же стихотворении нет оригинального настроения, т. е. нет темы души».

Тема души... Иными словами, о чем бы поэт ни писал, он должен подчиняться не одному рассудку, но и чувству. В стихах об этом Н. Рубцов сказал со всей категоричностью так:

Но если нет
Ни радости, ни горя,
Тогда не мни,
Что звонко запоешь,
Любая тема —
Поля или моря,

И тема гор —
Все это будет ложь!

(«О чем писать?»)

Наверное, именно этим полюбились ему поэзия Тютчева и Фета — «темой души», вечной, неисчерпаемой, исполненной с предельной искренностью.

Однако он отнюдь не собирался быть эпигоном любимых поэтов. Он писал:

Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова.

(«Я переписывать не стану...»)

Отдавая должное Тютчеву и Фету, поэт вместе с тем с особой признательностью говорит о «своенравной есенинской музе». В письме В. Сафонову, датированном 2 февраля 1959 года (последний год его службы на флоте), читаем:

«Да и невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина. О нем всегда я думаю больше, чем о ком-либо. И всегда поражаюсь необыкновенной силе его стихов. Многие поэты, когда берут не фальшивые ноты, способны вызвать резонанс соответствующей душевной струны у читателя. А он, Сергей Есенин, вызывает звучание целого оркестра чувств, музыка которого, очевидно, может сопровождать человека в течение всей жизни.

Во мне полнокровной жизнью живут очень многие его стихи».

Восхищаясь Есениным, Тютчевым, Фетом, он принимал в них не только узколичный интим, а все, что скрывалось за ставшей нарицательной фетовской строкой: «Шепот, Робкое дыханье. Трели соловья...» Уже и тогда, а с годами все больше, он понимал, что поэт должен уметь слушать не только собственную душу, но и душу народа. Поэты, как он написал в рецензии на книгу одного из своих товарищей, «носители и выразители поэзии, существующей в самой жизни, — в чувствах, в мыслях, настроениях людей, в картинах природы и быта».

В этом принципиальном высказывании хочется выделить слова: поэзия «в настроениях людей, в картинах природы и быта».

Скажем прямо, настроения людей, картины быта не нашли столь же широкого и глубокого отражения в его

стихах, как нашло в них отражение личное. О мотиве одиночества, пронизывающем все его творчество, я уже говорил. Но этим личное не кончается. Оно находит блестящее продолжение в его любовной лирике...

К сожалению, и в любви поэт не был счастлив. Та, которую любил он пылкой и нежной первой любовью, не дождалась его, пока он скитался по морям. Не дождалась...

И все же в холодные ночи
Печальней видений других —
Глаза ее, близкие очень,
И море, отнявшее их.

(«Повесть о первой любви»)

Другая женщина, из села Никольского, хотя и подарила ему дочь, другом настоящим стать, видимо, не смогла. Творческий непокой, сжигавший ему душу, был, как можно догадаться, недоступен ее пониманию. И случилось то, что должно было случиться: он ушел... Об этом «Прощальная песня», а вернее, песня ухода, разрыва с семьей:

Мы с тобою, как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.
...Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.
Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
— Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она...

Поэт ни в чем не упрекает деревенскую женщину, но просит в свою очередь понять и его. Кто ж виноват, что они оказались «разными птицами»: разные одно гнездо не выют...

Повторяю, личное, или, как выразился сам поэт, «тема души», прозвучало в его творчестве волнующе, искренне, на самой пронзительной ноте.

Но как же с «настроениями людей, с «картинами быта»? Ведь до 14 лет поэт жил в деревне, которую не миновали ни беды военного и послевоенного лихолетья, ни похоронки, продолжавшие приходить еще долго и после войны, ни радостные и одновременно омытые слезами

дни ликования по случаю Победы, а потом возвращения с фронта раненых и искалеченных отцов, мужей, братьев, любимых... Впрочем, возвращений, как и везде, было мало. Но этим как раз еще больше усиливался трагизм тех дней! Почему же у поэта о них почти ни слова?

Не запомнил? Проглядел? Нет, скорее всего не успел. А мог бы, и как бы мог!

Достаточно прочитать такие стихотворения, как «Добрый Филя», «Русский огонек», «Жара», «Эхо прошлого», чтобы убедиться в этом. Их немного, таких стихотворений, в которых он попытался заглянуть в душу людей деревни, и, как все другое, сделал это в высшей степени талантливо.

В стихотворении «Добрый Филя» всего 16 строк. Но и их оказалось достаточно, чтобы создать цельный образ человека, характер, тип. «В деревне виднее природа и люди», — формулировал он очевидный для себя вывод. А позже, раздумывая над стихами О. Фокиной, воспевающей величие души народной как в мирном труде, так и в жестоких испытаниях войны, он целиком принимает ее поэтическую манеру, социальную наполненность и высокую гражданственность ее стихов и поэм. «Органичность выражения, сложность и глубина содержания, совершенство и простота формы — вот те подснежники, которые ищут все поэты (разрядка моя. — С. В.), в том числе и Ольга Фокина».

«Ищут все поэты», — написал он, не отделяя, разумеется, от них и себя. Но что означает «сложность и глубина содержания»? В первую очередь глубину проникновения в жизнь народа, раскрытие народных характеров, народного мирозерцания.

С таким назначением поэзии Н. Рубцов полностью соглашался. И творчеством своим все больше подтверждал это. Возьмем стихотворение «Русский огонек». Припоздав в дальней дороге, поэт попросился в первой попавшейся избе на ночлег. Хозяйка, немолодая женщина, видимо, солдатская вдова, по-деревенски просто, не задавая лишних вопросов, впустила путника в избу, накормила и обогрела. Вечер. Потрескивают в печке дрова. В бликах неверного света на стене виднеются семейные фотографии. Поэт вглядывается в них...

Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!

И вдруг открылся мне и поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнем, враждой земля полным-полна.
И близких всех душа не позабудет...
— Скажи, родимый, будет ли война?
И я сказал: — Наверное, не будет.
— Дай бог, дай бог... Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет...
И вдруг опять: — Не будет, говоришь?
— Нет, — говорю, — наверное, не будет.
— Дай бог, дай бог...
И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая,
И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо у окна.

Те из литераторов, для кого народная жизнь, народная душа как другая галактика, говорят, что стихи, подобные этим, не более как рифмованный очерк. Пусть говорят: мы-то знаем, что это настоящая поэзия, что она — в традициях русской классики, и в первую очередь таких поэтов, как Некрасов и Твардовский.

В другом стихотворении, написанном в том же ключе, Николай Рубцов передает беседу со стариком, который всего и делает в колхозе, что «ходит за стадом», т. е. пасет скот. О многом, наверное, поведал старый человек поэту, но запомнил он почему-то лишь ответ на этот вот вопрос:

— Так что же нам делать, узнать интересно...
— А ты, — говорит, — полюби, и жалей,
И помни хотя бы родную окрестность,
Вот этот десяток холмов и полей...

(«Жар-птица»)

И, может быть, в очередной свой приезд на Вологодчину он вспоминает именно этот завет старика и еще пристальнее, чем прежде, вглядывается в окружающую жизнь. Много нового, обнадеживающего в этой жизни: мощная техника на полях, все дети ходят в школу, в домах новая мебель, радио и телевидение... Ничего этого раньше не было. «Давно уже в сельской жизни происходят крупные изменения, — написал он в начале 60-х годов, — но до меня все же докатились последние волны старинной русской самобытности, в которой было много прекрасного, поэтического».

Что же подразумевал он под этой «самобытностью»? Всю духовную и нравственную культуру народа, воплотившуюся и в обычаях трудовых будней и праздников,

и в песнях, и в сказках, и в архитектуре храмов и церквей. «За все твои страдания и битвы люблю твою, Россия, старину!» — восклицал поэт, и это звучало как самое сокровенное признание.

А через некоторое время еще раз, и снова с душевным трепетом, о том же:

О, вид смиренный и родной!
Березы, избы по буграм
И, отраженный глубиной,
Как сон столетий, божий храм.

(«Душа хранит»)

Поэт убежден, что этот «сон столетий» мы, потомки неизвестных зодчих из народа, должны бережно охранять. Его глубоко ранит чье-то небрежение в этом святом и благородном для каждого гражданина и патриота деле:

С моста идет дорога в гору.
А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.

(«По вечерам»)

Кому-то может показаться: поэт оплакивает «былую Русь» — кондовую и лапотную, нищую и богомольную... Ретроград, да и только! Однако, словно предвидя такое обвинение, он в одном из самых лучших стихотворений, в котором слышится и исповедь и молитва (да простится мне это слово), со всей определенностью на этот счет сказал так:

Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!

(«Я буду скакать по холмам...»)

И мы понимаем, что «белые церкви» для него не просто культовые сооружения, а бесценные архитектурные памятники — свидетели высокой культуры народа, умевшего не только землю вспахать, но и песню сложить, и вознести к небесам купола... И он постиг ее, эту культуру, постиг не только влюбленным взглядом благодарного сына, но и пытливым умом, и гордым сердцем, и вполне понятен восторг, который испытывает поэт, стоя на Красной площади перед седыми стенами Кремля, любуясь башнями и куполами его соборов:

Но как — взгляните — чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный —

Ну, не мираж ли сказочно-небесный
Возник пред вами, реет и горит?

(«О Московском Кремле»)

В той же заметке «О себе», обосновывая свое пристрастное отношение к старине, он написал «Все, что было в детстве, я лучше помню, чем то, что было день назад».

А в детстве было многолюдное село, праздничные народные гулянья, спор гармоник, частушки, песни, пляски... И память об этом вылилась у него в прекрасные — восторженные и грустные одновременно — строки:

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбываясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках пронесил!

(«Я буду скакать по холмам...»)

Таким запомнился ему колхозный праздник. А каким помнил он себя?

И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке.

Даже в последнюю минуту жизни, уверяет поэт, он вспомнит, «как звонко, терзая гармошку, гуляли под топот и свист».

«Было все — любовь и радость. Счастье грезилося окрест», — с грустью подведет он итог своим воспоминаниям. Было — и не стало. Деревни обезлюдели. Сыграли тут свою роль сельскохозяйственные машины, высвободившие сотни рабочих рук, но главное — сказалась война. Мужиков и парней повыбило, а подросшая молодежь стала уходить «на города». «Город село таранит» — так сказал поэт об этом явлении. Таранит внешней привлекательностью жизни, которая благодаря телевидению напоминает о себе чуть ли не ежедневно. И вот результат: распадается даже традиционно крепкая, трудолюбивая семья, в которой все, что нажито, — от земли, и только от земли: «Самим хватит и детям останется...» Так думают родители, так они рассчитывают. И только...

И только сын заводит речь,
Что не желает дом стеречь,
И все глядит за перевал,
Где он ни разу не бывал.

(«В избе»)

Не бывал и, ясно, хочет побывать: время такое, все дороги короче... Да и романтика — сила вполне реальная, в особенности если речь идет о молодежи. И с каждым годом все больше парней и девчат скрывалось за перевалом. В деревнях оставались старики. А многие деревни вообще пусты — ни единого жителя.

Поэт видел все это и, конечно, страдал. И вот почти дневниковая запись:

По родному захоластью
В тощих северных лесах
Не бродил я прежде с грустью,
Со слезами на глазах.

(«Наслаждаясь ветром резким...»)

Что за причина грусти и слез, поэт пока не раскрывает, он лишь фиксирует настроение, оставляя нам, читателям, надежду, что конкретный разговор впереди. И он наверняка состоялся бы, поскольку фактически им был уже начат, — и с той же мерой большого таланта, какой отмечены все другие его стихи.

Талантом он компенсировал и бессистемность образования, и отсутствие элементарных условий для творчества... Начиная с семилетнего возраста и почти до самой гибели он не знал, что такое отдельная комната, а тем более кабинет с письменным столом и книжными полками. Общая комната в детдоме, тесная каюта на четверых на корабле и снова общая комната в рабочем общежитии, а потом — крестьянская избенка с тремя подслеповатыми оконцами по фасаду. И лишь незадолго до смерти — однокомнатная квартира в Вологде. Но она не успела стать его рабочим кабинетом — она стала безмолвной свидетельницей трагедии, в результате которой его не стало... Может быть, поэтому почти не сохранилось черновиков его стихов. Да их чаще всего, наверное, и не было. В конце 1964 года в письме, адресованном автору этих строк (я тогда был секретарем Вологодской писательской организации), Николай Михайлович Рубцов по-товарищески простодушно сообщал:

«Все последние дни занимаюсь тем, что пишу повесть (впервые взялся за прозу), а также стихи, вернее, не пишу, а складываю в голове. Вообще, я никогда не использую ручку и чернила и не имею их. Даже не все чистовики отпечатываю на машинке — так что умру, наверно, с целым сборником, да и большим, стихов, «напечатанных» или «записанных» только в моей беспорядочной голове».

Вполне возможно, что так оно и вышло: стихи, которые были «записаны» только в его голове, мы никогда уже не прочтем, не подивимся еще и еще раз их образности, пронзительной лиричности — всему тому, что называется мастерством.

Обращает на себя внимание не только образность, но и удивительно разнообразная ритмика стихов Николая Рубцова — и это тоже признак большого таланта. Каждое движение души — единственно и неповторимо, как песня: а песня — любая — на свой лад, на свой мотив. Уловить мелодию, которой звучит душа сию минуту, дано не каждому смертному. Николаю Рубцову это было дано! И потому даже белый стих его читается как рифмованный: вроде бы и замечаешь отсутствие рифмы, но тут же и забываешь об этом.

Среди «подснежников», которые до последних дней «ищут все поэты», а значит, искал и он сам, Николай Рубцов назвал «совершенство и простоту» формы. И не случайно: этим качествам стихов он придавал огромное, если не решающее значение. И в большинстве случаев добивался в каждом новом стихотворении и того и другого.

В стихотворении «Сергей Есенин» он с грустью написал:

Да, недолго глядел он на Русь
Голубыми глазами поэта.

К глубокому сожалению, теперь эти слова можно отнести и к нему самому. Недолгой была и его жизнь. А самое грустное — мало было в этой жизни дней, когда он мог всецело отдаться вдохновению. И в результате сделанное им значительно меньше того, что он мог сделать.

В этом смысле поэзия Николая Рубцова мне представляется прекрасным, исполненным в русском национальном стиле, но незавершенным зданием.

Впрочем, точнее, пожалуй, будет сказать, что здание-то завершено, но некоторые комнаты его стоят пустыми: в них никто не живет...

На могиле его, на совсем простеньком надгробии, по желанию вологодских друзей поэта начертана знаменитая строка из его стихотворения: «Россия, Русь! Храни себя, храни!» И звучит она как завещание потомкам любить и беречь свою родину, приумножать ее славу и величие своими деяниями.

ДЕТДОМ НА БЕРЕГУ

Село Никола стоит на зеленом речном пригорке. Сухие луговины и главная улица вдоль всего села: от моста под горкой — до школы у соснового леса. Украшает село березовый старый сад. В саду — двухэтажная белая больница. Грачиные гнезда, птичий гвалт, стареющие березы...

Первое — я заметил — не стало на пригорке детского дома. Рассказали, что от ветхости здание уже накренилось, и, высокое, в два этажа, наше бывшее жилище разобрали на дрова... Иду и вижу перемены. Школа стала десятилеткой. На пустыре торжествует Дворец культуры, домов в селе прибавилось, выросли мои товарищи.

Вперед, вперед... А мысли назад возвращают, в детдом на берегу...

Я смутно помню
Позднюю реку,
Огни на ней,
И скрип, и плеск паромов,
И крик «Скорей!»,
Потом раскаты грома
И дождь... Потом
Детдом на берегу...

Память и воображение Николая Рубцова спустя годы воссоздали эту картину. Но только грозы в ту пору уже затихли. Серая осень застыла в холодных водах реки, под сетью дождя пестрела мокрой листвой на дороге.

Вдруг голоса откуда ни возьмись! Топот за окнами и хлопанье двери.

— Зажигай свет, баба Сима, — раздался голос воспитательницы.

Няня-старушка (дети и взрослые — все называли ее «баба Сима») сидела на табуретке у глухого простенка. Она дремотно привстала, не понимая, зачем нарушили покой детской спальни.

... Лица няни уже не представить, а голос все слышится. Легкий, настороженный какой-то, ее разговор привлекал нас необычайно. То сказки со страхом, то были и случаи она рассказывала, произвольно меняя интонацию. Имитировала голоса и Василисы Прекрасной, и зверя-людоеда, и шорохи травинки в поле. И ребяческие сны были продолжением сказок. А баба Сима придвигала еще две-три табуретки и засыпала сама. Засыпала ли? Утром она уже неугомонно тормозила наши сны. Легко было вставать на добрый голос бабы Симы...

— Встречай гостей, баба Сима!

— Ребятки-то уснули, Антонина Алексеевна. Тише... — шепотом протестует она.

Нет, ребятки уже задирают головы и с любопытством рассматривают пришедших. Антонина Алексеевна Алексеевская, воспитатель младшей группы, с мокрыми волосами и с крапинками дождя на плечах, проталкивает вперед присмиривших гостей.

— Ребята, это ваши новые друзья. Они протопали от пристани пешком. Двадцать пять километров. Прямо с парома, без передышки. Время-то осеннее, позднее. Торопились.

Но лишних кроватей в спальне не было.

— Сообразили? Как раз всем — по двое...

Антонина Алексеевна умела создать атмосферу доверия. И улыбкой, и красивым лицом. В матери наши по возрасту она не подходила, но искренне желала видеть нас ее «родными детьми». И самым маленьким — самая большая любовь...

Где теперь Антонина Алексеевна Алексеевская, воспитанники не знают. Не знаю и я, но память, любовь к ней бережется, видимо, и не у меня одного.

Алексеевская держала в руках список. Вычитывала фамилии. Вперед, как на сцену, выходили мальчишки. Семи-восемилетние.

— Валя Колобков.

Вышел Колобков. Коренастый, голубоглазый. И тихий. Таким он и оставался всегда.

Вот мальчик уже разделся и залез под теплое одеяло своего «брата».

— Вася Томиловский!

Устроили и Васю Томиловского.

— Коля Рубцов! Ложись на эту кровать. Мартюков, подвинься.

Без единого слова, но со светом в глазах шел черноглазый мальчишка. С узким лицом, хрупкий, как невидимка, он не привлек особого внимания. Скорее обыкновенное любопытство вызвал.

— А тебя зовут Толей, — тихо утвердил он.

— Да... А как ты узнал?

— На дощечке написано, — уже смело заводила разговор вторая голова «валета».

Так мы стали спать — головы в разные стороны. Сколько это продолжалось, не помню. Кажется, больше года. А может, еще больше.

Трудно человеку из семьи с матерью и отцом понять законы детдомовской общины. Они естественны и обязательны. Дети, родственные по судьбе, крепче сплачиваются, не знают барьера несовместимости. Войди в этот мир с миром и будешь «братом навеки». Злоба и ложь отвергаются, предательство — вне закона. Сожалеют, взрослея, детдомовцы лишь о том, что крепость нитей первой дружбы не прочнее семейных. Детство не часто страдает муками разлук. Только когда-то, позже, бередит воспоминаниями.

И снова тот вечер припоминается, где берет за руку и разводит по местам уставших, вымокших под дождем мальчишек баба Сима, ошеломленная и со слезами на глазах.

— Что же их на лошади-то не встретили? — нарастав говорила няня. — И никого раньше не предупредили? Может, баню истопили бы, белье чисто выдали...

— Белье у них чистое. В бане они были. Сама не знала. По срочной телеграмме их встречали. Где-то детдом разбомбили.

Антонина Алексеевна кое-что говорила от себя. В группе прибывших действительно были такие, кто жил почти возле фронта, слышал вой снарядов и видел взрывы.

— Коль, а ты немцев видел?

— Я — нет. Вася Черемхин и убитых видел. Его из Ленинграда вывели. На горящем самолете. Целый самолет с детдомовцами чуть в озеро не рухнул. Раненый летчик дотянул до берега. Всех спас...

— Он герой!

— Нет. Лейтенант.

...Вася Черемхин. Смуглый, большоголовый, и глаза — большие, таинственные и печальные глаза. Гениальный ребенок...

— Вася Черемхин! Тебе все удобства, — улыбнулась воспитательница. — Кровать на одного, покой угла.

Мальчик не отозвался. Он не молчал только на уроках, когда спрашивали с места или вызывали к доске.

— Отлично отвечаешь, Вася... Ты чего такой отрешенный? — допытывалась учительница удивленно.

Первоклассник чуть двигал уголками рта и не искал ответа. Учительница брала его письменную работу и носила по рядам. Наши старательные каракули нельзя было поставить рядом. Однажды я Васю спросил, отчего он такой кудреватый. Хотел рассмешить. Он даже не слышал вопроса...

Заметно было, детдомовские педагоги пытались «расшевелить» Черемхина, странная дисциплинированность их тревожила. Другим такое поведение нравилось.

Летом появился в детском доме единственный мужчина — воспитатель Алексей Алексеевич. Совсем юный, он просто обрадовал воспитанников. Мальчики — к нему. Его, значит, к мальчикам приставили. Всего, оказалось, на несколько дней. И разглядеть-то по-настоящему человека не сумели...

В Николе случилась беда. Утонул в Толшме детдомовец. Мы знали — это Вася Черемхин. В один из июльских дней, в «мертвый час», когда в спальнях царили сны, Вася вышел на улицу...

Он всплыл в омутном месте реки, под Поповым гумном. Там стояла высокая темная ель. С вершины ее ныряли только смельчаки. Глубины хватало, вода была темной и неподвижной. Два дня поочередно дежурили старшие на берегу омута.

Печальными были похороны.

А за нас, что бы ни случилось, спрашивали, видимо, строго. С Алексея Алексеевича спросили. Он был дежурным воспитателем в тот летний день...

И снова — давний первый вечер.

— Коль, а тебе нравится Антонина Алексеевна? — спрашиваю Рубцова тут же, на кровати.

Спит. Засыпают все. Баба Сима на табуретке, слышу, шепчет. О чем — не расслышать. Разволновалась баба Сима, но успокоилась.

Ей снились ее сыновья.

...На этом останавлиюсь.

КАК СЕЙЧАС ВИЖУ...

С фотографий в его книгах на нас смотрит задумчивый человек с ранними морщинами на лице и лысиной во все темя. Но помню его и другим...

Тяжелое было время, шла Великая Отечественная война, когда я приехала учительствовать в Никольскую школу. Мне поручили первоклассников. В январе без учителя остался и второй класс. Приняла и его. Заниматься приходилось во вторую смену. Класс этот был особый — в нем учились только воспитанники детского дома. У них не было родителей. Недоставало обуви и одежды, с питанием тоже испытывали трудности. Дети выглядели худенькими и не по годам серьезными.

Вот среди этих маленьких сирот я и заметила сухощавого невысокого мальчишку с черными волосами и черными пронизательными глазами. Сидел в среднем ряду на второй парте и чаще других попадался на глаза. К тому же всегда, когда я спрашивала урок, Коля первым поднимал тоненькую ручонку. Знает. Иногда и вертится, не слушает, а спросишь — ответит без запинки.

Он был очень любопытен. Едва ли не каждую перемену подходил со своими друзьями к моему столу и задавал массу вопросов: как, почему, где, что? — все надо знать ему. Старался быть первым во всем. Задачки решал лучше всех, писал лучше всех (четкий бисерный почерк у него был).

А если что читаешь, особенно стихи, он и ротишко раскроет. Обожала я Пушкина, много знала наизусть. Никитина — тоже. И ученики мои полюбили их стихи. И сказки. Видимо, что любит учитель, то прививается и детям.

На уроках грамматики читала ребятам предложения из произведений Пушкина и Никитина, разбирала их. Учили стихи. Коля обязательно спросит: «А вы знаете все наизусть? Расскажите». И вот я читаю «У лукоморья...», или «О попе и о работнике его Балде», или еще что-нибудь. Смеются. Коля громче всех. А я рада, что их лица просветлели.

Коля любил читать стихи и читал хорошо. Встанет, расставит ноги, смотрит куда-то вдаль и декламирует, а сам, кажется, мысленно — там, с героями стихотворения. Я часто ставила его декламацию в пример остальным: читайте вот так; а ну, Расскажи еще раз, пусть ребята поучатся. Книжки интересные читай ему хоть каждый день! Кончаются уроки, и опять слышу Колин голосок: «А сегодня будем читать?»

Мальчик Рубцов обладал тонким вкусом. Однажды в мае дети шли в школу и по пути набрали букет цветов, принесли мне. Я похвалила их. После уроков Николай и его друзья отправились на луга и принесли букет еще лучше. Он не был большим, но выглядел очень красиво, цветы подобраны умело, будто художником.

Никого не обидит. Дружил и с девочками, особенно с Ниной Пасиной. Его старшим другом был Вася Шадрин. Дружил он и с братом Васи, Павликом.

Помогал в учебе слабым. Скажешь: «Коля, можешь объяснить, как задачу решить?» — он сразу же и охотно выполняет поручение.

Как сейчас вижу: идет зимой по улице в стареньких ботиночках, поношенная шапчонка сдвинута на одно ухо. Руки красные, как гусиные лапки, — не было рукавичек. Кое-как отогреешь их, а ребята уже снова торопятся на улицу. Зальют горку водой и катаются — и на ногах, и на боку, и на спине. Покроются лужи льдом, дети тут как тут. Издолбят весь лед каблучками. Они тут и рано утром, и поздно вечером. Один раз три друга выкупались в ледяной воде. Пришли мокрые, как утята, но едва обсохли — снова на лед, уже на другую лужу.

Росла ель на берегу Толшмы у Попова гумна. Там их любимое место для купания. Ой сколько их там соби-

ралось и на песке и в воде — не сочтешь! Место глубокое. Коля хорошо плавал и учил этому других. Летом часто с Васей Шадриным ходил ловить рыбу удочками. Целыми днями сидят на берегу, обхитрят пять-десять рыбешек, нанижут на ивовый прутик и, довольные, несут на кухню.

Любил домашних животных. Посмотришь — ребята едут с водовозом на лошади. Тут и Рубцов обязательно. Кто ведет лошадь за повод? Рубцов. Кто сел верхом и погнал лошадь на водопой? Опять же он.

От многих других отличала мальчишку исключительная честность. Однажды в школьном коридоре разбил он стекло. Никто этого не видел — другой бы умолчал, а он сразу ко мне пришел. Рассказывает, а у самого слезы на глазах, испуганно смотрит на меня. Ведь война. И стекол нигде нет. А когда я сказала, что стекло найду и завхоз вставит, его глазки снова засияли, стали доверчивыми. Извиняется: не нарочно разбил, поскользнулся.

...Потом он уехал из Никольского. Служил на флоте, работал, учился. Времена для него были трудные, но не отступил, учился. Хватило мужества — ведь ему никто не помогал материально. Вот бы пораньше заметить его способности, его талант! Доброты в нем было через край, доверчивости — еще больше: простота, не знающая границ... Вот такой человек и вырос в большой советской семье. Эта семья — Никольский детский дом, Никольская школа, что в Тотемском районе.

В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ

Когда Вологодская писательская организация обратилась к тотьмичам с просьбой поделиться воспоминаниями о детских годах Николая Рубцова, многие охотно откликнулись. Свои немногословные заметки прислали И. А. Медведев, ныне директор В.-Толшменской школы, а в ту пору — учитель семилетки; старшая пионервожатая детдома Е. И. Брагина, ныне Семенихина, директор Тотемского дома пионеров; фронтовик А. А. Соколов, который был воспитателем в детдоме; А. А. Меньшикова, учившая Николая Рубцова в начальных классах; Е. А. Аносова, преподававшая литературу в старших классах; воспитатель детдома А. И. Корюкина. Откликнулись и однокашники Николая Рубцова — Анатолий Мартюков из Великого Устюга, Евгения Буняк (ныне Романова) из Череповца, Валентина Климова (ныне Рыжова) из Вологды, Владимир Аносов из Ленинграда. В районном архиве поработали ученицы Первой школы г. Тотьмы Мария Лыщева и Светлана Мокроусова — они сделали выписки из книги учета воспитанников детдома за 1943—1949 годы.

В письмах немного конкретных фактов. Кому бы пришлось тогда в голову особо приглядываться к самому обыкновенному мальчишке? Да и не просто — даже если знал ты его хорошо — спустя столько лет оживить далекий образ.

И все-таки благодаря письмам складывается достаточно отчетливая картина жизни детдома в трудные военные и первые послевоенные годы. Штрих за штрихом прорисовывают они и образ мальчика, который стал впоследствии большим поэтом.

Как свидетельствует книга учета воспитанников, Николай Рубцов поступил из Красковского дошкольного детдома в Никольский 20 октября 1943 года. Вместе с ним прибыла и Евгения Буняк. Ей запомнились многие подробности тех лет.

«... Для меня он, видимо, навсегда останется просто Колькой Рубцовым, моим одноклассником. Мы с ним не только учились в одном классе с первого по седьмой, но и воспитывались в одном детском доме, сначала в дошкольном, затем в школьном, Никольском Тотемского района.

Годы были трудные, голодные, поэтому мало помнится светлого, веселого, радостного, хотя взрослые, как только могли, старались скрасить наше сиротство. Особенно запомнились дни рождений, которые отмечали раз в месяц. Мы с Колей родились оба в январе, поэтому всегда сидели за столом в этот день рядом, нас все поздравляли, а в конце угощали конфетами, горошинками драже. Как на чудо, смотрели мы на эти цветные шарики.

Коля был неровным по характеру: то тихим, задумчивым, скромным, то дерзким, колючим. Учился хорошо. Стихи писал еще в детском доме. Впрочем, писали их и мы с Валею Межаковой. У меня была не одна тетрадь стихотворений, но я их не сохранила.

В детском доме Коля пользовался уважением и был заводилой среди мальчишек, я же верховодила у девчонок. Мы с ним то жили дружно, то ссорились, а бывало, и дрались. Мальчишки располагались на первом этаже, девочки — на втором. В праздники мы слали друг другу записки-поздравления. Часто эти поздравления начинались стихами.

Была в детском доме у Коли своя симпатия, может быть, первая его любовь. Это девочка Тоня Шевелева. Они любили уединяться вдвоем. Однажды кто-то их увидел на чердаке. Они сидели на вениках, приготовленных для просушки, и о чем-то вели разговор. Потом малышня долго кричала им вслед «жених да невеста» или просто «веники, веники».

Нас с Колей связывала общая любовь к животным. В детдоме была собака, она преследовала всех прохожих, поэтому взрослые привязывали ее на цепь. Нам жаль было пса, и мы подбирались к нему, отвязывали и пускали побегать. Часто Колю можно было увидеть около детдомовской лошади со странной кличкой Охочая. Он гладил ее, кормил из рук травой. Лошадь была смиренная, и я однажды забралась на нее верхом. Охочая наклонила голову, и я кубарем скатилась с нее...

У меня сохранились фотографии той поры. На одной Николай стоит рядом с воспитательницей Клавдией Васильевной Игошевой и пионервожатой Екатериной Ивановной. На другой, где сняты семиклассники-детдомовцы, Коля опять рядышком с Клавдией Васильевной. Впрочем, эта воспитательница много внимания уделяла и мне, самой бойкой из девчонок, часто брала на выходные дни к себе домой, в деревню».

Иногда мнения однокашников Н. Рубцова расходятся. И удивительно ли — столько воды утекло! «Он был прекрасным математиком, — пишет о Николае Валя Климова. — А «поэтом» и «профессором» звался у нас Толя Мартюков» (кстати, журналист Анатолий Мартюков и сейчас пишет стихи, некоторые из них публиковались в областных газетах) .

Вале Климовой Рубцов помнится как мальчик «невысокого роста, круглолицый, смуглый, глаза черные и сверкающие, почти всегда улыбающийся и веселый». Эти черты ребячьего облика вспоминают и другие, а Климова добавляет: «Многие девочки заглядывались на него».

Вспоминая, видимо, более ранние годы, бывший воспитатель Александра Ивановна Корюкина отмечает «особую непосредственность и доверчивость» воспитанника детдома Николая Рубцова, «хрупкого мальчика с мелкими зубами и бездонными черными глазами». Он нередко бывал у нее на квартире в деревне Пузовке и обычно брал книжки почитать. «Он был очень ласков и легко раним, при малейшей обиде плакал, — пишет Александра Ивановна, — однако плакать ему не часто приходилось, потому что и взрослые и дети любили его».

Благожелательное отношение мальчика Рубцова к сверстникам и ко взрослым отмечают и многие другие. Игорь Александрович Медведев, ныне директор В.-Толшменской школы, в 1948—1949 годах преподавал в пятом

классе Никольской семилетки русский язык, литературу, географию, физкультуру. Ему запомнились некоторые подробности.

«Николай ростом был меньше своих сверстников, поэтому сидел всегда на первой парте или поблизости, — пишет И. А. Медведев. — Любимая поза за партой: сидел прямо, но щекой опирался на ладонь с вытянутым указательным пальцем... В то время в детском доме увлекались выпуском стенгазеты. Николай частенько на учительский стол подкладывал бумажки со стихами о жизни класса, детдома, о природе».

Медведев сожалеет, что эти стенгазеты с первыми опытами Николая не сохранились. Он припоминает, что во время перемен Николай «был резвым и шустрым, не стеснялся держаться в кругу старшекласников. Но в нем не было дерзости, вреда никому не причинял, а в обращении со взрослыми был ласковым, внимательным и доброжелательным».

Припоминается И. А. Медведеву и такой случай.

«Весной 1949 года жил я за рекой в деревне Френиха. Помню, вода в Толшме круто поднялась и залила низину на левом берегу между мостом и селом Никольским. Пешему не пройти — вот и стою на мосту, гадаю, как быть. А на левом берегу ребяташки из детского дома чуть ли не все высыпали: на большую воду посмотреть пришли...

Вдруг вижу, двое на Бурчике, лошади детдомовской, верхом едут, семикласник Миша и Коля с ним. У воды старший спрыгнул с лошади, а Рубцов, объехав ямы, поднялся на мост.

— Со мной поместитесь, — улыбнулся он, подвинувшись к голове лошади.

Так и перебрались, к уроку успели...»

Почти все, кто помнит мальчика Рубцова, пишут о том, что он хорошо учился. Это подтверждают и школьные документы — таблицы и похвальные грамоты Николая, которые сохранились в архиве. Владимир Аносов, который был годом-двумя моложе Николая, припоминая старшего друга, пишет: «Учился он хорошо, входил в состав совета пионерской организации, и нам, младшим, его ставили в пример».

Конечно, и для ребят детдома (а было их около ста человек) жизнь не сводилась только к учебе — хватало разнообразных хозяйственных дел, не обходилось без

игр и озорства. «Очень часто, особенно весной, — рассказывает В. Аносов, — мы, деревенские мальчишки, устраивали с детдомовскими целые баталии, боролись, играли в снежки и прятки на школьном дворе». Помнит эти баталии, правда несколько иначе, и В. Климова. «В те годы, — вспоминает она, — между детдомовцами и деревенскими не было мира, царила какая-то отчужденность. Нередко ребята из детского дома провожали деревенских камнями — ожесточенность эта, видимо, сохранилась как последствие войны. Коля Рубцов был настроен по-доброму, дружил с ребятами из дальних деревень».

Жизнь не баловала ребят, что уж, даже мячей — волейбольных и футбольных — насчитывалось в детдоме только по одному. Единственным был и радиоприемник (большая в те годы редкость в деревне), и по воскресеньям ребята приглашали школьных учителей к себе в детский дом на радиопередачи.

Тепло вспоминает подробности жизни ребят с августа 1949 года Екатерина Ивановна Брагина (она тогда пришла работать в детский дом старшей пионервожатой). Это был последний год Николая Рубцова в детдомовской семье.

«Вечерами ребята собирались в пионерской комнате, у растопленной печи, и мечтали вслух. Мечтали о том времени, когда все станут счастливыми, не будет больше детских домов, когда в селе появятся большие и теплые, красивые — как в городе — дома...

Здесь, в пионерской, стоял единственный книжный шкаф — вся библиотека детского дома. Старшие ребята помогали разбирать книги, вели выдачу и учет прочитанного, и Николай — среди них. Здесь же готовились праздничные концерты.

Помнится, готовили мы сцены о Пушкине-лицейсте к юбилею поэта. Все ломали головы над костюмами, и Коля очень переживал, желая хоть немножко походить на юного поэта. И попросил он завить ему волосы, чтобы стать кучерявым. А как? Нагревали над керосиновой лампой ученическую ручку из железа трубочкой. Ручка перекалилась, и заскворчали Колины волосы.

— Что вы, к двадцати годам ведь полысею, — огорченно усмехнулся он.

Так и пришлось оставить в покое его небогатый мальчишеский чуб.

Старшие воспитанники вечерами охотно учились танцам, а Коля каждый раз играл на гармошке, и нам всем казалось, что он непременно будет учиться музыке. Играл он распространенные в ту пору мелодии, предпочитая грустные, и свое что-то импровизировал, тоже печальное. Но нередко ворчал:

— Вот играешь-играешь, а сам так и не научишься танцевать...

Зимними вечерами воспитанники любили кататься с гор. Санок было мало, на них катались маленькие. А старшие, дождавшись, когда завхоз уйдет домой, брали сани, связав оглобли, падали в них кучей и — вниз под угор, к реке Толшме. Утром же от завхоза, понятно, нагоняй, и первой — мне.

В детском доме было большое хозяйство — лошади, коровы, свиньи, пчелы, и, конечно, летом и осенью ребятам приходилось много работать. Но как хорошо бывало после работы разжечь костер и мечтать, фантазировать! При этом и руки заняты: затейливые орнаменты получались под ножом на ивовых прутьях. Старшие ребята любили и походы. Хаживали до устья Толшмы, вычерчивали план реки. Идут, а впереди — разведка, и Коля здесь. Вдруг донесение доставят: «Осторожно! Впереди берлога».

Вот такими и были наши привычные будни».

А вот последние записи в книге учета воспитанников Никольского детского дома: «С 12.VI.50 по 29.VI — Н. Рубцов ездил в Ригу; 13.VIII.50 — Н. Рубцов уехал в Тотьму для сдачи экзаменов в лесотехникум, 30 августа выехал на учебу».

В Ригу Николай ездил поступать в мореходное училище, но по возрасту не подошел (принимали с пятнадцати лет). Из Тотемского лесотехникума он приезжал в детдом и гостил среди своих в 1951 году, с 27 января по 3 февраля и со 2 по 5 мая. С большой семьей, надолго приютившей его, Николай Рубцов совсем расстался 22 июля.

Село Никольское поэт считал своей родиной и часто впоследствии приезжал сюда. Он охотно встречался со своими сверстниками и учителями, всегда живо интересовался судьбой друзей и воспитателей.

Приехав летом 1962 года из армии в отпуск, Владимир Аносов встречался с Рубцовым — они вместе рыбачили, ходили в лес. Был Николай у Аносовых и дома,

как нередко в детстве, ведь родители Владимира — сельские учителя.

— Коля, это ты стихи пишешь? — спросила Николая Рубцова при встрече Валя Климова.

— Да, балуюсь помаленьку, — застенчиво отвечал он.

Среди своих он и чувствовал себя спокойно, по-своему. Они-то уж все поймут...

Обзор подготовил *В. Оботуров*

ВСТРЕЧИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

С Николаем Михайловичем Рубцовым я познакомился в 1957 году на одном из заседаний литературного объединения Северного флота. Не помню точно, кто именно, кажется, Юрий Кушак, сказал мне: «Тут с тобой очень хочет поговорить наш талантливый поэт, Николай Рубцов, да он стесняется». Он и подвел ко мне старшего матроса (или старшину второй статьи) — ладного, невысокого, в очень аккуратной форме и с идеально начищенной бляхой. «Крепок, как свеженький овощ» — это его позднее определение тогда к нему очень подходило.

Матросик этот бравый действительно стеснялся, и я это самонадеянно принял на свой счет: как же, я ведь был тогда вторым помощником капитана, лицом командного состава, в мундире при всех регалиях. Однако из начавшегося разговора я понял, что трепещет он вовсе не от встречи со мной и не из-за моих медных пуговиц — он принял меня за литконсультанта недавно открывшейся молодежной областной газеты «Комсомолец Заполярья», тоже Романова, и ждал отзыва и суда великого о своих стихах, недавно отосланных в редакцию новой газеты. Когда недоразумение выяснилось, он сразу поскучнел и сразу стал ровня.

Позднее, в Литературном институте, куда я поступил на заочное отделение в 1961 году, встречая его, я всякий раз отмечал, что он побаивается, чисто нравственно, благополучных — особенно на казенном коште — людей и до себя их не допускает, не делая исключения и для старых знакомых. Думаю, что время службы на флоте было для него самым благополучным — в бытовом отношении — за всю-то его несладкую жизнь.

В том — вообще-то сильном — наборе флотского литобъединения Николай Рубцов выделялся силою искренности выражения в стихах, даже не свойственных ему. И я до сих пор помню такое, например:

Сквозь буйство бурь пройдя без тени страха,
о сколько раз я милым называл
суровый берег, выплывший из мрака
уступами суровых серых скал!

Вторая и третья строки, насколько я могу судить из собственного морского опыта, очень точны во всех измерениях.

Или:

Жизнь моряка, как пушка без заряда,
без этой вдохновляющей любви...

Теперь, читая даже наиболее полные из его сборников, я удивляюсь, почему в них не включены — наряду с тралфлотовскими — и его стихи того времени, без них портрет его неполон.

В том, повторяюсь, сильном составе литобъединения Николай Рубцов был близок с немногими — по памяти назову, пожалуй, Валентина Сафонова. У Сафоновых — Валентина и Эрнста — я встречал его в общезитии литинститута на улице Добролюбова и в Рязани.

Последний раз я его видел, если не изменяет память, осенью 1967 года, во время сессии, в общезитии Литинститута. Я был уже тогда, как все, поражен его публикациями, его «Звездой полей», вообще — его наличием на Земле, поздоровался с ним шумно, затащил к себе в комнату, в шумную и случайную институтскую компанию. Какой-то пиджачок был на нем и шарфик на шее, и ясно было по всему, что большая поэзия за так не дается. Он посидел недолго, потом сказал что-то вроде «Пойду. Погуляю». С его уходом компания заметно расковалась, будто с нее некие обязанности сняли.

Может быть, как теперь я думаю, он ушел потому, что на мне — для завершения сюжета — опять был мун-

дир с пуговками, значками, нашивками: я все еще плавал тогда.

От знакомства с Николаем Михайловичем Рубцовым у меня сохранилось несколько сборников стихов его — без автографа, пять номеров альманаха литобъединения Северного флота «Полярное сияние», две страницы воспоминаний и очень конкретное впечатление «на манер» того, которое бывает, когда в море, в сумерках или ночью, внезапно проходит возле тебя огромное, с немногими огнями судно.

«...ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ЦЕЛЬ»

...На январь пало, на первый месяц 1976 года: в один и те же дни состоялись в Центральном Доме литераторов вечер памяти Николая Михайловича Рубцова и вечер, посвященный творчеству Василия Макаровича Шукшина. «Литературная газета» в хронике новостей коротко сообщила об этих событиях. Так сошлись на газетной полосе два славных имени.

Думаю, многие из читателей, развернув «ЛГ», остановились взглядом на скуповатых и оттого безликих строчках отчета. И сердца любителей и знатоков русской словесности вновь преисполнились незаживающей болью. Какие горькие и великие утраты!

О Рубцове с каждым годом пишут все чаще и охотнее. И будут писать еще больше. Самобытный его талант неотделим от России так же, как и легкое имя его — Николай Рубцов — неотделимо от современной поэзии.

...Летом — как всегда, летом — гостили мы с братом у матери, в рязанском поселке Сарай. И выдался день — дождливый, пасмурный, когда — ни в лес, ни на речку. От нечего делать принялись разбирать свой «архив» за пятидесятые годы. На дне фанерного ящика, под грудой разных бумаг, и обнаружили три письма Николая Рубцова.

Признаюсь, я не надеялся, что они уцелели. И не радость — грусть вызвала у меня эта находка. Мы были дружны с Николаем с пятьдесят шестого года — вместе служили на флоте, в одно время учились в Литинституте. Хочу быть не банальным — искренним: до сих пор сознание отказывается принимать за истину тот нелепый факт, что Рубцова не стало.

Долгие месяцы жил я в мучительном напряжении: нужно ли предавать огласке письма поэта, не слишком ли частный, личный характер они носят?

Ответ на этот вопрос пришел не сразу. Внимательно читаю и перечитываю работы наших критиков и литературоведов о Николае Рубцове и вижу, что о том периоде его жизни и творчества, который условно можно назвать «флотским», говорят очень скудно или — чаще всего — совсем не говорят. А ведь это целая эпоха: четыре года службы на боевом корабле, участие в работе литературного объединения при газете «На страже Заполярья», публикации во флотской печати (многие из них сохранились в единичных экземплярах).

И эти четыре года, что особенно важно, — время творческого становления Николая Рубцова, становления личности поэта. Начало.

Следовательно, есть нужда в публикации. Верным тому подтверждением были многочисленные читательские отклики, полученные мною после того, как в марте 1975 года еженедельник «Литературная Россия» напечатал очерк о Николае Рубцове. «...Иметь большую цель» — так, усеченной строкой из письма Николая, был тот очерк озаглавлен.

Сегодня, обращаясь к своей памяти, к страницам дневников и записных книжек, к тем наиболее любопытным вопросам, которые задают читатели, хочу рассказать о Рубцове. О том Рубцове, каким мы — товарищи по службе — знали его на Северном флоте. И немного — о более позднем, литинститутского времени...

Портрет

Это потом уже, годы спустя, в известном ныне всем стихотворении Рубцова «Стукнул по карману — не звенит...» появится пронзительная концовка:

Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать...

И возвышенно-грустное название свое — «Элегия» обретет это стихотворение позже. В таком виде будет оно опубликовано на сотой странице сборника «Звезда полей», выпущенного издательством «Советский писатель» в 1967 году.

Мы, североморцы, слышали это стихотворение десятилетиями раньше. Был у нас хороший обычай: каждое занятие литобъединения завершать чтением юмористических стихов, экспромтов, пародий и эпиграмм друг на друга, чаще всего сочиненных тут же, по ходу разговора. Молодые все были, зубастые, случалось порой, слово опережало мысль: где бы и подумать — ан нет, спешишь высказаться...

Вот в такой как раз обстановке и прочел Рубцов свою будущую «Элессию». И не было в ней ни слова о Ялте: последняя строфа целиком повторяла первую, только глагол «полетели» стоял в настоящем времени. И «зенит» соседствовал с другим эпитетом: безоблачный. Вот так читалось: «В тихий свой, безоблачный зенит улетают мысли отдыхать...»

Мы — три десятка моряков, летчиков, военных строителей восприняли это стихотворение как шутку, не более. А иначе и быть не могло. Давайте вспомним:

Но очнусь и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.

Очень уж не вязалась печальная наполненность этих строк с обликом автора — жизнерадостного морячка. Впрочем, даже не то что не вязалась — противоречила ему. Был Николай ростом невысок, но крепок. Пышные усы носил — они ему довольно задиристый, этаким петушковатый даже вид придавали. Короткую, по уставу, прическу, в которой если и содержался намек на будущую лысину, то весьма незначительный. Аккуратен, подтянут — флотская форма очень шла ему. Да и не впервой надел он тельняшку — успел до военного-то корабля на рыболовных походах. А стихи читал напористо, энергично — не так, как позже, на «гражданке», когда стал если и не знаменитым еще, то достаточно известным.

Повторяю, мы восприняли это стихотворение как шутку. И по-своему были правы.

Вглядываюсь — из нынешнего дня — в даль тех дней. Кто из нас, двадцатилетних, мог всерьез воспринять строки о памяти, что «отбивается от рук», о молодости, что «уходит из-под ног»? Жизненные сроки для нас, по сути, только начинались...

После — надолго — первые строки этого стихотворения стали для литобъединенцев своеобразным паролем. Встречаясь в увольнении, на занятиях ли, кто-то протягивал руку, приветствуя товарища, и с улыбкой изрекал: «Стукнул по карману — не звенит...» «Стукнул по другому — не слышать...» — непременно подхватывал второй.

Да и сам автор, помнится, читал стихотворение с улыбкой, чуть виноватой. Вроде бы говорил: не принимайте всерьез, ребята...

Вот ведь как все обернулось... Не знаю, успел ли Николай в Ялту. А на сохранившейся у меня коллективной фотографии литобъединения он все тот же: значок отличника ВМФ на суконке, перемежающиеся полоски тельняшки, пышные усы, задиристые, веселые глаза.

О Есенине «думаю больше, чем о ком-либо»

Я переписывать не стану
Из книги Тютчева и Фета...

Н. Рубцов. *Подорожники*

Спасибо родному Северному! Флот денно и ночью (слово к месту, ибо долгую полярную ночь со счетов не сбросишь) пекся о своих начинающих поэтах и прозаиках. 28 июля 1957 года организационно оформилось литературное объединение при газете «На страже Заполярья». Частыми гостями североморцев были писатели-маринисты Н. Панов, Е. Юнга, Н. Гильярди, В. Чукреев, поэты Н. Флеров, Н. Букин, Д. Ковалев. Московский критик А. Турков в марте 1958 года провел двухдневный семинар с молодыми литераторами. Из Ленинграда — в помощь литобъединению — приезжали Вс. Азаров, Н. Вагнер и другие писатели.

Нужно сказать, что у нас, литобъединенцев, служба и творчество шли, говоря по-флотски, параллельными курсами. Нас никто не освобождал от вахт, от выходов в море, от исполнения нелегких моряцких обязанностей.

Более того, участвовать в работе литературного объединения имели право только отличники боевой и политической подготовки, и «добро» на такое участие давалось в каждом случае командиром части или корабля. В то же время политуправление флота и редакция газеты постоянно привлекали нас к выпуску тематических и литературных страниц, поручали нам подготовку различных листовок и агитплакатов. Очень часто выступали мы в подразделениях, на кораблях, в матросских клубах, в домах офицеров.

Силами литобъединения было выпущено несколько сборников стихов и прозы, и в сохранившихся у меня книжках немало страниц со стихами матроса Николая Рубцова. В феврале 1959 года увидел свет первый номер нашего альманаха. Имя ему дали мы, исходя из своего географического положения: «Полярное сияние». Насколько мне известно, альманах продолжает выходить и сейчас, хотя никого из нашего поколения североморцев и в литобъединении, и в редакции флотской газеты уже не осталось.

Но это — к слову. Речь же о том, в каком котле мы варились. Скажу, не кривя душой: это была отличная школа. Не объяснишь случайностью тот факт, что более десяти человек из нашего литобъединения — все сверстники почти, одного года призыва ребята («годки» — на флотском языке) — стали членами Союза писателей СССР. Многие бывшие матросы и старшины сегодня — профессиональные журналисты, получившие после службы образование в Литературном институте, в Московском и Ленинградском университетах.

И все же, как ни красивы черный бушлат и форменная рубаша с голубым воротником, как ни отважна молодость двадцатилетних, а — привязанные к морю на четыре долгих года — тосковали мы по своему дому, по родным и близким.

Наверно, именно поэтому, при всех других своих пристрастиях к литературным именам и авторитетам, все мы были влюблены в Есенина. Знаю по своему опыту, нигде так обостренно не воспринимается есенинская поэзия, как в море. Как раз в те годы книги Есенина, после долгого перерыва, стали выходить в свет — сперва робко, «на пробу» вроде бы, потом все смелее и смелее. И двухтомник великого земляка, присланный мне братом на корабль, был зачитан ребятами до дыр. Та-

ким и храню его в своей библиотеке — он мне новых дорожке.

Помню часы полярной ночи, светлой от багрецов, от сполохов сияния. Мы трое — Юра Якунин, Николай Рубцов и я ходим по главной улице Североморска, улице имени Бориса Сафонова. И наизусть читаем друг другу Есенина.

— Какая заложена сила в этих нехитрых стихах: «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!..» — говорит Николай.

Я вот и сейчас уверен: Рубцову, прошедшему через раннее сиротство, через детдом, это стихотворение было особенно близко. О том, какие струны затрагивало оно в его душе, можно было догадаться потому хотя бы, что слезы закипали на его глазах, когда читал он вслух «Письмо к матери». И понятны, и простительны были эти слезы.

А ночная та прогулка оживет в моей памяти, когда в первом крохотном сборнике Рубцова «Лирика» (Северо-Западное книжное издательство, 1965) увижу такие строки:

Я сам за все,
Что крепче и полезней!
Но тем богат,
Что с «Левым маршем» в лад
Негромкие есенинские песни
Так громко в сердце
Бьются и звучат!

Совпадение стихов с давними словами о «Письме к матери» почти буквальное...

Однажды то ли от кого-то услышал, то ли где-то вычитал, что Есенин бывал в Мурманске. Факт — и все, никаких подробностей больше. Сразу же написал об этом Коле — корабль, на котором служил он дальномерщиком, как раз стоял в это время близ Мурманска. И вскоре получил письмо, помеченное 2 февраля 1959 года (см. с. 294 наст. сб. — *Сост.*).

Николай писал о своих попытках установить факт пребывания С. Есенина в Мурманске. «Что бы там ни было, помнить об этом деле буду постоянно, — обещал он. — Да и невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина. О нем всегда я думаю больше, чем о ком-либо. И всегда поражаюсь необыкновенной силе его стихов...» Спрашивал Николай также, нравится ли мне

служба в газете, сообщал о новой встрече с Юрием Кушаком...

В своем письме Николай Рубцов весь на виду, прозрачен насквозь — и в его отношении к поэзии (цитирует Блока: в стихах должно быть «удесятеренное чувство жизни»), и в чуткости своего всегда очень доброго к людям сердца (рассуждения о бывалом моряке, который сидит рядом с ним). Некая неловкость стиля, сбивчивость в изложении легко объяснимы: письмо писалось, что называется, «из-под полы», во время занятий.

Два уточнения по ходу дела. Первое: в декабре 1958 года я был переведен с борта эскадренного миноносца в редакцию газеты «На страже Заполярья». Отсюда и вопрос, нравится ли работа в газете. И второе: упоминаемый Рубцовым Юра Кушак перед тем уволился в запас и выехал в Москву. Однако, прожив в столице несколько месяцев, вернулся в Североморск, стал литературным сотрудником флотской газеты.

Впрочем, все это детали, мелочи почти не обязательные. Главное — Есенин в жизни, в творческой биографии Рубцова.

Не хочу быть пристрастным и утверждать, что Есенин оказал решающее влияние на стихотворство Рубцова. Он и Блока не чужд был — отнюдь, и виртуозное мастерство Хлебникова импонировало ему. Он много знал и помнил, потому что много читал и прочитанное основательно «переваривал» в себе.

Заканчивая главку, и о том скажу, что, сколько ни ходили мы по «следам» Есенина в Мурманске, нас, увы, постигла неудача. Ни очевидцев его пребывания в этом городе не нашли, ни документов. Может, не слишком настойчивы были в своих поисках?

Впрочем, позже я узнал, что молодой мурманский поэт Володя Сорокажердьеv оказался удачливее нас. Ему — об этом он сам сообщает в письме — удалось установить, что Сергей Александрович Есенин предпринимал в свое время поездку в Мурманск, но до конечной цели маршрута не добрался. Так тогда, в двадцатых, сложились обстоятельства.

«Есть на Севере березка...»

Редактором флотской газеты был в те годы полковник Овчаров Михаил Ефремович. Добрейшей души че-

ловец, он обладал драгоценным даром подметить любой мало-мальский талант. Сколько возился он с нами, молодыми, как щедро открывал страницы газеты для наших стихов, рассказов, очерков, как много сил и сердечного жара вложил в выпуск нашего альманаха «Полярное сияние»!

Имя Николая Рубцова, как и имена других флотских поэтов и прозаиков, все чаще появляется в печати. И не только под стихами (или над заголовками таковых). Вот, к примеру, любопытная цитата из фельетона Георгия Семенова, обрушившего свой сатирический бич на графоманов. Поучая их необходимости бережного отношения к поэзии, к слову, фельетонист говорит: «...к 25-летнему юбилею Флота вышел литературный сборник «На страже Родины любимой». В нем напечатаны стихи военного летчика Василия Вихристенко, подводника Владимира Жураковского, радиотелеграфиста Александра Проценко, дальномерщика Николая Рубцова... Не вдаваясь в анализ творчества начинающих флотских поэтов, хочется отметить, что на каждом стихотворении, вошедшем в сборник, лежит печать трудолюбия. Сами же авторы ничем не выделяются среди окружающих, это скромные люди... Все они познали первую радость творческого успеха, влившись в литературное объединение...».

На страницах своих дневников я обнаружил следующие записи.

«12 апреля 1959 года. Занятие литературного объединения. Вели разговор о выпуске второго номера альманаха. Общее сетование по поводу того, что в номер первый не вошли стихи Н. Рубцова».

Разговор действительно был жарким. Все единодушно сходились во мнении, что Рубцова следовало представить шире, чем кого-либо. А вот почему не вошли в первый номер его стихи, теперь и припомнить не могу. Скорее всего, сам Николай не подготовил подборку к сроку. Зато во втором номере «Полярного сияния» Рубцов был представлен полнее всех других поэтов: разворотом, «россыпью» стихов на отдельных страницах, даже пародией. Впрочем, пародия была не его — на него, но об этом речь впереди.

Новая запись. «Воскресенье. 30 августа 1959 года. Дом офицеров флота. Литобъединение с участием гостей из Ленинграда З. Я. Штейна и Н. П. Вагнера (се-

минар прозы). На поэтической секции разговор шел преимущественно о стихах Рубцова...»

Из записной книжки, помеченной октябрём того же года. Запись на редакционной планерке: «Выступает редактор М. Е. Овчаров. Говорит о том, что члены литературного объединения оказывают значительную помощь газете. В первую очередь это — Н. Рубцов, Б. Романов, В. Бондаренко, В. Лешкинов...»

Теперь о пародии.

Есть у Николая Рубцова небольшое стихотворение «Северная береза». Впервые оно было опубликовано в газете «На страже Заполярья», потом вошло в юбилейный сборник «На страже Родины любимой». Вот оно, это стихотворение:

Есть на севере береза,
Что стоит среди камней.
Побелели от мороза
Ветви черные на ней.
На морские перекрестки
В голубой дрожащей мгле
Смотрит пристально березка,
Чуть качаясь на скале.
Так ей хочется «Счастливо!»
Прошептать судам вослед.
Но в просторе молчаливом
Кораблей все нет и нет...
Спят морские перекрестки,
Лишь прибой гремит во мгле.
Грустно маленькой березке
На обветренной скале.

«Береза» Н. Рубцова вызвала бесчисленное множество подражаний. В редакцию газеты хлынул поток стихов о полярной березке, отдел культуры оказался буквально заваленным ими. Машинистки задыхались, перепечатывая письма с убедительной просьбой к военкорам больше не тратить вдохновения на милую сердцу карликовую березку. Военкоры, не вняв просьбе, упрямо продолжали рифмовать «березку» с «материнскими слезами» и «девичьими косами». Тогда-то мы, сотрудники отдела Станислав Панкратов, Юра Кушак и автор этих строк, «осердясь» на Рубцова, породившего «Березу», подражателей и подражания и задавшего нам столько работы, и сочинили пародию. Позднее в ряду других опубликовали ее во втором номере альманаха «Полярное сияние». Переписываю ее оттуда.

*Н. Рубцову
и прочим поэтам, воспевшим
заполярную березку (список
бесконечен)*

Березка заполярная

Есть на Севере береза,
Что стоит среди камней,
Есть на Севере береза —
Дай попробую о ней!

Распишу ее, раскрашу.
В голубой дрожащей мгле
Хороша береза наша,
Лучше нету на земле.

Пусть о ней стихата хлипки,
Но коль дан пиитам жар,
Обдерут ее как липку,
Изведут на гонорар.

Не обольщаю себя надеждой относительно художественных достоинств нашего коллективного творения. И все же пародия, прочитанная поначалу на занятии литобъединения, сделала свое дело: стихи о березке, насколько я помню, больше в редакцию не приходили. А Николай Рубцов, слушая пародию, улыбался. Те, кто близко знал его, помнят, как умел он улыбаться: застенчиво, смущенно. И, как бы подводя итог всей этой истории, сказал:

— Все правильно, ребята. Согласен и не в обиде. Как-то бездумно мы иногда пишем: берем то, что лежит на поверхности...

Мог ли я думать в то время, что через много лет услышу своеобразное продолжение этой истории? Весной 1975 года черновицкие писатели пригласили в гости группу рязанских литераторов: наши области с давних пор дружат и соревнуются меж собой. Остановились мы в гостинице «Буковина». Там, в холле, поджидая товарища, разговорился я однажды с коридорной. Милая женщина, белоруска по национальности, она рассказала, как во время войны пятнадцатилетней девочкой партизанила, как съездила минувшей осенью на встречу боевых друзей в Полесье. Затем — по какому случаю, не вспомню — сообщила, что ее родственник недавно отслужил срочную на Северном флоте, что вечерами прихо-

дит в гости к ней и ее мужу и поет под гитару моряцкие песни, очень красивые — то веселые, а то и грустные...

— Вот эта мне особенно нравится, — сказала женщина. — Сейчас я вспомню ее, попробую напеть...

И напела. Слова я узнал сразу: «Северная береза». Те самые стихи. Но Рубцов, доподлинно знаю, сам под гитару их не пел. Вероятней всего, кто-то из моряков, перебирая струны гитары, придумал для незатейливых в общем-то слов и мелодию не очень-то хитрую, а получилось душевно, хорошо.

Это тоже высокое качество рубцовской поэзии: многие его стихи поются, и песни те, можно сказать, по всем признакам народными стали.

«Хочется вырваться на простор...»

На втором письме нет даты. Но, судя по почтовым штемпелям на конверте, отправлено оно из Мурманска 29 мая 1959 года (помеченное этой датой, в наст. сб. оно опубликовано на с. 297. — *Сост.*), получил я его в Североморске 31 мая.

Это письмо — собственноручное свидетельство молодого флотского поэта Николая Рубцова о круге его интересов и увлечений, о жадном его любопытстве к жизни (впрочем, разве и первое не о том же?). Как и первое, письмо вряд ли нуждается в комментариях, но кое-что требует уточнения или пояснения.

Скажем, Саша Проценко, матрос, с которым Рубцов случайно встретился в госпитале, был одним из активнейших в нашем литобъединении поэтов, печатался во флотской газете, в коллективных сборниках.

«А будет напечатано "Счастливого пути,,?» — спрашивает Николай в постскрипуме. Тут вот о чем речь. Под такой рубрикой газета наша в то время — не от случая к случаю, а довольно часто — печатала поэтические подборки с обязательным портретом автора, с коротким напутственным словом кого-нибудь из товарищей по перу. Подборку Николая мы тоже дали, но вот, сколько ни ворошил свои бумаги, не нашел вырезки с этой подборкой его стихотворений. И теперь мне хочется попросить нынешних молодых поэтов и прозаиков Северного флота: полистайте в архиве газету «На стра-

же Заполярья» за 1959 год, начиная с июня. Вы обязательно найдете эту подборку.

Сохранились вместе с письмом и оба стихотворения, о которых упоминает Николай. Думается, нет надобности приводить здесь первое из них — «Дан семилетний план». На мой взгляд, оно отличается заданностью, прямолинейностью, нехарактерно для поэзии Рубцова.

Зато сколько мягкого, неназойливого, истинно рубцовского юмора в незатейливом стихотворении «Сестра» (там и посвящение конкретному человеку — медсестре Д. Наде; кстати сказать, фамилия на оригинале указана полностью). Вот это доброе свойство — смотреть на окружающий мир, на свое в нем место с мягкой и грустной улыбкой — будет блестяще проявлено Николаем в его поздних стихах.

Итак, «Сестра» (разбивка строк в стихотворении соответствует оригиналу).

Медсестре Д. Наде

Наш корабль с заданием
В море уходил,
Я ж некстати в госпиталь угодил.
Разлучась с просторами
Синих волн и скал,
Сразу койку белую ненавидеть стал.
Думал, грусть внезапную
Чем бы укротить?
Свой недуг мучительный
Как укоротить?
«Жизнь! — иронизировал, —
Хоть кричи «ура»...
Но в палату юная вдруг вошла сестра.
Словно гений нежности,
Гений доброты,
Обратилась вежливо,
Жаль, что не на «ты».
— Это вы бушуете? —
В голосе укор.
Ласковой добавила:
— Сделаем укол.
Думал я о чуткости
Рук, державших шприц, —
И не боли — радости
Не было границ.
Знать, не зря у девушки
Синие глаза.
Как цветы, как русские наши небеса.

И подпись под стихотворением: старший матрос (старшим стал!) Рубцов Николай. И номер воинской

части, то есть в этом случае — адрес воинского госпиталя.

Мне вот на что хочется обратить внимание: как перекликаются строки из первого письма со строками из второго. В первом: «...все чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни...» Во втором: «Ночами часто предаюсь воспоминаниям. И очень в такие минуты хочется вырваться наконец на простор, поехать куда-нибудь, посмотреть на давно знакомые памятные места».

Тот, кому довелось служить в армии или на флоте, знает: последний год — он самый трудный. И тоска по дому тербит сердце, и в то же время неуверенность волнует: сможем ли мы, уже отвыкшие от «гражданки», найти себя, свое место в «цивильной» жизни? Человек с характером, с темпераментом Николая Рубцова не мог позволить себе плыть по течению, делать то, что подскажет обстановка. Не мог он уподобиться лежащему камню, под который вода не течет. И всей своей короткой, стремительной жизнью доказал это.

И заветное свое желание «послаться по голубичным болотам да по земляничным полянам или посидеть ночью в лесу у костра» успел он исполнить. Бродяжил (в самом лучшем смысле этого слова) по Руси — вечный странник, непоседа, не имеющий ни кола ни двора. Истинный Поэт!

Но все это будет потом, потом. А пока, выйдя из госпиталя, продолжит он боевую службу на корабле и даже — отличный ведь был моряк-то! — успеет стать старшиной второй статьи.

**«Хочется кому-то
чего-то доказать...»**

И были еще у нас встречи — в самый разгар полярного лета, когда алый парус солнца круглые сутки плавает над головой, не желая прятаться за сопки. Ходили по улицам Североморска — вдвоем, втроем, вчетвером.. Все друзья, ровесники. Читали друг другу стихи — свои и чужие. Спорили — яростно, тоже друг друга не щадя. Мечтали о том времени, когда обретем уверенность в своих силах, чтобы написать об этом вот — о флоте, о Североморске, о юности своей на улицах Сафонова, Гаджиева, Полярной... Повести написать, поэмы...

Что-то подзадержались мы с исполнением этой мечты, а, ребята? Это я к Стасу Панкратову обращаю свой вопрос, к Юре Кушаку, к Илье Кашафутдинову, к Сереже Шмитко... И — к себе самому в первую очередь.

Но это так, в порядке лирического отступления. Или напоминания о том, что долги надо платить.

...К осени солнце сошло на нет, скупыми, короткими стали светлые часы.

В воскресный день, получив увольнительную, Николай на катере добрался из Мурманска в Североморск и объявился у меня на квартире.

— Проститься пришел. На этой неделе уезжаю. Точка! Отслужил...

Посидели, помолчали. По рюмочке-другой — каюсь! — в нарушение воинских уставов опрокинули.

— Куда ж проездной выписываешь?

— Еще не думал. — Грусть была в его голосе. — Может, в Вологду, в деревню подамся, а может, в Ленинград. Там у меня родственник на заводе работает. Приютит на первый случай. Ты все-таки питерский адрес запиши — оно вернее...

И с той же грустью добавил:

— Четыре года старшина голову ломал, как меня одеть-обуть и накормить. Теперь самому ломать придется... Да не о том печаль. Ждал я этого дня, понимаешь! Долго ждал. Думал, радостным будет. А вот грызет душу тоска. С чего бы?

Я проводил его к причалу. Мы стояли на берегу. Был час прилива. Тугая вода медленно наступала на берег, закрывая отмели, тинистое дно, весь тот травяной, древесный и прочий хлам, который годами скапливается в море.

— Ты-то долго на Севере удержишься? — спросил он меня.

— Не знаю. Учиться нам надо.

— Надо, еще как надо! Только получится ли сразу? Все думаю, к какому берегу волна меня прибьет...

Истекало время его увольнения, и катер был готов отвалить от причала, и надо было прощаться. Мы обнялись.

— Ну, будь!

— Будь!

Он все стоял на палубе и размахивал бескозыркой, пока не скрылся из виду катер.

...Через какое-то время я написал ему в Ленинград, собственно, не совсем даже в Ленинград — во Всеволожский район, на Невскую Дубровку, на улицу 1-й Пятилетки. Ответ пришел нескоро (см. письмо от 2 июля 1960 года на с. 298 наст. сб. — *Сост.*).

Вроде и бодрым был тон письма, а грустно мне стало, когда раскрыл я его и прочитал. «Старею понемножку, так и не решив, для чего же живу, — писал Николай. — Хочется кому-то, чего-то доказать, а что доказывать и кому доказывать — не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться...» Будто бы воочию я увидел всю неустроенность, все его одиночество.

А еще через два года стоял я у дверей общежития на московской улице Добролюбова. Был поздний август, сумерки — тот хороший, теплый час, когда и через силу не усидишь в стенах дома. Тем паче свежим воздухом подышать хотелось, что через день или два начинался для меня второй курс в Литературном институте.

К общежитию двое подходили. И что-то в походке невысокого, одетого в белую рубашу с короткими рукавами парня показалось мне удивительно знакомым.

— Скажите, — окликнул он, — где тут...

И в ту же минуту лицо его дрогнуло, изменилось. И, наверно, изменилось мое лицо.

Такой неожиданной и радостной была наша встреча.

— Колька-Колька, — укорил я, — зачем же ты усы-то обрил?

— А-а, усы... — махнул он рукой. — Тут вот на голове волос совсем, считай, не осталось. Очень я это переживаю...

*

* * *

Будни наши литинститутские... Приезд Николая в Рязань, вовсе неожиданный и затеянный им ради Есенина — в Константиново поездки ради. Я к тому времени работал в «Приокской правде». Был март, начало: таял снег, дули пронзительные ветры. По сырым улицам, в ночи, пришли мы, несколько человек, на территорию кремля — к могиле Полонского. И долго стояли у хлипкой решетки, отгородившей от нас мраморную глыбу надгробия. А потом развели костер — в стороне от

заповедника, среди голых деревьев. Синие тени падали на хрусткий, подмороженный снег, передвигались вокруг огня, а нам было весело, хорошо было, и мы читали стихи. Весна пьянила...

Впрочем, об этом — не сегодня, это все — для другого рассказа.

Быть может, когда-нибудь соберусь с силами и подробнее напишу обо всем, в деталях — о жизни его и службе на Северном флоте, о доме 25 на Тверском бульваре. Название для этой книжицы давно в душе выносил. Короткое — ПОЭТ.

Знаю твердо: недолгие и нелегкие дни, прожитые Рубцовым в Москве, оказались для него тем же, чем бывает запальный шнур для динамита. Энергия, которая годами накапливалась в его смятенной, ищущей, не знающей покоя душе, вдруг прорвалась наружу. Перед Рубцовым широко открылись двери редакций и издательств. Да что там двери! Сердца читателей доверчиво распахнулись ему навстречу. Критика заговорила о нем...

Работая над этим очерком, я все читал и перечитывал письма Николая Рубцова. На полях третьего из приведенных здесь его рукой выведено: «Мой адрес: Ленинград, 99, ул. Севастопольская, д. 5, кв. . . . Пиши».

Рука тянется к перу: написать, чтоб привычно откликнулся.

Увы, не откликнется...

Иногда по вечерам заглядывают ко мне «на огонек» начинающие поэты — студенты Рязанского пединститута. Им хочется как можно больше знать о Рубцове. И под гитару поют они песни на его слова. Те же песни, которые — тоже под гитару и в этой самой квартире — пел он.

Живут они — песни...

Я не оговорился, сказав несколькими строками выше вот это: «...на полях третьего из приведенных здесь писем». Точно знаю, были и другие. Да знать бы еще, где найти. Небрежность наша...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕСНИ

На тетрадном листке в клетку весной шестьдесят второго года написаны эти строчки:

«Елена Мефодьевна, извините, я принес стихи Вам сюда. Отпечатайте их, пожалуйста, не сбивая интервал (можно через малый, можно через большой, только так, чтоб стих каждый был размещен на одной странице). Прошу отпечатать их в 4-х экземплярах, на белой бумаге, пожалуйста. Во вторник можно будет за ними зайти к Вам в завком? Рассчитаюсь, как говорил. С приветом Н. Рубцов».

23 стихотворения, аккуратно перепечатанные секретарем-машинисткой заводского комитета профсоюза Кировского завода, старостой литературного объединения Еленой Мефодьевной Дементьевой, пролежали среди моих бумаг пятнадцать лет вместе с фотографией их автора Николая Михайловича Рубцова. Эти стихи обсуждались тогда майским вечером 1962 года рабочими поэтами Кировского завода.

Осенью, а точнее 30 ноября 1959 года, на Кировский завод за Нарвской заставой поступил ничем не приметный, никому не известный на этом предприятии демобилизованный матрос Николай Рубцов. Невысокого роста, худощавый, застенчивый, он из двадцати трех лет жизни четыре отдал флоту. В отделе кадров бывшему ма-

тросу и предложили более чем скромную работу — кочегаром.

Кировский завод — это не только предприятие умельцев, о которых знает вся Россия, но и хорошая школа для начинающих поэтов. В литкружке Кировского завода занимались тогда поэты Николай Новоселов, Борис Глебов, Николай Малышев и другие. Членом литобъединения кировцев стал и Николай Рубцов.

До занятий он приходил в редакцию заводской многотиражки «Кировец», садился где-нибудь в стороне, наблюдая за суетливой работой газетчиков, или что-нибудь писал в тетради. Никто не читал еще тогда его стихов, не видел их в рукописи. Лишь в апрельском номере «Кировца» за 1960 год появилось впервые стихотворение Н. Рубцова «В кочегарке»:

Вьется в топке пламень белый,
Белый, белый, будто снег.
И стоит тяжелотелый
Возле топки человек...

Кочегаром Рубцов оставался недолго, в мае 1961 года он перешел работать шихтовщиком в копровый цех и поселился в заводском общежитии на Севастопольской улице. По этому поводу он шутил с друзьями:

— Везучий я в морской жизни! Служил на Баренцевом море, а живу на Севастопольской...

В то время в предисловии к литературной странице в заводской многотиражке руководитель литобъединения поэт Николай Новоселов писал: «От стихотворения к стихотворению крепнет поэтический голос, возрастает литературное мастерство Н. Рубцова...»

Осенью 1961 года пять стихотворений поэта — «В кочегарке», «Впечатление детства», «Желание», «Утро на море», «Портовые ночи» — появились в сборнике «Первая плавка».

Радуюсь легкости и напевности рубцовских стихов, мы не знали, каким трудом достаются они ему. Но вот что рассказывает мой товарищ по учебе, ныне механик одного из цехов Кировского завода Александр Васильевич Николаев:

— Жил я в одной комнате с Николаем Рубцовым в общежитии на Севастопольской. Койки наши стояли рядом. Засиживались вечерами допоздна: я учился в машиностроительном техникуме, Николай — писал стихи. В его тумбочке лежала стопка листов, испещренных по-

метками, вычеркнутыми строчками, вымаранными чернилами словами. Иногда Николай часами бился над одним словом. Бывало, вернемся с завода в общежитие — в комнате хоть шаром покати: добываем у ребят хлеба, ставим чайник, пьем кипяток. Николай уже успел за день сочинить стихотворение, но «замка» стиха, как он говорил, — нет. Опять бьется над словами. И наконец находит, улыбается. Счастливый, будто золотой червонец нашел. Так жили дружно вплоть до его отъезда в Москву. Провожал его с другом Анатолием до поезда. Из вагона он нас поблагодарил такими строчками: «Вспомню Сашу, вспомню Толю, вспомню с теплой я любовью...»

Действительно, в канун ноябрьских праздников 1962 года Рубцов простился со своими друзьями-кировцами и уехал учиться в Литературный институт имени А. М. Горького.

Вскоре в числе небольшой делегации я направился на торжества в город Гжатск. От коллектива кировцев мы везли матери первого в мире космонавта Ю. А. Гагарина, дочери путиловского рабочего Анне Тимофеевне, отмечавшей свое шестидесятилетие, скромные подарки. Я захватил с собой только что вышедшую тогда в Лениздате книгу стихов рабочих поэтов Кировского завода «Продолжение песни». Наш путь лежал через Москву, и мы, естественно, не могли не навестить Николая Рубцова. Разыскиали его в Москве только под утро. Жил он в институтском общежитии.

Показал «Продолжение песни» Рубцову. Он полистал сборник, посмотрел и свои стихи, помещенные здесь, сказал:

— Есть у меня новые стихи. Вот послушайте...

Взял гармошку, растянул мехи и глуховатым голосом запел:

Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю.
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою...

После окончания института он приезжал в Ленинград, встречался со своими друзьями. Подарил кировцу Александру Николаеву свою книгу стихов.

Как-то я показал книгу стихов Николая Рубцова и его фотографию рабочему — скульптору-любителю Моисею Львовичу Жаржевскому. Рассказал о поэте, и тот

загорелся желанием сделать скульптурный портрет Николая Михайловича. Он лепил вечерами, в обеденный перерыв, всматривался на фотографии в юношеские черты поэта. Два варианта портрета, почти уже готовых, Жаржевский уничтожил. Принялся за третий. Я приводил друзей Рубцова, с которыми он жил на Севастопольской: Николаева, Каплина... Мы всматривались в черты лица Рубцова, подсказывали, советовали... И мало-помалу стал вырисовываться образ поэта, каким мы его знали в начале шестидесятых годов.

В «НАРВСКОЙ ЗАСТАВЕ»

Когда я принял литературное объединение «Нарвская застава» от поэтессы Натальи Грудиной, я уже знал, что это объединение — одно из сильнейших в Ленинграде. Немало известных поэтов начинало здесь свой творческий путь: Илья Фоняков, Анатолий Поперечный, Анатолий Аквилев, Михаил Сазонов, Николай Малышев, Нонна Слепакова... Познакомившись с кружковцами, которыми должен был руководить, порадовался их слаженности в работе и серьезному отношению к делу, а прежде всего — бесспорной одаренности многих из них.

Даже на таком фоне сразу обращала на себя внимание яркая индивидуальность Николая Рубцова. Привлекали стихи молодого поэта, удивительно жизнелюбивые, в которых некая рисовка «морской души» маскировала собой подлинную влюбленность в море. Уже позади была грустно окончившаяся любовь к девушке, которая «и раньше приходила нескоро», а однажды «не пришла совсем» Много позже поэт вспоминал «глаза ее, близкие очень, и море, отнявшее их» и даже довольно лихо шутил по этому поводу:

Любимая чуть не убилась, —
Ой, мама родная земля! —
Рыдая, о грудь мою билась,
Как море о грудь корабля.

Как и некоторые другие молодые поэты, работавшие на Кировском заводе, Николай Рубцов совмещал заня-

«Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в трал-флоте»), которые стали его первыми публикациями и сразу составили ему добрую репутацию. На обсуждении отмечалась своеобразная самоирония, причудливо окрашивающая описание «трудового процесса» в сочетании с совершенно необычной «локальностью». «Я хрипло ругался, и хлюпал, как шлюпка, сердитый простуженный нос». Никто никогда не писал таких стихов о неудачной любви, где несомненная боль обязательно прикрывалась иронией: высмеять — значило для поэта выздороветь («Разлад», «Ненастье», «Утро утраты»).

И уж совершенный восторг вызвало у товарищей Рубцова одно из самых улыбочивых его стихотворений — «Утро перед экзаменом»: для ошалевшего от занятий школяра скалы стоят «перпендикулярно к плоскости залива», «стороны зари равны попарно», облако несется «знаком бесконечности» и даже «чья-то равнобедренная дочка» двигается, «как радиус в кругу». Было тут же установлено, что именно с «равнобедренной дочки» и началось это стихотворение.

Да, товарищи по «лито» очень четко «засекли» тот момент, когда из-под пера Рубцова стали появляться зрелые, художественно совершенные стихи. К сожалению, далеко не так обстояло дело в его взаимоотношениях с печатными органами.

Задним числом мы иногда любим лакировать путь поэта, украшать его розами и выщипывать тернии. Нередко Рубцов приходил на занятия злой, раздраженный: «Опять не взяли стихи в «Смене». Что они там понимают в стихах!» Нет, путь Рубцова в литературу не был безоблачным, но он умел относиться к жизненным трудностям с юмором.

Кажется, в последний год пребывания Рубцова в нашем литобъединении секретарь «Нарвской заставы» Борис Тайгин благоговейно перепечатал на машинке в нескольких экземплярах (для себя, автора и его друзей) первый стихотворный сборник Николая Рубцова под названием «Волны и скалы», включающий 38 стихотворений.

С книжечкой этой Рубцов в то время не расставался. Очень мальчишеская, очень задиристая, но ярко талантливая, она как-то компенсировала ему отсутствие настоящей «прессы». Позже он рассказывал, как приехал с нею в Москву поступать в Литературный институт

имени А. М. Горького, даже не надеясь, что его примут, поскольку приехал с изрядным опозданием, когда экзамены уже кончились. Однако «Волны и скалы» так очаровали экзаменаторов, что Рубцов был зачислен добавочно на очное отделение. Оживленный, не сразу поверивший своему счастью, примчался он в Ленинград увольняться с Кировского завода. Но, поступив в Литературный институт, Рубцов не порвал отношений с «Нарвской заставой». Приезжая в Ленинград, он непременно навещал товарищей.

Запомнилось мне выступление Рубцова на отчетном вечере в конце занятий. Я впервые видел его перед большой аудиторией. В чтении его чувствовалась глубоко затаенная сила, да и манера чтения была совершенно необычной, резко индивидуальной. Читая, он проде-
лывал рукой какие-то вращательные движения, пригибаясь при этом:

Ну что ж! Моя грустная лира,
Я тоже простой человек —
Сей образ прекрасного мира
Мы тоже оставим навек.

...Я вслушивался в нотки голоса, столь знакомого, и сердце мое резануло чувство тревоги за судьбу этого человека. Может быть, это было предчувствие неблагополучия? Не знаю... Оно пришло и ушло. После окончания Литературного института, хотя Николай Рубцов и бывал в Ленинграде, мне не пришлось с ним свидеться.

«ВОЛНЫ И СКАЛЫ»

В шестидесятые годы мне нередко доводилось бывать в Ленинградском Доме писателей. Там довольно часто устраивались вечера поэзии рабочей и студенческой молодежи. На одном из таких вечеров, 24 января 1962 года (дата точная: сохранился пригласительный билет), читал свои стихи на вид молодой, но почти без волос, худощавый и невысокий парень — Николай Рубцов.

До него уже многие побывали на сцене, читая свои стихи. В подавляющем большинстве стихи эти были буднично-серыми, а порою и откровенно пустыми, слушали их не очень внимательно, и в зале стоял характерный шумок, когда аудитория, как говорится, «и слушает и не слушает».

Николай Рубцов на сцену вышел в заношенном пиджаке и мятых рабочих брюках, в шарфе, обмотанном вокруг шеи поверх пиджака. Это невольно обратило на себя внимание. Аудитория как бы весело насторожилась, ожидая чего-то необычного, хотя здесь еще не знали ни Рубцова, ни его стихов.

Подойдя к самому краю сцены, Николай посмотрел в зал, неожиданно и как бы виновато улыбнулся и начал читать... Читал он напевно, громко и отчетливо, слегка раскачиваясь, помахивая правой рукой в такт чтению и почти не делая паузы между стихотворениями.

Стихи эти, однако, были необычными. Посвященные рыбацкой жизни, они рисовали труд и быт моряков под каким-то совершенно особым углом зрения. И насквозь были пропитаны юмором, одновременно и веселым и мрачным.

Аудитория уgomонилась, стала внимательно слушать. И вот уже в зале искренний смех, веселое оживление после очередных шуточных строк. И искренние шумные аплодисменты после каждого стихотворения. «Читай еще, парень!» — кричали с мест. И хотя время, отведенное для выступления, уже давно истекло, Николаю долго не давали уйти со сцены.

После окончания вечеров поэзии в Доме писателей обычно никто не спешил в гардероб. Люди собирались в кулуарах большого здания-дворца, на площадках лестниц, в комнатах отдыха, в буфете. Обменивались мнениями о прослушанных только что стихах, о выступавших поэтах.

Вокруг Рубцова, севшего за один из столиков в буфете, собралась, оживленно беседуя, группа молодых людей, которые, вероятно, знали его раньше. Но подходили и те, кто впервые его услышал. На меня его стихи произвели настолько чарующее впечатление, что непременно захотелось познакомиться с их автором!

Однако сделать это удалось несколько позже. Еще в декабре 1961 года я был принят в литературное объединение «Нарвская застава» при Дворце культуры имени Горького. Это был кружок молодых рабочих поэтов, которые собирались по вечерам один раз в неделю и под руководством поэта Игоря Михайлова изучали основы теории стихосложения, историю русской и советской поэзии, а также делали критический разбор того, что пишут сами члены кружка. А один раз в год, в мае, организовывался вечер встречи. Печатались пригласительные билеты, приглашались все желающие.

Такой вечер состоял из двух отделений: сначала шло вступительное слово руководителя кружка и выступления его членов, а после перерыва стихи читали гости, поэты-профессионалы или те, чьи стихи уже публиковались в периодике, у кого готовилась к изданию книжка... Вот на такой вечер 6 мая 1962 года во Дворце культуры имени Горького в качестве гостя приехал читать свои стихи Николай Рубцов. Здесь во время перерыва я и познакомился с ним.

Мы легко и просто разговорились. Я рассказал ему о впечатлениях январского вечера поэзии в Доме писателей. Он как-то весело внимал моему, вероятно, сбивчивому и не очень вразумительному рассказу, потом записал мой домашний адрес и телефон, и мы договорились, что он приедет ко мне.

И вот 1 июня 1962 года Николай Рубцов появился у меня дома. Он оказался простым парнем с открытой душой, и минут через десять мы уже беседовали, как старые друзья. Я рассказал, что решил записывать на магнитофонную ленту стихи своих друзей в авторском чтении. Николай одобрил это начинание и тут же сам зачитал мне на ленту десять своих стихотворений.

Показал я Рубцову и несколько машинописных книжечек со стихами моих друзей и предложил сделать такой же сборник его стихотворений.

У Николая было с собой довольно много машинописных листов с его стихами, и мы, не откладывая дела в долгий ящик, стали обсуждать, что из себя должна представлять такая книжка.

Расстались мы в этот вечер добрыми друзьями. Рубцов обещал в скором времени вновь зайти ко мне. Я немедленно начал печатать на машинке оставленную им подборку стихотворений. В течение полутора месяцев с того дня Николай бывал у меня довольно часто. Он приносил новые стихи, постоянно исправлял уже готовые строки, а то и целые строфы.

К началу июля книжка уже имела свое лицо. В окончательном варианте в нее было включено 38 стихотворений разных лет, разделенных на восемь тематических циклов: 1. Салют морю. 2. Долина детства. 3. Птицы разного полета. 4. Репортаж. 5. Звукописные миниатюры. 6. Ах, что я делаю? 7. Хочу — хохочу! 8. Ветры поэзии.

Назвал Н. Рубцов ее «Волны и скалы», объяснив, что «волны» означают волны жизни, а «скалы» — различные препятствия, на которые человек натывается во время своего жизненного пути. Стихи в книжке — именно об этом.

7 июля книжка была, наконец, полностью готова, и оставалось лишь ее переплести. Николай весь этот вечер был у меня, долго и внимательно перечитывал машинопись, остался очень доволен и, между прочим, сказал, что ему пришла в голову мысль написать несколько

слов «от автора». 11 июля он принес готовый текст. Перепечатав авторское предисловие, я переплел все шесть экземпляров, и 13 июля книжки лежали у меня на письменном столе совершенно готовые. Полуторамесячная работа была завершена.

Вечером пришел Николай, увидел эти книжки и был растроган чрезвычайно. В тот вечер по моей просьбе для записи на магнитофонную ленту Рубцов прочел еще два стихотворения, новые, только что написанные: «Поэт» с посвящением Глебу Горбовскому и другое — веселое и шуточное — «Разлад» (к сожалению, это последнее на ленту попало не полностью: техника подвела).

В конце августа 1962 года Николай Рубцов взял на заводе небольшой отпуск за свой счет и поехал в Москву. А в начале сентября, вечером, буквально на несколько минут, зашел ко мне радостный и возбужденный: его приняли в Литературный институт, хоть он и опоздал на вступительные экзамены! «И вот, — сказал он, — забежал к тебе попрощаться и еще раз поблагодарить тебя за книжку: я на собеседовании читал стихи, держа ее в руке, и потом она побывала в руках у всех членов комиссии, вызвав у них удивление и восхищение немалое! Думаю, что она являлась для меня как бы талисманом. Всегда буду хранить ее как самое дорогое, заветное! А экзамены разрешили мне сдать в течение семестра!» Я пожелал ему ни пуха ни пера. Мы дружно, тепло попрощались, и он ушел. То была наша последняя встреча.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОЭТ

Николай Рубцов — поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией — непридуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изыске, в утверждении многих форм, а также — истин. Большинство из найденного за эти годы в русской поэзии позднее рассыпалось прахом, кое-что осело на ее дно интеллектуальным осадком, сделало стих гуще, эрудированнее, изящней. Время от времени в огромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И все же — хотелось Рубцова. Требовалось. Кислородное голодание без его стихов — надвигалось... Долгожданный поэт. И в то же время — неожиданный. Увидев его впервые, я забыл о нем на другой день. От его внешности не исходило «поэтического сияния». Трудно было поверить, что такой «мужичонко» пишет стихи или, что теперь стало фактом, будет прекрасным русским поэтом... Неожданный поэт.

В самом начале шестидесятых годов проживал я на Пушкинской улице — угол Невского — возле Московского вокзала. И, естественно, дом мой был проходным двором. «Зал ожидания» — прозвали друзья мою коммунальную квартиру, где в десятиметровой комнатенке порой собиралось до сорока человек... Пришел однажды и Николай Рубцов. Читал свои морские, рыбацкие стихи. Читал зло, напористо, с вызовом. Вот, мол, вам, интеллигенты бледнолицые, книжники очкастые! Сохра-

нилась и запись магнитофонная того времени. Ее сделал Борис Тайгин, собиратель голосов и рукописей многих начинающих поэтов той поры. А внешне Николай на людях всегда как бы стеснялся привлекать всеобщее внимание. Вещал из уголка, из-за чьей-нибудь спины.

Стихов тогда читалась масса, поэты шли косяком. Одно только литобъединение Горного института выплеснуло до десятка интересных поэтов. И голос Рубцова, еще не нашедшего своей, корневой, драматической темы Родины, России, темы жизни и смерти, любви и отчаянья, тогдашний голос Рубцова тонул в окружающих его голосах. И это — закономерно. В Ленинграде Рубцов был в какой-то мере чужаком, пришельцем. Однажды привел с собой брата с гармошкой. И мы все пошли в один из ленинградских садилов, сели на лавку и стали играть на гармошке и петь песни. Городские люди на нас с интересом смотрели. А Коля не мог иначе. Ему так хотелось: щегольнуть гармозой, северной частушкой или моряцким гимном — «Раскинулось море широко»... Он таким образом заявлял в городе о себе, сохранял в себе свое, тамошнее, народное...

Однажды он пришел ко мне на Пушкинскую и сказал, что посвятил мне одно стихотворение. Что ж, было даже приятно. Значит, Коля и во мне что-то нашел. Ну читай, говорю, ежели посвятил. И Коля прочел «Трущобный двор, фигура на углу...» Стихотворение тогда называлось «Поэт» и содержало гораздо больше строф, нежели в нынешней, посмертной редакции. И заканчивалось оно как будто бы по-другому. Однако не это главное. Главное, что стихи взволновали, даже потрясли своей неожиданной мощью, рельефностью образов, драматизмом правды... И Коля для меня перестал быть просто Колей. В моем мире возник поэт Николай Рубцов. Это был праздник.

Николай Рубцов был добрым. Он не имел имущества. Он им всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал. А получка на Кировском заводе доставалась нелегко. Он работал шихтовщиком, грузил металл, напрягал мускулы. Всегда хотел есть. Но ел мало. Ограничивался бутербродами, студнем. И чаем. Супы отвергал.

Помню, пришлось мне заночевать у него в общежитии. Шесть коек. Одна оказалась свободной. Хозяин от-

существовал. И мне предложили эту койку. Помню, как Рубцов беседовал с кастеляншей, пояснял ей, что пришел ночевать не просто человек, но — поэт, и потому необходимо — непременно! — сменить белье.

С Николаем мы расстались, когда он уехал в Москву, в Литинститут. Я учиться там не хотел. И дороги наши надолго разошлись. Я был слишком занят самим собой, своими стихами. И проворонил взлет поэта. Второе рождение Рубцова.

Не секрет, что многие даже из общавшихся с Николаем узнали о нем как о большом поэте уже после смерти. Я не исключение. Но мне от этого не стыдно. Мы горели одним огнем, одними заботами. Хотя и под разными крышами, но под одним небом — русским небом. И меня пощадила жизнь, а его — искрошила. Подарив чуть позже бессмертие. Созданное его трудом. Его талантом. Его любовью к Родине, к ее слову. Мы расстались, но мы — рядом. Вот они, его «Подорожники», его «Сосен шум», его «Зеленые цветы». Я протягиваю руку, и глаза касаются Рубцова, души его нежной, опаленной, но всегда — живой.

Популярность поэзии Николая Рубцова среди людей, читающих стихи, не затухает. Скорее — наоборот. Популярность, возникшая почти сразу же после гибели поэта, теперь перерастает в прочную закономерность приятия рубцовской музыки как бесспорно истинного, устойчивого, почти классического. Лирика поэта издается теперь в самых разнообразных сериях, рубриках, библиотечках.

А ведь поэта, о котором идет речь, не стало совсем недавно. И вся-то его сиротская, детдомовская поначалу жизнь длилась немногим больше тридцати лет. И родился он не в конце прошлого литературного и даже не в начале нынешнего, блоковского, века, а в самом разгаре нашей Советской эпохи. И вдруг — чуть ли не классик! Почему? Ведь на наших глазах промелькнуло множество интересных стихотворцев, заполонивших своими сочинениями сотни и сотни томов. А, скажем, к библиотечке «Поэтическая Россия» или «Поэтической библиотечке школьника», где нынче издается Николай Рубцов, их даже близко не подпускают. Почему?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо отличать Поэзию от ее заменителей. Подлинное от поддельного.

Во все исторические периоды, по крайней мере от начала письменности, а не только в нынешние высокоэрудированные времена, сочинители делились на два разряда: на владельцев литературных способностей и на обладателей поэтического дарования, дара, как говорили прежде.

Овладеть умением слагать стихи — не такая уж трудная или безнадежная задача. Этому процессу сейчас способствуют миллионные тиражи поэтических изданий, радио, телевидение, где стихи читают и взрослые, и дети, и даже... вычислительные машины, которые попутно гораздо и сами нечто забавное сочинить. Теперь отличить подделку от правды в стихосложении могут только очень чуткие, я бы сказал, талантливые читатели, а также — Время. Да, лишь оно, бесстрастное Время, способно просеять, взвесить, подвергнуть духовному анализу все сотворенное людьми впопыхах, в движении их по жизни. И в итоге на полку Времени (а не библиотеки!) наконец-то ставится книжечка, или картина, или нотная тетрадь, а то и голос певца, вообще — нечто свое, уникальное, неповторимое, иногда внешне как бы продолжающее некий ряд, скажем, Кольцов — Никитин — Есенин. Или другой ряд, скажем, Тютчев — Фет — Блок... Продолжающее в развитии, а не в уподоблении рабском.

Знаю, что многие из критиков, а также собратьев моих по перу, рассуждая при случае о поэтической судьбе Николая Рубцова, сразу же причисляют его чуть ли не к апологетам Есенина. Наивная несправедливость. Преодолимая близорукость. Рубцов жил в свое время, Есенин — в свое. То, что ощутил, выстрадал, впитал своим дарованием один, не мог до него выстрадать, ощутить другой, каким бы провидцем последний ни оказался. Чувства — индивидуальны. Можно исповедовать одни и те же идеи, устремления мысли, но восторгаться или страдать, возгораться и гаснуть каждый обречен самостоятельно. И здесь нужно четко отделить одно понятие от другого: понятие школы и поэтической судьбы, нутряной сути поэта, что всегда целостна, всегда первозданна.

Тихая моя родина!
Ива, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои...

Эта музыка, интонация слов — выстрадана. Так писать мог только один человек, а именно — Николай Рубцов. Это его кровные слова, его естественное состояние души.

До конца,
До тихого креста
Пусть душа останется чиста!

Или:

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они —
Иных времен татары и монголы.

Так написать мог только истинный поэт, живший болью своей эпохи, патриот земли родной в самом высоком смысле этого слова, потому что мысль «храни» перерастает здесь рамки личного и даже — отчего. Сохраняя любовь и память к своему изначальному, к родимой деревеньке, городу, речке детства, мы тем самым сохраняем любовь к Отчизне и даже больше — ко всему живому на земле.

Поэзия Николая Рубцова помимо эмоционального несет в себе мощный нравственный заряд, иными словами — она, его поэзия, способна не только воспитывать в человеке чувства добрые, но и формировать более сложные духовные начала.

Поэзия Рубцова — не «тихая», не камерная, не подходит она и под определение «деревенской» поэзии. Она просто — поэзия. Поэзия Николая Рубцова. И спасибо ему от нас запоздалое за красоту и пронзительность этой поэзии, спасибо ему за любовь его земную, неопалимую.

* * *

...И вспомнилось мне:
Непогода
И теплый, сердечный прием
В одном общежитье завода,
Где мы выступали вдвоем.
Конечно, стеснялись вначале,
Но вскоре в азарт мы вошли:
Свои, чередуясь, читали,
А после к чужим перешли.

Товарищ мой, друг Евтушенко,
Поклонник его и вассал,
Все творчество знал в совершенстве
И сам под кумира писал.
Ах, как он, родимый, старался,
Ах, как он кумира читал!
То голос до бурь возвышался,
То тише листка трепетал.

И все же воздать ему нужно
За этот подвижника жар —
И хлопал в ладони —
Не дружно! —
Но все ж с уважением зал.

Когда ж предоставили слово
И мне о любимых стихах,
Я стал Николая Рубцова
Читать неторопко «В гостях».

«Трущобный двор. Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И желтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу».

И тишь такая наступила,
Что слышно было, как в стекло
Упорно муха колотила
Свое упругое крыло.

«...Поэт, как волк, напьется натошак,
И неподвижно, словно на портрете,
Все тяжелей сидит на табурете
И все молчит, не двигаясь никак...»

Зачем им, казалось, участие
В забытой, запитой судьбе,
Когда свое личное счастье
Укрылось неведомо где!
Какие-то тонкие струны
Затронуты были в сердцах;
Увидел я даже у юных
Нежданные слезы в глазах.

«...И думал я: «Какой же ты поэт,
Когда среди бессмысленного пира
Слышна все реже гаснущая лира,
И странный шум ей слышится в ответ?»...

Закончил читать.
И не странной
Казалась мне та тишина.
С раздумьем и личною тайной
Была соразмерна она.
Потом наподобие шквала
Обрушился шум голосов.
Читал я,
Читал я, и мало
Им было рубцовских стихов.
Конечно, Сибири природа
Не та, что за Вологдой,
Но
Выразить душу народа
Поэту, как видно, дано.
И знать зал хотел о поэте
Все то, что я знал,
Но Рубцов
У славы был лишь на примете,
Имея три книжки стихов.
И мало друг друга мы знали.
Я — лучше!
И, кроме того,
Печатал в столичном журнале
Недавние строфы его.

Достал я стихи из кармана,
И снова читал и читал,
И слушал опять со вниманьем
Подборку последнюю зал.

И грусть в этих строфах сквозила!
И вдруг я застыл не дыша!
Я понял: прощаясь, просила
Прощенья у близких душа.
И что-то под сердцем кольнуло,
И ринулось, острое, прочь...

Откуда мне ведомо было,
Что ночь,
Что на крыльях спешила,
Рубцова последняя ночь...

«МЫ БУКВЫ ИЗУЧИМ...»

В редакции журнала «Звезда», на Моховой, 20, в марте 1962 года состоялась встреча молодых ленинградских поэтов с коллективом работников журнала. Готовился номер со стихами молодых. Вечер открыл главный редактор «Звезды» Г. К. Холопов. В жюри сидели заведующий отделом поэзии А. Е. Решетов, заместитель редактора П. В. Жур и другие. Николай Рубцов выступил в конце этого вечера, когда поэты подустали читать свои стихи, а члены жюри — слушать. Николай тогда особого впечатления не произвел, он читал стихи несколько иронического плана. Мне запомнилось одно его стихотворение, в котором сам автор выделил интонационными паузами строку: «И покачал кудрявой головой», — и склонил свою лысеющую голову.

Затем мы встретились осенью того же года в Литературном институте. На первом курсе нас, ленинградцев, было двое, поэтому, естественно, и в общежитии мы поселились в одной комнате. Первокурсники жили по двое, и это было удобно для занятий и творчества.

Примерно через месяц после начала занятий Николай сказал мне: «Не буду изучать я этот немецкий язык. Не идет он у меня...» Оказалось, что Рубцов минувшим летом сдал экстерном экзамены за полный курс средней школы, но об иностранном языке имел довольно-таки смутное представление.

На другой день он пошел заниматься в группу, изучавшую французский язык. Преподаватель пришел в ужас: надо с новым слушателем начинать занятия буквально с азов! И колебался, оставить Рубцова в группе или отказать? И тут Николая выручила смекалка. Он с веселым, беспечным видом произнес экспромт, двухстишие, которое стало популярным у нас в институте:

Мы буквы изучим на первых порах,
А после помчимся на полных парах!

Преподаватель засмеялся, он был обезоружен.

Рубцов имел за плечами к тому времени двадцать шесть лет жизни, служил на флоте, работал кочегаром и шихтовщиком на Кировском заводе. Он не боялся никаких житейских хлопот: хорошо отглаживал свой выдавший виды костюм, стирал, штопал, варил обед. Любил и умел петь, подыгрывая себе то на гармошке, то на гитаре, что под рукой оказывалось. Помнится, осенним вечером мы гуляли возле Савеловского вокзала. На скамье сидел старик, держа на коленях трехрядку. Рубцов попросил гармонь, сел, заиграл и запел свою песню:

По дороге неслись
Сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался
Милицейский свисток!

Собрались любопытные. После слов «милицейский свисток» подошел милиционер, послушал, улыбнулся и отошел. А Николай долго еще играл и пел...

Он знал много страшных историй про ведьм и колдунов и часто рассказывал их по ночам. Рассказывал глуховатым голосом. Против окон нашей комнаты качались ночные фонари, тени ползали по потолку, и я представлял их ожившими силами зла — настолько впечатляющими были эти истории. Тогда я вскакивал как ошпаренный и быстро включал свет. А Рубцов в эти минуты хохотал...

Нередко в нашей комнате собирались поэты-сокурсники. Читали стихи, спорили до изнеможения. Николай, уронив в ладони лоб, мог часами молчать, не принимая участия в споре. Только иногда он поднимал на нас свои карие, пронизательные, какие-то пронзительные глаза и говорил: «Эх, вы! Что вы понимаете в поэзии!» И вновь замолкал надолго.

Рубцов был впечатлительным, даже порою мнительным человеком. Однажды он принес пачку копирки. Пи-

шущей машинки у нас не имелось, поэтому и копирка-то была ненужной. Вечером за окном тихо падал снег. Николай взял ножницы, сделал из копирки несколько самолетиков, открыл окно и сказал мне: «Каждый самолет — судьба. Давай испытаем судьбу! Вот этот самолет — судьба Паши Мелехина». Мелехин, поэт, учился с нами на одном курсе. Рубцов сильным взмахом руки пустил самолет на улицу, — черный, он отлично был виден нам в белом, несильном снегопаде. Самолет приземлился на снегу возле деревьев ближней аллеи. «А это — судьба Глеба Горбовского». Бросок — и мы вновь, уже с явным интересом, наблюдаем за полетом самолетика. Он полетел далеко, только куда-то вбок, вкось. «А это — моя судьба», — сказал Николай и опять сильно послал черный самолет в снегопад. В это время налетел небольшой порыв ветра, самолет резко взмыл вверх, затем круто накренился и стремглав полетел вниз. Николай подавленно молчал. Больше самолетиков он не пускал и почти неделю был не в духе...

...Потом, в силу разных причин, часть студентов нашего курса перешла на заочное отделение. Стали заочниками и мы с Николаем Рубцовым, виделись реже. Я радовался его стремительному взлету, его книгам, и вдруг из Вологды — эта жуткая весть...

НА ПЕРВОМ КУРСЕ

В первые дни учебы мы часто собирались в одной из комнат общежития и нередко всю ночь напролет читали по кругу свои стихи. Мнения при этом, как правило, не высказывались, за грудки друг друга никто не брал, рубашек не рвали — все это будет позже. А пока поэты только знакомились, соразмеряли свой бесспорный талант с другими сомнительными талантами, вынырнувшими неизвестно откуда, пытались определить свое место в поэтической иерархии будущего курса, семинара.

...Вошли Рубцов и Макаров, чтение было прервано. Рубцов прошел к кровати, где уже сидели человек пять, ребята подвинулись. Он не то чтобы сел, а как-то упал боком на кровать, провалив и без того нагруженную сетку и сам провалившись между рослыми ребятами. Сергей остался у дверей.

Стали читать дальше. Рубцов слушал, крутил головой, хмурился, иногда усмехался, но не открыто, а только намеком, даже не в половину, а в четверть жеста (это вообще было характерно для него — не доводить ни одного мимического жеста до конца). Стихи ему явно не нравились. Дошла очередь до Сергея Макарова. Он прочитал стихотворение «Павел Васильев». Рубцов был доволен, в полужестах его сквозило — знай наших. Кто-то завел нудную поэму. Рубцов поскущел, опустил

голову на руки. Кончилась поэма, и в полной тишине прозвучал голос Рубцова: «Бездарно все».

Возник ропот. Кто-то крикнул:

— Ты не выступай, а прочти стихи. Тогда посмотрим.

Рубцов встал:

— Не буду читать, не хочу. Пойдем, Сережа.

И они ушли.

Осенью наш курс работал в колхозе под Загорском. Стояли дождливые, слякотные дни, и даже настырный, радеющий за дело колхозный бригадир, бывший фронтовик с дыркой в горле, которую он затыкал пальцем, когда говорил, был склонен считать, что работать в поле нельзя.

Мы целыми днями валялись на соломенных тюфяках и придумывали себе занятия. Высшим смыслом всех занятий было «узнавание» друг друга. Пожалуй, самым незаметным среди всех был Николай Рубцов.

В тот день, как и в предыдущие, поэты читали свои стихи. Рубцов подошел к нашей группе, лег, облокотясь, на тюфяк, послушал немного, а потом очень искренне сказал:

— Разве это стихи?

— Читай свои, — предложил кто-то.

Он сел и монотонным голосом стал читать «Фиалки». Но с каждой новой строкой голос становился звонче, выразительнее, пока не превратился в то, что называют «криком души».

Впечатление было очень сильным. В то время кумирами читающей публики были Евтушенко, Вознесенский... В Рубцове сразу почувствовалось нечто совсем другое. Парадоксально, но «необычная» поэзия «под Евтушенко» звучала уже слишком обычно, а «обычная» поэзия Рубцова прозвучала необычно.

Рубцову ничего не было сказано, но стихов больше не читали.

Позже на курсе выделились три явных лидера — Николай Рубцов, Александр Черевченко, Павел Мелехин. Прозаики сразу и безоговорочно признали первым Николая Рубцова, поэты либо вовсе не признавали его, либо признавали с большими оговорками и отводили ему очень скромное место. Самыми же преданными его почитателями были люди нелитературных кругов. Все они, кому я читал стихи Рубцова, просили переписать

их и познакомить с поэтом. Напоминаю, что это был 1962 год.

Какое-то время мы жили с ним в одной комнате. Стол его всегда был завален стихами, старыми и новыми, рукописными и отпечатанными на машинке. И я никак не мог понять, когда же он их пишет. Во всяком случае, ни разу не видел его «сочиняющим» стихи. Днем у него явно не было для этого времени, вечерами мы шли к кому-нибудь в гости или к нам кто-нибудь приходил. Ложились всегда поздно, и утром я видел его обычно еще спящим.

Но однажды я проснулся очень рано, в пятом часу, и вышел в коридор. Рубцов, в пальто с поднятым воротником, совершенно ушедший в себя, мерил шагами коридор. Он не сразу заметил меня, а увидев, остановил:

— Вот, послушай строчки.

И прочитал почти законченное стихотворение, которое позже стало называться «Плыть, плыть...»

Над стихами он работал всегда и везде, но лучшие его часы — это глубокая ночь и самое раннее утро. Потом он снова ложился спать. Не помню, у кого написано о Есенине, что тот в самом тяжелом состоянии мог заснуть за столом на пятнадцать-двадцать минут и проснуться совершенно трезвым. Точно так же мог и Рубцов. Он был готов в любую минуту встать и начать работу.

О Рубцове порою говорят и даже пишут как о человеке характера тяжелого, вздорного, неуравновешенного, чуть ли не злого. Ссылаются при этом на различные эксцессы. Да, эксцессы были. Вспомню некоторые из них. К его близкому другу, поэту А. П., пришла девушка. Самого А. П. не было, его ждали с минуты на минуту, а пока мы, несколько человек, вполне безобидно коротали время. Один из малознакомых нам гостей вдруг начал говорить двусмысленности, а затем сделал нечто вроде попытки облапить девушку. Николай молча встал и двинул парня так, что тот рухнул на кровать, сломав пополам гитару.

Другой случай. Мой друг А. Ч. привел своего товарища специально «на Рубцова». Тогда хождения «на Рубцова» стали какой-то модой, поветрием, и Рубцов это тонко почувствовал. Именно в этот период он часто и, казалось, без всякого повода категорически отказывал-

ся читать свои стихи. Так было и на этот раз. Но товарищу, видимо, было жалко уходить, не послушав Рубцова, и он настойчиво просил его почитать. Рубцов неожиданно для всех закатил ему пощечину. Все были шокированы, потому что ни малейшего основания для этого не видели. Позже я спросил Рубцова, зачем он это сделал.

— А пусть не ходят смотреть на меня, как в зверинец, — ответил он.

В компаниях он мог быть самым разным. То центром всеобщего внимания, то глубоким и тонким собеседником, то безудержным весельчаком, то молчаливым наблюдателем, то совершенно незаметным «неучастником».

Он был всяким, но никогда не был ни вздорным, ни злым.

Однажды, получив в Литфонде пособие, пошли мы с ним по Хорошевке к Ленинградскому проспекту. На другой стороне проспекта увидели необычайное строение: некая смесь готики и чего-то такого, чему и названия нет, но явно русское. Заинтересовались, перешли улицу. Во дворе на веревках сушилось белье, через полуоткрытые двери дома можно было видеть мешки с цементом или известкой. У белья оказалась женщина. Спросили про дом.

— Так это же дом Соколова, — охотно ответила она.

— Какого Соколова?

— Первого хозяина «Яра». Знаете песню «Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит...»

— А кто строил и почему так странно?

— Соколов пригласил архитектора-немца. Тот построил дом на свой немецкий лад, но Соколову дом не понравился, и он по собственному проекту перестроил его. Теперь здесь склад строительных материалов.

— А где сам яр?

Женщина показала на асфальтированный переулок:

— Вот здесь и был яр, его засыпали и провели дорожку.

— Жаль, если его снесут, — сказал, когда мы отошли, Рубцов. — Страница истории...

По дороге я вспомнил, что завтра день рождения девушки, которую я любил. Она училась в другом городе, и мы были в давней ссоре. Рубцов заинтересовался, выслушал весь мой рассказ и потащил меня на почту.

— Давай телеграмму.

— Но это совершенно бесполезно. Мы не виделись два года, не переписывались. Просто глупо...

— Давай, давай.

Сам взял бланк, сунул мне ручку. Я послал телеграмму...

О поэзии и поэтах, как ни странно, говорить он не любил. К поэзии своих друзей — Анатолия Передреева, Станислава Куняева, Владимира Соколова, Глеба Горбовского — был снисходительным, ценя больше дружбу самих людей, чем их творчество. А вот другим не прощал ни малейшей слабости.

Философствовать, в отличие от всех нас, он не любил, но если уж «заводился», то спорил страстно, готовый дойти хоть до кулачной драки. На жизнь стремился смотреть просто — «Звезды на небе — ночь! Солнце на небе — день!», — но сам мучился и страдал от сложностей жизни.

Преподавателю по стилистике он показал стихотворение «Осенняя песня» («Потонула во тьме отдаленная пристань. По канаве помчался — эх — осенний поток...»). Стилист стихотворение похвалил, но решительно возразил против «эх». Рубцов стал с ним спорить, но переубедить не смог.

— Как он не понимает, как не понимает, что в этом «эх» — все: и движение, и настроение. К черту стилистику, если она мешает мне выразить то, что я хочу, — сказал он сердито.

Из невообразимого хаоса бумаг на своем столе Рубцов каким-то образом выуживал необходимые ему стихи, складывал в тоненькие стопочки и разносил по редакциям журналов. Возвратясь, смеялся:

— Загадка. Берут, но всегда самые слабые. Ну почему не взять вот эти или эти — в них все-таки что-то есть.

Однажды, но это было уже не на первом курсе, он собрал книгу стихов и отнес в издательство.

— Понимаешь, — рассказывал он мне, опять же смеясь, — редактор читает мои стихи семье, друзьям, знакомым, переписывает их для себя, а издавать не хочет.

Увы, такое время было... Но я не помню, чтобы кто-нибудь смеялся так хорошо, так увлеченно, как Рубцов. Каким-то мелким, заливистым смехом. В глазах его часто мелькала хитринка — быстрая, почти неуловимая.

...Все разъехались на каникулы, и только мы с Рубцовым оставались в общежитии. Мне ехать было некуда, а его что-то задерживало. Но вот собрался и он в свою Николу. Я зашел к нему в комнату. На полу лежал раскрытый чемодан. Сам он сидел на корточках и запускать желтого цыпленка, который как-то боком прыгал на металлических лапках и старательно клевал пол. Рубцов заливно смеялся, хлопал руками по полу, как бы отгоняя цыпленка, а меня даже не заметил. Я постоял, потом, увидев в чемодане поверх белья странную книжицу, взял ее в руки и тихо вышел. Книжица оказалась отпечатанной на машинке и называлась «Волны и скалы. Тридцать восемь стихотворений». Я прочитал ее всю и, каюсь, мне захотелось ее присвоить. Я присоединил книжицу к папке с его стихами и двум тетрадям, которые уже хранились у меня. Но потом мне стало совестно (все-таки книжка вроде — не рукопись, да и как бы я стал смотреть ему в глаза), и я снова пошел к нему. К моему удивлению, он все еще запускать цыпленка, забыв обо всем на свете. Я окликнул его.

— Вот посмотри. Хорош, правда? Дочке везу, — и он опять пустил цыпленка прыгать по полу.

Я попросил у него книжку.

— Извини, не могу. Это единственный экземпляр. Всего их было шесть.

И он рассказал мне историю появления этой книжки.

Мы стали прощаться, и он попросил меня обменяться шарфами. Я принес ему шарф в черно-белую клетку, получив взамен его темно-бордовый.

В КРУГУ МОСКОВСКИХ ПОЭТОВ

В моей памяти Николай Рубцов неразрывно связан со своего рода поэтическим кружком, в который он вошел в 1962 году, вскоре после приезда в Москву, в Литературный институт. К кружку этому так или иначе принадлежали Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Владимир Соколов и ряд более молодых поэтов — Эдуард Балашов, Борис Примеров, Александр Черевченко, Игорь Шкляревский и другие.

Нельзя не подчеркнуть, что речь идет именно о кружке, а не о том, что называют литературной школой, течением и т. п. Правда, позднее, к концу шестидесятых годов, на основе именно этого кружка действительно сложилось уже собственно литературное явление, которое получило в критике название или, вернее, прозвание — «тихая лирика». Более того, течение это, вместе с глубоко родственной ему и тесно связанной с ним школой прозаиков, прозванных тогдашней критикой «деревенщиками», определило целый этап в развитии отечественной литературы.

Но все это выявилось лишь несколькими годами позднее. В те же годы, когда Николай Рубцов непосредственно жил в Москве, близкие ему поэты, в сущности, не играли сколько-нибудь значительной роли в литературной жизни как таковой. Их вдохновляла и объеди-

няла твердая вера в истинность избранного ими творческого пути, и они в той или иной мере удовлетворялись признанием «внутри» своего кружка.

Я вовсе не хочу сказать, что эти поэты — и в их числе Николай Рубцов — были вообще равнодушны к широкому успеху, известности, славе. Почти все они были молоды — молоды в прямом смысле слова (это нужно оговорить, ибо ныне сплошь и рядом называют молодыми стихотворцев, чей возраст недалек от сорокалетия) — и не могли не пленяться ореолом славы. Но они сумели утвердить в себе убеждение, что в судьбе поэта есть ценности, которые выше и важнее славы.

Владимир Соколов писал тогда в стихотворении, обращенном к Анатолию Передрееву, о том, что ему «пришкольной не надобно славы», что он хочет просто жить, «зная дело, сжимая перо», а Передреев отвечал ему:

Да шумят тебе листья и травы,
Да хранят тебя Пушкин и Блок,
И не надо другой тебе славы,
Ты и с этой не столь одинок.

Этот стихотворный диалог несколькими годами позднее получил широкую известность и даже стал предметом острых дискуссий...

Не исключено, что читатель может усомниться — надо ли говорить о судьбе других поэтов в воспоминаниях о Николае Рубцове? Но я убежден, что это необходимо. Большой поэт обычно окончательно формируется в определенной творческой среде, окружении, школе. К тому же все, что говорится здесь о других поэтах, имеет самое прямое отношение к судьбе Николая Рубцова.

К моменту приезда в Москву он уже вкусил толику если и не славы, то во всяком случае шумного успеха. Об этом свидетельствуют литераторы, знавшие поэта по его «питерским» годам (1959 — начало 1962), в частности, Борис Тайгин, который вспоминает о выступлении Николая Рубцова в зале Ленинградского Дома писателей в январе 1962 года (см. с. 89 наст. сб. — *Сост.*).

Но поэты, в круг которых Николай Рубцов вошел в Москве, ставили перед собой совсем иные цели. Они отнюдь не жаждали, чтобы их стихи вызывали ту реакцию, которая выражается в вопле «Во дает!». Им это было не только чуждо, но и отвратительно.

Помню, как еще в самом начале 1961 года один из поэтов этого круга выступал перед студентами вместе с

одним из будущих главных героев «эстрады» (в то время его «карьера» только начиналась), который обрушил на слушателей набор эффектных метафор и словечек, усиливая их воздействие истерической интонацией и полублатным выговором. Из зала в ответ неслось именно нечто вроде «Во дает!», а на лице одного из будущих друзей Николая Рубцова невольное нарастало выражение глубокого отвращения.

Но дело было, конечно, вовсе не в самом отталкивании от «эстрады»; оно определялось основательной позитивной программой.

Поэтический кружок, в который в 1962 году вошел Николай Рубцов, имел, несомненно, первостепенное значение в его творческой судьбе. Речь идет, разумеется, отнюдь не о том, что именно это «сделало» Рубцова поэтом. Поэзия рождается из всей целостности жизни ее творца; поэтическую энергию невозможно у кого-либо занять и превратить в свою — она может быть только изначально и органически своею.

Но поэтический кружок, о котором идет речь, дал возможность Николаю Рубцову быстро и решительно выбрать свой истинный путь в поэзии и прочно утвердиться на этом пути.

За первый же год жизни Николая Рубцова в Москве в его творчестве совершился вполне очевидный перелом. Его прежние стихи были основаны на двух сложно переплетающихся эстетических стихиях — своеобразной иронии и заостренном драматизме, чаще даже мелодраматизме. Я отнюдь не хочу сказать, что ранняя поэзия Рубцова лишена значительности. Но он стал подлинно народным поэтом лишь тогда, когда ирония и мелодраматизм отошли на второй план, а вперед выдвинулось нечто иное, гораздо более серьезное, уравновешенное и ответственное.

Конечно же, все это жило в самом Рубцове, но именно в кругу поэтов, о которых идет речь, он смог осознать эту нравственно-эстетическую стихию как главную и наиболее ценную в себе и превратить ее в основу своего творчества.

Ясно помню, как с самого начала из стихов Николая Рубцова, написанных до приезда в Москву, его собратья по кружку решительно выделили те — кстати сказать, очень немногочисленные — стихотворения, которые, как стало ясно позднее, предвещали дальнейшее зрелое

творчество поэта. Это были прежде всего «Добрый Филля» (ирония в этих стихах не поглощает целого; ныне, на фоне зрелого творчества Рубцова, она даже не очень и заметна), «Осенняя песня» («Потонула во тьме...») с ее гораздо более глубоким, чем во многих других ранних стихах, драматизмом и «Видения на холме» («Взбегу на холм и упаду в траву...»), — между прочим, значительно переработанные уже в Москве (первая редакция этого стихотворения представлена в рукописном сборнике Николая Рубцова «Волны и скалы», хранящемся у Бориса Тайгина).

Поистине восторженно были встречены в кружке такие новые стихи Рубцова, как «В горнице», «Прощальная песня» («Я уеду из этой деревни...»), «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...».

Эти стихотворения звучали почти на каждой встрече Николая Рубцова с друзьями — первые два он покоряюще напевал под гармонь или под гитару, третье с замечательной выразительностью декламировал (хотя это слово отдает ложной многозначительностью, трудно сказать по-другому — «читал» или «произносил» здесь не подойдет), подкрепляя мелодику голоса напряженным движением рук.

Но в глазах друзей Николай Рубцов был не только создателем прекрасных стихотворений. Довольно скоро он стал для них как бы живым воплощением первородной стихии поэзии. Станислав Куняев точно выразил это в следующих строфах, написанных в 1964 году (когда Николай Рубцов уехал летом на Вологодчину) и опубликованных в его книге «Метель заходит в город» (1966):

Если жизнь начать сначала —
В тот же день уеду я
С Ярославского вокзала
В вологодские края.
Перееду через реку,
Через тысячу ручьев
Прямо в гости к человеку
По фамилии Рубцов...
Я скажу: мол, нет покою —
Разве что с тобой одним,
И скажу: давай с тобой
Помолчим, поговорим...

Важно при этом иметь в виду, что для поэтического кружка, о котором идет речь, отнюдь не была характерна та атмосфера взаимных восхвалений, какая нередко

царит в подобных кружках. Хорошо помню, например, как резко говорил Анатолий Передреев об одном несколько затянутом стихотворении Николая Рубцова, обвиняя автора чуть ли не в графоманском многословии. И, надо думать, именно потому Николай Рубцов в дальнейшем не писал таких стихотворений.

Очень трудно или, пожалуй, даже невозможно наглядно показать творческую жизнь поэтического кружка, ибо она складывается из мелких и незначительных по видимости подробностей. Но тот или иной диалог, отдельное слово, даже просто **молчание** были подчас необычайно весомыми.

Главное заключалось в единой творческой позиции участников кружка — твердой, бескомпромиссной и в то же время лишенной какого-либо догматизма и сектантства. Ими всецело владела идея русской Поэзии, притом вовсе не в эстетически замкнутом, книжном смысле, но поэзии, воплощающей жизнь человека и народа во всей ее глубинной сути.

Творения Пушкина и Тютчева, Лермонтова и Некрасова, Фета и Полонского, Блока и Есенина были для Николая Рубцова и его братьев не «литературными фактами», но именно глубочайшими воплощениями духовной жизни русского народа и русского человека, — а значит, прообразами их собственной духовной жизни. Они никак не отделяли поэзию от жизни в ее сущностной основе — и потому были свободны от какой-либо литературщины.

С другой стороны, именно это глубокое проникновение в классическую поэзию и подлинное овладение ею, освое-ние ее (то есть превращение ее в действительно свое достояние) и делало Николая Рубцова и его братьев настоящими людьми культуры, а не поверхностными ее потребителями, способными лишь щеголять «информированностью».

Все, кто знал Николая Рубцова, помнят, что он постоянно пел на свои собственные бесхитростные мелодии стихи Тютчева, Лермонтова, Блока — нередко, между прочим, отнюдь не такие уж «песенные» стихи (скажем, «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» Тютчева). Это пение, я полагаю, было для него способом полного, предельно родственного освоения классической поэзии, дело которой он стремился и действительно смог продолжить.

Николай, пожалуй, раскрывался наиболее полно и сильно именно в исполнении стихов — безразлично, своих или не своих, но все-таки ставших своими — на какой-либо напев или без напева, в удивительном по живости и тонкости манеры чтении. Конечно, я говорю не вообще о любом случае, когда Николаю Рубцову приходилось читать стихи, но о тех моментах, когда он хотел и мог раскрыться до конца.

Тогда он вкладывал в стихи буквально всего себя, так что подчас становилось страшно за него — казалось, что он может умереть на пределе этого исполнения (так ведь бывало, например, с большими певцами) или, по крайней мере, навсегда надорвать что-то главное в себе.

Нельзя не оценить ту самоотверженность, с которой Николай Рубцов — вместе со своими братьями — отказался от уже дававшегося ему в руки литературного успеха. Его ранние иронически-драматические стихи, на которых лежала более или менее явная печать «эстрадной поэзии», вполне могли рассчитывать на широкое признание.

Так, журнал «Юность» напечатал довольно большую подборку ранних, написанных еще в Ленинграде стихов Рубцова: «Я весь в мазуте, весь в тавоте...», «Я забыл, как лошадь запрягают...», «Загородил мою дорогу» и другие. Московские же стихи поэта были редакцией отвергнуты, и Николай остался совершенно неудовлетворенным этой публикацией в популярнейшем журнале...

Да, те собственно «рубцовские» стихи, которые поэт стал создавать в Москве, не сразу смогли пробиться в печать. Для той поры они были слишком «традиционными», слишком далеки от «современности» и по смыслу и по стилю. В той же «Юности» зрелые стихи Рубцова были впервые опубликованы лишь в 1968 году, когда поэт был уже автором двух книг.

Ныне, повторю еще раз, даже нелегко представить себе литературную «ситуацию», в которой сложилось зрелое творчество Николая Рубцова. «Эстрадная поэзия» как бы заглушала все. Многие молодые стихотворцы, подключаясь к ней, сразу приобретали шумную известность. Можно бы назвать десятка два имен, прямо-таки гремевших в первой половине шестидесятых годов. Ныне большинство из них уже мало кто помнит.

Но братья Николая Рубцова твердо, не без своего рода отваги шли «против течения». Когда в 1961 го-

ду вышла книга Владимира Соколова «На солнечной стороне», содержавшая такие позднее ставшие хрестоматийными стихи, как «Спасибо, музыка, за то...», «Паровик. Гудок его глухой...», «Муравей», «Все как в добром старинном романе...» и другие, она была встречена упреками в «отрыве от современности», «мелкотемье», даже «душевной опустошенности» и т. п. Несколько последующих лет стихи Владимира Соколова почти совсем не публиковались. Но поэт остался верен себе.

Нельзя не сказать здесь и о литературной судьбе Станислава Куняева. В самом начале своего пути он был увлечен атмосферой «эстрадной поэзии». Характернейший пример — его ранние стихи, опубликованные в «Дне поэзии» 1960 года:

Добро должно быть с кулаками *,
добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
от тех, кто лезет на добро...

Эти эффектные стихи сразу же получили большую известность, и их автор начал входить в ударную «обойму» имен. Но вскоре Станислав Куняев в самом деле как бы «начал жизнь сначала» и даже написал своего рода автокритику:

Постой. Неужто? Правда ли должно?
Возмездье, справедливость — это верно,
пожалуйста, но только не добро,
которое бесцельно и безмерно...
Неграмотные формулы свои **
я помню. И тем горше сожаленье,
что не одни лишь термины ввели
меня тогда в такое заблужденье.

Таким образом, поэт сам отказался от стихотворения, принесшего ему шумный успех, и стал писать совсем другие стихи, которые в то время не могли снизить литературного признания.

Все эти факты, надо думать, хорошо раскрывают облик того поэтического кружка, в котором сформирова-

* Между прочим, эту «формулу» предложил или, вернее, «подарил» в беседе с несколькими молодыми поэтами Михаил Светлов. Почти все эти поэты написали стихи со строкой «Добро должно быть с кулаками» (см., например, стихи Евг. Евтушенко в «Дне поэзии» 1962 года), но стихотворение Станислава Куняева было наиболее ярким.

** Примечательно, что поэт никак не снимает с себя ответственность, хотя «формула», по сути дела, не была «своей».

лось зрелое творчество Николая Рубцова. И он очень высоко ценил своих собратьев по кружку и более всего дорожил их мнениями и оценками. Именно так он избрал свой истинный путь в поэзии и — что также было исключительно важно — постоянно получал от друзей подтверждения своей правоты.

Но, конечно, Николай Рубцов не мог не стремиться к обнародованию своих зрелых стихов — уже хотя бы потому, что они получили столь безусловное признание в кругу его друзей. А добиться этого, как явствует из сказанного, было не так уж просто.

Я начал с того, что поэтический кружок, о котором идет речь, в первые годы своего существования представлял собой именно кружок, а не литературное явление в полном смысле этого слова. Он не имел авторитета в каком-либо журнале, альманахе, издательстве, у него не было даже хотя бы «своего» литературного критика...

Автор этих воспоминаний с самого начала был тесно связан с поэтами, составившими кружок. Но в те годы я занимался почти исключительно теоретическими проблемами литературы и не играл, в сущности, никакой роли в самой современной литературной жизни. Я был целиком поглощен работой над коллективным трехтомным трудом «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении», вышедшим за 1962—1965 годы, и моей книгой «Происхождение романа» (1963), а также нелегким делом издания ценнейших трудов М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (1963) и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965). Современная поэзия была для меня еще только чисто душевной, а не профессиональной заботой. Лишь во второй половине шестидесятых годов я стал всерьез писать о литературной современности.

Между тем к осени 1963 года сложилась довольно драматическая ситуация. Поэты кружка уже могли «предъявить миру» целый ряд превосходных — ныне, кстати сказать, всем известных — стихотворений, однако даже лучшие их стихи жили, по сути дела, только «внутри» кружка. Я был убежден не только в том, что стихи эти представляют собой наиболее значительные явления современной молодой поэзии, но что выразившимся в них творческим устремлениям, безусловно,

принадлежит будущее. И при всей своей погруженности в литературу прошлых эпох я так или иначе сознавал, что без внятного для всех современного продолжения подлинного творчества в какой-то мере теряет смысл и великая поэтическая культура прошлого...

Сейчас уже, вероятно, покажется несколько странным рассказ о том, как Николай Рубцов «вошел в литературу».

На одной из встреч зашел разговор о затруднениях с печатанием стихов — прежде всего о вполне готовой к изданию, но, как говорится, лежащей без движения первой книге Анатолия Передреева. Чуть ли не впервые услышал я тогда из уст друзей горькие слова о трудности пути в литературу и стал искать какой-либо выход.

Перебрав в памяти людей, которые могли бы помочь делу, я остановился на имени Дмитрия Старикова, за десяток лет до того закончившего вместе со мной Московский университет, а в описываемое время бывшего одним из наиболее активных и влиятельных критиков. К тому же и жил он по соседству — и я немедленно отправился к нему, вооруженный стихами и гитарой.

По-студенчески резко я сказал ему, что вот, мол, он столь активно пишет о современной литературе и прежде всего о поэзии, но даже не имеет представления о творчестве наиболее значительных и наиболее обещающих молодых поэтов. Затем, не дожидаясь возражений, я стал читать Дмитрию и его жене, также литератору, неведомые им стихи, а кое-что и напел под гитару. И этого оказалось достаточно. Помню даже женские слезы восторга... Дмитрий Стариков горячо интересовался творчеством Анатолия Передреева и его друзей.

Мне уже пришлось в двух словах упомянуть о роли Дмитрия Старикова в литературной судьбе Николая Рубцова на страницах моей книжки о творчестве поэта, вышедшей в 1976 году. Но эти воспоминания я пишу, увы, всего через несколько дней после того, как провожал Дмитрия Старикова (1931—1979) в последний путь. И теперь просто нельзя не сказать о том, сколько много сделал этот критик для Николая Рубцова и поэтов его круга.

В декабрьском номере «Молодой гвардии» за 1963 год Дмитрий Стариков писал об Анатолии Передрееве,

но слова его в той или иной мере характеризовали и других поэтов кружка: «Он нетороплив и прост той подлинной простотой жизни, какая в тысячи раз сложнее изощреннейших школярских вывертов с претензией на эпатаж и архисовременность. Проблемы, которые его волнуют и заставляют задумываться, не «сочиненные» и не признанные на стороне,— их рождает сама жизнь...»

Вскоре после нашего разговора Дмитрий Стариков был назначен заместителем главного редактора журнала «Октябрь». И за недолгие годы его работы на этом посту журнал щедро публиковал лучшие стихи Николая Рубцова, Владимира Соколова, Станислава Куняева и других.

Именно здесь были обнародованы в 1964—1965 годах такие ключевые стихотворения Николая Рубцова, как «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Тихая моя родина...», «Звезда полей», «Русский огонек», «Взбегу на холм и упаду в траву...», «Памяти матери», «Мне лошадь встретила в кустах...», «Добрый Филя» и другие. На основе публикаций в «Октябре» Николай Рубцов смог издать в Архангельске свою первую книжечку «Лирика», и вообще именно эти публикации по-настоящему ввели его в литературу*.

Важно отметить, что отношение Дмитрия Старикова к творчеству Николая Рубцова и его друзей разделяли в редакции «Октября» далеко не все. И, в частности, именно поэтому Дмитрий Стариков всего через несколько лет вынужден был уйти из журнала. Но к тому времени цель была уже достигнута. И негоже было бы забыть о большой заслуге этого критика перед отечественной поэзией.

Кто знает, как сложилась бы судьба Николая Рубцова, если бы его лучшие стихи не были так сравнительно быстро введены в литературу. Напомню, что в том самом 1964 году Николай Рубцов был исключен из Литературного института и должен был покинуть Москву и поселиться в своем затерянном среди лесов и болот Никольском. Конечно, невозможно представить себе, чтобы он отказался от поэзии. И все же — создал ли бы он всё то, что мы теперь все знаем?..

* Кстати сказать, несколько ранее именно на страницах «Октября» вошел в литературу Василий Шукшин.

Но Николай Рубцов уезжал из Москвы, уже обретая и истинный творческий путь, и прочный путь к литературному признанию.

В самом конце 1964 года Николай Рубцов приехал в Москву хлопотать о восстановлении его в Литературном институте (15 января 1965 года он был восстановлен, но, увы, только на заочном отделении). Однако все эти неурядицы были уже чем-то не таким уж существенным — они походили на то, что произошло у нас со встречей Нового 1965 года.

Было решено встречать этот год в доме моих родителей, где Николай Рубцов еще не бывал. И случилось так, что я запоздал и Николай явился раньше меня. Был он одет — как бы это сказать — по-дорожному, что ли, и на моего отца, который встречал гостей, произвел какое-то очень неблагоприятное впечатление. Отец мой вообще был человеком совершенно иного, чем мои друзья, склада...

Я приехал чуть ли не без четверти двенадцать и застал Николая на улице у подъезда. Помню, меня страшно возмутило нарушение обычая, который я всегда считал священным: за новогодний стол необходимо посадить всякого, любого гостя. Я вбежал в квартиру, чтобы поздравить с Новым годом мать, и вернулся на улицу.

Что было делать? У нас имелось с собой вино и какая-то снедь; но все же встреча Нового года на улице представлялась крайне неуютной. Оставалось минут десять до полуночи. Широкая Новослободская была совсем пуста — ни людей, ни машин.

И вдруг мы увидели одинокую машину, идущую в сторону Савеловского вокзала, за которым не так уж далеко находится общежитие Литературного института. Мы бросились наперерез ей. Полный непобедимого молодого обаяния, Анатолий Передреев сумел уговорить водителя, и тот на предельной скорости домчал нас до «общаги». Мы сели за стол в момент, когда радио уже включило Красную площадь. Почти не помню подробностей этой новогодней ночи, разве только всегда восторженную улыбку замечательного абхазского поэта Мушни Ласуриа, улыбку, с которой он угощал нас знаменитой мамалыгой. Но эта ночь была — тут память несколько мне не изменяет — одной из самых радостных новогодних ночей для всех нас. Нами владело какое-то

ощущение неизбежного нашего торжества — невзирая на самые неблагоприятные и горестные обстоятельства. Под утро мы с Анатолием Передреевым даже спустились к общежитскому автомату и позвонили моему отцу, чтобы как-то «отомстить» ему этим нашим торжеством. У него уже было совсем иное настроение, он извинялся, упрашивал, чтобы все мы немедленно приехали к нему и т. д.

— Ты даже представить себе не можешь, кого ты не пустил на свой порог, — отвечал я. — Все равно что Есенина не пустил....

И это тогда, 1 января 1965 года, уже было полной правдой.

ПАМЯТИ ПОЭТА

Мы
были с ним знакомы,
как друзья.
Не раз
в обнимку шли и спотыкались.
Его дорога
и моя стезя
в земной судьбе
не раз пересекались.
Он выглядел
как захудалый сын
своих отцов...
Как самый младший,
третий...
Но все-таки звучал высокий смысл
в наборе слов его
и междометий.

Он был поэт,
как критики твердят,
его стихи лучатся добрым светом,
но тот,
кто проникал в тяжелый взгляд,
тот мог по праву
усомниться в этом.

В его прищуре
открывалась мне
печаль по бесконечному раздолью,
по безнадежно брошенной земле,

ну, словом, все,
что можно звать любовью.

А женщины?
Да ни одна из них
не поняла его души, пожалуй,
и не дышал его угрюмый стих
надеждою на них
хоть самой малой.

Наверно, потому,
что женский склад
в делах уюта
и в делах устройства
внезапно упирался в этот взгляд,
ни разу не терявший беспокойства.

Лишь иногда
в своих родных местах
он обретал подобие покоя
и вспоминал
о прожитых годах,
как ангел,
никого не беспокоя.

Он точно знал,
что счастье — это дым
и что не породнишь его со Словом,
вот почему он умер молодым
и крепко спит
в своем краю суровом,
на вологодском кладбище своем
в кругу теней
любимых и печальных...

А мы еще ликуем и живем
в предчувствии потерь
уже недалких.
А мы живем,
и каждого из нас
терзает все,
что и его терзало,
и потому,
пока не пробил час,
покамест время нас не обтесало,
давай пойдем,
что наша жизнь — завет,
что только смерть развяжет эти узы —
ну, словом, все,
что понимал поэт
и кровный сын жестокой русской музы.

ЕГО БЕСПОКОЙНАЯ ПРИСТАНЬ

В 1965 году был объявлен прием на открывшееся вновь очное отделение Литературного института имени А. М. Горького. Мне посчастливилось поступить. Среди первокурсников был вологжанин Сергей Чухин. Мы с ним попали в один семинар — к С. В. Смирнову. От Чухина я и услышал о Николае Рубцове. Сергей произносил это имя с благоговением. Он нередко на шумных общежитских сборищах читал стихи Рубцова и победоносно смотрел на собравшихся: вот, мол, мы какие — вологжане...

С уважением и даже, пожалуй, с нежностью говорили о Рубцове в среде старшекурсников. Правда, были и такие, кто отзывался о нем раздражительно и даже со злостью, которую мне тогда трудно было понять. Самого Рубцова в то время в Москве не было.

Все чаще мы в общежитии собирались компаниями, знакомились со старшекурсниками, спорили, читали стихи. Зашли как-то с Василием Нечунаевым — поэтом из Барнаула — «на огонек» в одну из комнат. Там ребята, наши и со старших курсов. Один из них, незнакомый, пел, аккомпанируя себе на гитаре:

На меня надвигалась
Темнота закоулков,
И архангельский дождик
На меня моросил...

Он не обратил на вошедших никакого внимания. Кто-то из ребят поднял руку: стойте, дескать, не мешайте. Мы стояли и слушали. Волновала эта песня. Пелась она удивительно по-русски и в то же время как-то по-старому интеллигентно. Когда пение окончилось, все молчали. Потом зашевелились, заговорили, стали нас знакомить. Тот, что пел, отложил гитару, протянул руку и сказал: «Рубцов». Лысеющая голова, высокий лоб, маленькие, с прищуром, глубокие темные глаза — очень умные, пронизательные до пронзительности.

Потом мы встречались часто. Стало ясно: к нему нельзя относиться так же, как ко всем остальным обитателям беспокойного дома на улице Добролюбова. Это был человек необычного склада, со своим особенным внутренним миром, с удивительной манерой говорить — спокойно, лаконично, точно и, не побоюсь этого «затертого» слова, очень культурно. В нем чувствовалась какая-то необыкновенная добрая глубина.

Он и стихи читал необыкновенно, сугубо по-своему: медленно, отделяя одну строку от другой большими паузами. Прочтет строчку — будто совсем закончил. Склонит голову, поморгает плавно так глазами, поднимет голову — и читает следующую строку. Когда Рубцов читает стихи, должна быть абсолютная тишина — это знали все. Если кто-нибудь нарушал ее, Николай умолкал и таким взглядом смотрел, что слушателям становилось, не по себе.

В то время у Рубцова с ректоратом были какие-то нелады, и обитал он в общежитии полулегально, не имея своего постоянного угла. В комнате у Сани Петрова, моего однокурсника и товарища по семинару, была свободная кровать, и Николай жил в основном у него. Тянуло его почему-то к нам, первокурсникам. Наверное, потому, что выглядели мы еще чистыми, неподдельно искренними на общем фоне бурливого литературного муравейника. Когда на душе у него было смутно, он молчал. Иногда ложился на кровать и долго смотрел в потолок...

Я не расспрашивал его ни о чем. Можно было и без расспросов понять, что жизнь складывалась у него нелегко. Меня всегда преследовало впечатление, что приехал Рубцов откуда-то из неуютных мест своего одиночества. И в общежитии Литинститута, где его неотступно окружала толпа, он все равно казался одиноким и

бесконечно далеким от стремлений людей, находящихся рядом. Даже его скромная одежда, шарф, перекинутый через плечо, как бы подчеркивали это.

Женщины, как мне кажется, ни на каплю не понимали Николая. Они пели ему дифирамбы, с ласковой жалостью крутились вокруг, но, когда он тянулся к ним всей душой, они пугались и отталкивали его. Во всяком случае те, которых я видел рядом с ним. Николай злился на это непонимание и терял равновесие.

В общежитии он жил непостоянно. Иногда недели на две, а то и на месяц исчезал куда-то. Появлялся, и опять начинал его преследовать комендант общежития, непоколебимый в своих тщетных попытках утвердить в общежитии тишину. И Николай исправно скрывался от него то в одной комнате, то в другой. Когда ему надоедало это зыбкое, подрывающее нервы житье, он уезжал к себе на Вологодчину и пропадал там надолго. Потом опять приезжал, сдавал экзаменационную сессию.

В начале лета 1966, кажется, года он жил в общежитии. Ко мне приехала сестра Валя, и для нас началась «сладкая жизнь». Приходим из института — обед готов: и первое, и второе, и третье. Бежим за Рубцовым и наедаемся все от души. Николай разговаривает с Валей о деревенской жизни, расспрашивает ее, как там у нас, на Рязанщине. Вале он очень понравился. «Чувствуешь себя с ним, — говорила она, — как с братом. Только не как с тобой, а как со старшим. Добрая у него душа, ласковая какая-то».

Пошли однажды компанией, человек семь, в столовую пить пиво (и Валя с нами). Сидели долго. Николай неожиданно сказал: «Надо мне куда-нибудь поехать. Туда, где никто меня не знает». Слова эти выражали усталость. Все зашумели, наперебой стали предлагать — каждый свою родину. «Ладно, ладно. Подумаем», — сказал он.

Когда мы вернулись в общежитие, ребята разошлись по комнатам. Коля пошел с нами. Посидели, покурили. Я возобновил разговор, начавшийся в столовой:

— Езжай-ка, Николай, в наш Сынтул. Дом у нас большой, никого не стеснишь. Природа отличная, лес рядом...

— А озеро у нас какое! — подхватила Валя. — Купаться будете, рыбу ловить. Лодка на выбор — любой

даст. Восемь часов на автобусе — и вы в Сынтуле. По-ехали вместе.

— А кто у вас там еще живет? — спросил Николай.

— Мать, мой муж, сынишка... Да вы не бойтесь, никого не стесните, — настаивала Валя.

— Нет... Если мать — то я не поеду. Она жалеть меня будет...

Настаивать мы больше не решились.

— Тогда езжай ко мне в Барнаул, — предложил Вася Нечунаев. — Там у моей сестры Матрены останешься. Она добрейшей души человек. Там ребята — ты их знаешь: Игорь Пантюхов, Леня Мерзликин — переправят тебя на Телецкое озеро. Красота неопишная. Давай соглашайся, не раздумывая.

Николай подумал немного и ответил:

— Согласен. Еду. Командировку я где-нибудь возьму...

Потом он ходил по комнате и с веселым, не соответствующим теме видом твердил экспромт:

Наше дело — верное,
Наши карты — козыри.
Наша смерть, наверное, —
На Телецком озере.

Так мы проводили его на Алтай.

После этого долго не виделись. Я узнал потом, что поездка была для него благотворной: Николай много ездил по краю, отдыхал и писал. Когда мы встретились снова, он был гораздо уравновешеннее. Восхищался добротой сестры Васи Нечунаева — Матрены. В Барнауле он жил в ее маленькой квартирке.

Вскоре вышла «Звезда полей», принеся Николаю Рубцову заслуженную поэтическую славу. Возобновились частые застолья, пошли новые знакомства — в литинститут пришел еще один курс. Остановить это крутящееся колесо, казалось, было невозможно.

На глазах подтачивались нервы Николая. Говорить с ним об этом было бесполезно — он раздражался. Все чаще пропадал где-то. Иногда с ним в общежитие приезжали какие-то незнакомые люди. Однажды зашел я на шум в одну из комнат. Двое здоровенных парней — не наши, как я сразу определил, — тащили куда-то Рубцова. «Никуда я не пойду, надоели вы мне, сволочи!» — кричал он. «Да что тут торчать, пошли!» — тянул Нико-

лая за руку светловолосый, в очках. Они схватили его с двух сторон, но он — я удивился такой силе — с остервенением стал мотать их обоих по комнате. «Отстаньте от него, — сказал я. — Не то позову ребят». Они, пыхтя, удалились...

Глубоко противна была Николаю такая жизнь. Душа его, тактичная и культурная от природы, протестовала, но часто безуспешно. От этого ему было еще тяжелее. Измотавшись вконец, Николай уезжал на родину. Месяца через два-три приезжал, улаживал свои литературные дела. Как и о своей прошлой жизни, он никогда не говорил о них. Лишь однажды рассказывал, как в коридоре редакции журнала «Юность» познакомился с Евгением Евтушенко: «Смотрит он с высоты и спрашивает с удивлением: «Так вы и есть Рубцов?!» Да, отвечаю, я и есть Рубцов». Большого о его отношениях с известными литераторами и издателями мы никогда не слышали.

Преображался Николай среди друзей. Исчезали его недоверчивость, настороженность, мнительность. Появлялся «рубцовский» юмор — удивительно своеобразный.

Радостный и добродушный бывал он, когда приезжали в институт Василий Белов, Ольга Фокина, когда поступил на высшие литературные курсы Виктор Коротяев. Таким он был и в обществе Валентина Сафонова, с которым его связывала, кроме всего прочего, бывшая служба на Северном флоте.

Близились к концу шестидесятые годы. Николай Михайлович отлично защитил диплом. Но чувствовалось, что ему стало изменять здоровье — он часто хватался за сердце, жаловался на боли в желудке. Усиливалось и его душевное одиночество. Все чаще высказывал он печальные мысли, иногда — о смерти. И ничем мы не могли ему помочь.

Ранней весной 1969 года я был в Рязани. Захожу в писательскую организацию, а там — Николай Рубцов! Обнялись. Оказывается, он приехал с моим земляком — поэтом Евгением Маркиным. Они в Москве вместе участвовали в каком-то большом литературном мероприятии, и Маркин уговорил его побывать на земле Есенина. Собрались наши поэты, прозаики. Братья Сафоновы — Эрнст и Валентин, Александр Архипов, Анатолий Сенин, Герольд Киселев. Двинулись к Рязанскому кремлю. Постояли, полюбовались кремлем, зашли на могилу

Полонского, спустились в сад у подножия кремля. Там в углу лежала груда ящиков. Тут же разожгли небольшой костерок — было холодно. Кто-то предложил почитать стихи — каждый по стихотворению. Никогда мне не забыть этого: костер на снегу и Николай Рубцов на фоне Рязанского кремля, читающий стихи:

В краю лесов, полей, озер
Мы про свои забыли годы.
Горел прощальный наш костер,
Как минуетный сон природы...

И опять встречались в Москве, в общежитии. Очевидна была крайняя усталость Николая. Он раздражался по всякому поводу и без повода, стал недоверчив даже по отношению к тем, кто очень любил его и старался оберегать.

Приехал как-то Эрнст Сафонов, разыскали мы Николая и пошли в столовую пообедать. Сидели, вспоминали о былом, и вдруг Николай вспылil без всякой причины, заговорил обиженно, грубо.

— Что с тобой, Коля? — сказал Эрнст. — Я не узнаю тебя.

— Все вы меня не узнаете! — крикнул Николай. И добавил тихо: — Я и сам себя не узнаю...

В последний раз мы увиделись осенью 1970 года. Я подходил к общежитию и вдруг услышал рядом, в сквере, гитару и голос Николая Михайловича. Он пел:

О доблестях, о подвиге, о славе
Я забывал на горестной земле...

Я никогда раньше не слышал, чтобы пели эти слова Блока. Наверное, мелодия принадлежала Николаю. Как и мелодии его песен, она была очень трогательной. Я подошел и сел рядом на скамейку. Тут же сидели трое наших ребят. «Давно я тебя не видел, — сказал Николай. — Пойдем посидим вместе, расскажешь — как ты?» Мы поднялись на шестой этаж, прошли в мою комнату. Я рассказал ему, что мотаюсь каждую неделю в Рязань — там у меня жена, что и сейчас собираюсь ехать.

Был он в тот раз тих и печален. Предостерег меня:

— Ты береги себя — видишь, какая злая стала жизнь, какие все равнодушные...

А через несколько месяцев в Вологде я стоял у его гроба. Потом на неуютном, без деревьев, кладбище бросил в могилу горсть мерзлой вологодской земли. Стучали лопаты, а я, как и каждый, кто был рядом, глотал слезы со злостью на то, что все мы, стоящие вокруг могилы, не смогли продлить эту — такую дорогую для нас — жизнь.

АЛТАЙСКАЯ СТРАНИЦА

Хорошо помнится мне тот прохладный солнечный день 1965 года в Москве и его стихи — Николая Рубцова. Исполнял он их сам под гитару, в ответ на наши настойчивые просьбы. Одно запомнилось особенно — оно давало нам, горцам, драгоценное чувство русского Севера, связанное почти с физическим ощущением чистоты.

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Пел он тогда — редкий случай — много и охотно. Шли часы первого дня знакомства, креп разговор о поэзии и жизни, и мы, глядя на Николая, дивились. Поражали стихи, полные взрывчатой тишины, и судьба его. Моряк, оставивший морскую стихию ради другой, не менее увлекательной и опасной — стихии поэзии.

Кто-то сказал тогда, что Рубцов идиличен, полон покоя. Николаю это не понравилось. Нахмутив брови, он яростно вступил в спор.

— Что вы за поэты такие? О чем вы пишете и как? Клянетесь в любви, а сами равнодушны. Да-да, равнодушны. Оторвались от деревни и не пришли к городу. А у меня есть тема своя, данная от рождения, понятно! Я пишу о ней, как Лермонтов о родине. И не лепите

ко мне идиллии. Это совсем не то, неужели не понимаете?..

На прощанье Николай Михайлович снял со стены своей комнаты портрет Э. Хемингуэя и подарил мне его с щедрым пожеланием «испытать все радости, которые испытал Хемингуэй». Даже в пожелании поэт остается поэтом.

Свою Вологодчину Николай Рубцов любил больше всего на свете, но поэзия не давала ему сидеть дома. Он был легок на подъем, много путешествовал, но «самую смертную связь» чувствовал всегда со скромными звездами родного Севера, с его июльскими деньками, которые «идут в нетленной синенькой рубашке». Я знал об этом, и тем неожиданнее был сюрприз. В 1966 году, открыв дверь на звонок, я увидел Николая Михайловича...

Потом были поездки по области. Особенно понравился Николаю Рубцову Шебелинский район, село Эликманар, где он жил несколько дней, беседуя с протекающей в этих местах бурной рекой Катунью. Я думал, что он просто отдыхает, просто созерцает красоту, а он, оказалось, работал, и тут оставаясь самим собой. Это я понял позднее, читая стихотворение «Шумит Катунь» в сборнике «Зеленые цветы».

Изредка мы обменивались после этой встречи письмами, которые были продолжением московского знакомства и разговором о полюбившемся ему Горном Алтае. Ни строчки уже не прибавить к написанному им дома и в пути. Не возьмет он уже билет на «поезд голубой» и не приедет к Г. Володину в Красногорск, ко мне или Б. Укачину в Горно-Алтайск. Не будет уже тех задушевных бесед, но навсегда есть как данная реальность его стихи, заставляющие нас верить вечному:

Утром солнышко взойдет —
Кто может средство отыскать,
Чтоб задержать его восход?
Остановить его закат?..

ПИСЬМО НИКОЛАЮ РУБЦОВУ

...Эта горькая весть разминулась со мной,
И провел я весь день не грустя, не скорбя,
Потому что не знал я,

что шар наш земной
Продолжает кружиться
уже без тебя.

У поэта Шатры в нашем отчем краю
Я в селе Каракол в это время гостил.
Вспоминали друзей,

пели песню твою:
«...И архангельский дождик
на меня моросил...»

В то село Каракол не идут поезда,
То село далеко
От проезжих дорог,
И стоит над селом голубая звезда,
Как в одной из твоих вечно памятных строк.
В эту звездную ночь

тих, пустынен Алтай,
Далеко на Тверском — наш родной институт.
Эх, Шатинов Шатра, вслух стихи почитай,
Пусть замедлится бег торопливых минут!
Благодатного лета кончалась пора,
И, уже набираясь для осени сил,
Русским строчкам в горах подпевали ветра:
«...И архангельский дождик

на меня моросил...»

Помнишь, Коля, как съехались мы на Тверской,
Кто откуда, со всей бесконечной страны,
Помнишь долгие споры над чьей-то строкой
И надежды, которых мы были полны?
Мы росли,

становились умней и взрослей,
И, сближаясь с твоею
«Звездой полей» *,
«Ветка горного кедра» **

качалась моя...

Помнишь — мы по Алтаю бродили с тобой.
— Что за дивная силища в этой волне! —
Ты сказал о Катунь моей голубой,
И не скрою,

что это понравилось мне,
Полюбилась тебе наших гор тишина.
— Я еще непременно приеду сюда!.. —
Заверял ты меня,

и твоя ли вина,
Что теперь не приедешь уже никогда.

И не верится мне, что с тобою вдвоем
На земле, где ты голову гордо носил,
Мы уже никогда-никогда не споем:
«...И архангельский дождик
на меня моросил...»

Перевел с алтайского
Илья Фонаков

* «Звезда полей» — книга Н. Рубцова.

** «Ветка горного ветра» — книга Б. Укачина.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Первая встреча

Рубцов в мою жизнь вошел задолго до той первой встречи. А открыл его для меня Василий Елесин, с которым мы учились в Ленинградском университете на заочном отделении.

Во время летней сессии, чарующей белой ночью, мы гуляли по набережной Невы и любовались городом. Обычно сдержанный, малоразговорчивый, склонный к тихой задумчивости, Василий поразил меня оживленностью. Читал он с упоением стихи Пушкина, Лермонтова, Блока и раньше, но сейчас я чувствовал, что это прелюдия к чему-то новому. Так и оказалось.

— Ты представляешь, в Тотье объявился поэт, которого у нас никто не знает.

— Кто?

— Николай Рубцов!

— Не слышал такого, — признался я.

— О чем я и говорю. А талантище большой. Я уверен — скоро о нем заговорят. Послушай:

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Чувствуешь, как родственно отзывается в душе настроение поэта, хотя он ставит в ряд и рифмует самые обыкновенные слова? Чувствуешь?..

Да-а... Слова действительно были самые «домашние» и поэтому трогательные, будоражащие. В молочной дымке ночного рассвета вздыбленные спины мостов на мгновение показались колодезными журавлями от колдовского «в горнице» и «матушка». Так хорошо запахло Русью, что сразу вспомнился Александр Сергеевич Пушкин, который ходил по этой набережной в свое счастливое время. А Василий читал дальше:

Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догнiet совсем.
Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

Это первое стихотворение Николая Рубцова, которое я услышал. Оно так запало в душу, что и последующее знакомство с творчеством поэта не затмило начального впечатления.

Лицом к лицу встреча произошла неожиданно, хотя я все время ее ждал. Комнатка Вологодской писательской организации находилась тогда в одном коридоре с редакцией газеты «Вологодский комсомолец». И обыкновенная дверь со скромной табличкой манила и влекла: там, за дверью, часто было говорко и хохотно.

Правда, в тот день 1966 года за дверью покоилась тишина, но я заглянул туда. И сразу же на диване увидел знакомую фигуру человека, с которым никогда не встречался. Он сидел нога на ногу, сцепив на колене руки, чуть подавшись к столу, за которым находился Александр Романов, ответственный секретарь писательской организации. Я хотел было закрыть дверь, но Романов требовательно замахал рукой:

— Саша! Заходи-заходи!

Я не противился: ведь на диване сидел Рубцов. Столько раз Василий Елесин описывал его внешность, что, увидев, нельзя было ошибиться.

Всего два шага — и мы сошлись в рукопожатии. Я отметил, что мы одного роста, но уже в плечах он, что рука у него цепкая, но не жесткая. Голова с высоким

лысым лбом казалась выточенной вместе с длинной ровной шеей, которую свободно облегал ворот белой рубашки.

— Николай Рубцов! — представился он коротко, словно не договаривая что-то, и уставился пристрельным взглядом темно-карих глаз, в глубине которых, как далекие бакены, вздрагивали огоньки.

Подарок

Чаще всего встречи с Николаем Рубцовым были случайными, но каждая из них для меня являлась своеобразным подарком. От сознания, что в каких-то тридцати пяти километрах от меня существует этот человек, легче жилось, дышалось и думалось. Но как жилось и думалось поэту — я не знал. Лишь смутно предполагал по стихам да по мимолетным наблюдениям: окно в мир своих переживаний он держал пока для меня закрытым. И каждый раз Николай был разный, неповторимый не только в поведении, но и в мыслях. Лишь непреходящей тоской и беспокойством жили его глаза. Но на новоселье у Гурия Прусакова, ответственного секретаря городской газеты «Сокольская правда», я увидел Рубцова в другом свете. Впрочем, все по порядку.

Мы с журналистом Александром Анфимовым на редакционной машине поехали в Вологду за подарком новоселу. Уже смеркалось. Город был украшен флагами, разноцветными полотнищами, портретами. Кой-где начали вспыхивать и неоновые огни магазинных вывесок и реклам. Сновали по улицам люди: всего два дня оставалось до 7 ноября 1966 года.

Среди этой наэлектризованной публики я вдруг увидел ссутулившуюся фигуру Николая Рубцова. Он был в берете, в демисезонном пальто с поднятым воротником, который защищал от знобящего ветра почти всю шею, небрежно замотанную шарфом. Ветер в узком проулке шумел, как на морском причале, и потому Николай не услышал моего зова и встрепенулся, когда я взял его за локоть.

— Сашка! Ты откуда взялся?

Вопрос был задан так, будто я до этого времени не ходил, по крайней мере, на Земле Франца-Иосифа.

— Да вот... Приехали с Анфимовым выбирать подарок Прусакову.

— А что у него?

— Новоселье! — сказал я и взглянул на Анфимова, ибо у меня блеснула мысль: а не пригласить ли нам и Рубцова на это торжество.

Гурия Ивановича Прусакова Николай знал: не раз приносил ему стихи. А раз, получив аванс, но не успев на другой день зайти в редакцию, как обещал, он выслал по почте стихи из Вологодского аэропорта, подчеркнув двумя линиями оговоренную перед авансом дату и восхитив Прусакова точностью исполнения слова. Потому я и был уверен, что Гурий Иванович будет рад.

На мой взгляд Анфимов ответил согласием, и решение было принято, но для порядка я спросил:

— Ты куда правишься?

— Иду-плыву навстречу людям. Хочу заразиться их стремительным оптимизмом, — без улыбки ответил Николай и пытливо сощурился на нас.

— Слушай, айда с нами... на новоселье?

— А это удобно? — быстро спросил Николай, словно ждал этого, и от явного волнения стал старательно смыкать на груди лацканы пальто. Заметив мой взгляд на своих руках и точно угадав его значение, с едва скользнувшей по губам улыбкой спокойно произнес, как между прочим: — Перчатки в кармане.

Я почувствовал жаркий прострел на кончиках своих ушей, а потому начал заминать неловкость бурным многословием:

— Какое же может быть неудобство! Ты что, Николай! Ты же не в качестве свадебного генерала там будешь, а тем, кем есть, — желанным гостем. Так что, поехали! Ну, что?..

— Хорошо, ребята. Спасибо. Я еду с вами, только мне бы побриться надо, а то видите, — и Николай скользнул рукой по подбородку, как помазком.

Парикмахерская располагалась рядом, и мы вошли в тесный от посетителей зал буквально через несколько секунд.

Когда зашла речь о подарке, Рубцов, не раздумывая, предложил купить гитару и тут же присоединил свою пятерку. Мы с Анфимовым переглянулись: не хотелось огорчать человека отказом, но сказать все-таки пришлось:

— Не надо Прусакову гитару.

— Это почему же? Дареному коню в зубы не смотрят, — заключил Рубцов.

— Гурий Иавнович пришел с войны с перебитой рукой...

— Ранена у него правая рука? — не унимался Николай.

— Правая, — ответил я, не понимая пока смысла вопроса.

— Вот и хорошо: гитара — не гармонь. Главная рука у гитариста левая...

— Но вдруг для него это покажется оскорбительным?

— Ладно. А сын у Гурия Ивановича есть? — с надеждой спросил Рубцов, уже готовый отказаться от своей затеи.

— Есть, но еще маленький.

— Так что ж вы мне голову-то морочите?! Если маленький — будет большой. Неужели это не ясно?

И вот мы едем в Сокол. Рубцов расположился на переднем сидении, настраивая струны гитары. Свет фар резал уже плотную темень, а Василий Тихомиров, внимательно следивший за дорогой, успевал бросать косые взгляды на Николая. Повидавший писательской братии, с которой умел держаться с дерзкой независимостью, он терпеливо молчал, даже когда гриф гитары мешал при переключении скоростей: Василий был гармонист и потому, как музыкант, понимал нетерпение другого музыканта испробовать инструмент.

Торжествующий взгляд Рубцова был красноречивее всех слов, когда Гурий Иванович Прусаков с радостью принял подарок.

Новоселье

Рубцов сидел за столом, обласканный вниманием общества. Слева — пылкая поклонница его таланта Тамара Киселева, справа — журналист Валентин Аносов, бывший моряк-североморец, с которым Николай и соседствовал весь праздник, влюбленный в его мужицкую силу и в доверчивую, как у ребенка, душу. Первые тосты и поздравления сделали гостей общительнее, говорливее. Меня разнежило присутствие Рубцова и не тянуло даже к гармошке, которая стояла тут же под столом.

И вот уже привезенная гитара уютно разместилась на коленях поэта. Нет, Рубцов не играл на гитаре в общепринятом понимании, не аккомпанировал даже — он пел свои стихи с гитарой дуэтом. Струны звенели, ревели, дребезжали, вздрагивали и затихали в унисон движениям и голосу певца: душа и пальцы работали в удивительном согласии. Это чувствовал (я видел) и сам поэт. Он сидел улыбающийся, довольный собой и от похвал даже не смущался. А когда хозяин торжества еще раз попросил спеть «В горнице», Рубцов стремительно встал и через стол протянул руку Прусакову:

— Гурий Иванович, спасибо! Ты меня понимаешь!

Близость этой песни тому и другому, многим и из нас была понятна. Прусаков тоже рано осиротел и воспитывался без матери, ощутив весь холод бесприютного детства. ...И Рубцов пел, что требовала душа: «В минуты музыки», «Звезда полей», «Над вечным покоем», «Морошка», «Осенняя песня»...

Иногда казалось, что он никого вокруг себя не замечает, настолько отрешенным вдруг становился взгляд, устремленный сквозь и через всех в ему одному видимую даль. Но вот песня закончена, на благодарность слушателей он отвечает светлой улыбкой. А я же, счастливый и одновременно несчастный в этот миг ревнивец, ждал своего часа: гитара — не мой инструмент. Но и гармонь в руках Рубцова пела по-особому, когда он сам был настроен «на душевный лад». А это был его вечер, его настрой. Порозовевший от застолья и внимания, он и в темной рубашке выглядел светло и нежно. И казался таким молодым и счастливым, что, глядя на него, и я захотел превзойти самого себя.

— Николай! Ну-ко ту... которую...

— Да я...

— Ничего, подпляшусь...

В этот миг кроме нас никого нет: он играет — я пляшу. Глаза в глаза. Потом Николай как по команде «равняйся!» поворачивает голову влево (так некоторым гармонистам легче играть), и я вижу на шее вздувшуюся от напряжения вену. По душе, как кнутом, стегануло: человек изо всех сил выкладывается, а я дурацкой ревностью мучаюсь. Подобрал дробь под не совсем четкий перебор и спел частушку. Чувствую, музыка легла ровно, и меня, как на плавной качели, без рывков и ускорений повела рубцовская мелодия дальше — от ча-

стушки к частушке. Много напел. А когда спел, отплясав и сел, подошел Николай и спросил:

— Ты можешь мне повторить частушку, где ночки темные осенние спокою не дают?

На слове «спокою» он сделал ударение. Я тут же спел:

Ночки темные, осенние —
Частые дожди льют,
А глазки серые веселые
Спокою не дают.

— Ну, спасибо. А я думал, что ослышался. Вот ведь как: неправильно, а красиво.

— Из песни слова не выкинешь. Не я же эту частушку выдумал.

И Рубцов захохотал, приклоняясь к коленям и прихлопывая по ним ладошками. Хохотал он красиво, ровно, успокаивающе. Больше я такого смеха не слышал. И всерьез я рассердиться не смог. Николай подсел к Тамаре Киселевой, спел ей эту частушку, акцентируя опять внимание на слове «спокою» и неожиданно предложил:

— А вы, девушка, не желаете выйти за меня замуж?

Получив в ответ смущенное молчание, он со вздохом «ах» махнул рукой:

— Саша, я плясать хочу!

Никогда мне играть Рубцову плясовую не приходилось, но чувство подсказывало, что частые переборы тут не пойдут. Я заиграл «Барыню» и под плавный выход вывел Николая на середину пола. И не ошибся. Он больше дирижировал руками, вскидывая их вверх, чем перебирал ногами. А при каждом приседании всхлипывал, словно окунался в холодную воду. Потом остановился против меня и, покачиваясь из стороны в сторону, спел частушку, услышанную от меня:

Ветры сильные, холодные
На Севере у нас.
Не могу забыть Катюху
И ее веселых глаз...

Ночевать ко мне Рубцов не пошел, сославшись на длинную дорогу (а идти надо было пешком), и остался у Прусакова...

Он так же памятен, как и все встречи с Николаем Михайловичем Рубцовым.

Для вологжан это был своеобразный праздник: в городском Доме культуры проходил литературный вечер. В зале полным-полненько. На сцене стол под зеленым сукном. Теснясь друг к другу, сидят Василий Белов, Виктор Коротаев, Николай Рубцов, Сергей Чухин и чуть поодаль Александр Яшин и Александр Романов — ведущий вечера.

Вот из-за стола вышел Виктор Коротаев, прочитал несколько стихотворений из цикла «Липовица». Потом Василий Белов читал отрывок из новой повести «Плотнические рассказы», Сергей Чухин — стихи «Шуршат сухие ивняки» и «Горлинка», Александр Романов — «Серьезный разговор», а Александр Яшин — стихи из будущей книги «День творения».

Все было как обычно, когда встречаются писатели с читателями. Самой яркой и впечатляющей фигурой, безусловно, был Александр Яшин. Он вышел на сцену после всех. Никто не знал и не мог даже предполагать, что это последнее выступление поэта на его родине. Быть может, только он сам, терзаемый болезнью, тревожно вслушивался в себя и невольно подводил итог своей суровой жизни. Потому так чутко и внимательно он вглядывался в младших братьев по перу и особенно пристально следил за Рубцовым.

Правда, в зале имя Николая Рубцова заметного оживления не вызвало, хотя Александр Романов объявил с особенным ударением. Для того времени это не удивительно. Поэт не так уж часто печатался в местной периодике, а его «Звезда полей» только что вышла.

Да и сама внешность поэта если и привлекала внимательный взгляд, то только неброской скромностью одежды и напряженно-нервным аскетическим лицом с высоко оголенным лбом.

В тот вечер Николай Рубцов был в коричневом в темную полоску костюме, с аккуратно отточенными (пофлотски) стрелками на брюках, голубой рубашке без галстука и простых черных ботинках.

Он заметно волновался. И не потому, что перед ним был переполненный зал (хотя это тоже влияло), а потому, видимо, что чувствовал на себе пристрастный взгляд

Александра Яшина, к которому относился по-особому. Рубцов прочитал свое любимое «В минуты музыки». Читал вдохновенно, отбивая правой рукой в воздухе такт и чуть склонив голову набок, словно вслушивался в музыку стиха.

К сожалению, слушатели не сумели в полную меру оценить тогда светлое и проникновенное чтение поэта, как и само произведение. Николай, услышав вежливые аплодисменты, обязательные в таких случаях, огорчился — скорее на себя, чем на публику. Но в конце вечера лицо его просветлело. Не любитель давать автографы, в ту встречу Рубцов охотно подписывал «Звезду полей». Его радовала не столько церемония подписывания, сколько сами люди, в руках которых он видел свою книгу.

После встречи в городском Доме культуры состоялся ужин в малом зале ресторана «Вологда». Застолье распределилось так, что Николай Рубцов оказался рядом с Александром Яшиным. В этой компании очутился и наш земляк, известный скульптор, академик Сергей Михайлович Орлов — автор памятника Юрию Долгорукому в Москве.

Орлов давно не был в Вологде. И вот приехал показать свою родину взрослому сыну, родившемуся уже в Москве. Естественно, что предметом разговора была малая родина, за которую и произносились тосты. И вдруг Александр Яшин повернулся к Николаю Рубцову и так проникновенно попросил:

— Коля, твой тост. Давай экспромтом что-нибудь! А?

Николай взглянул на Яшина, заметно вспыхнул лицом и тихо ответил:

— Хорошо, Александр Яковлевич. Попробую...

Волнение с лица постепенно спадало, и оно становилось уверенно-спокойным и даже властным: плотно сжатые губы, жестко очерченные скулы, прищуренные глаза — все выражало упорную мысль. Взгляды были устремлены на Рубцова. И он это не столько видел, сколько чувствовал. И вот словно прояснение озарило его лицо. Оно стало спокойное и сдержанно-ликующее. Пальцы, до этого нервно перебиравшие ножку бокала, замерли, цепко облегли нагретое стекло, а рука вынесла бокал на середину стола и зависла над ним, как указующий перст, вздрагивая в такт чтению:

За Вологду, землю родную,
Я снова стакан подниму!
И снова тебя поцелую,
И снова отправлюсь во тьму,
И вновь будет дождичек литься...
Пусть все это длится и длится!

Александр Яшин склонился к Рубцову и приложился к его щеке усыатым лицом.

С каждым тостом разговор становился оживленнее и откровеннее. Не сошлись во мнениях о современном искусстве скульптор Орлов и писатель Белов. Разногласие в любви к малой родине возникло у Яшина с Орловым. Александр Яковлевич вспылil, махнул рукой и, чтобы прекратить спор, вместе со стулом отодвинулся от Сергея Михайловича Орлова. Сын, обиженный за отца, иронически спросил:

— Вы, быть может, еще дальше двинетесь, Александр Яковлевич?

Яшин быстро повернул голову к Рубцову, чуть помедлил, потом оглядел все застолье, сверкнул глазами, и под усами у него растеклась улыбка:

— С удовольствием бы, но дальше некуда. Там Рубцов.

Свой причал

Встретил я его на улице Мира лицом к лицу. Был он сосредоточен и не угрюм. Карманы топорщились, а в руках ком газет. После сумбурного приветствия Рубцов приказал:

— Пошли!

— Куда?

— За мной.

— К кому?

— К моему причалу!

Такая перестрелка нравилась нам обоим. Но после слов «к моему причалу» я осекся. Ведь у Рубцова не было в Вологде дома, квартиры, своего уголка, места, куда он мог пригласить к себе друзей. Потому я даже сбил шаг и переспросил:

— В каком смысле это понимать?

— Вот чудак, — развеселился Николай, — ко мне на новоселье! Разве не слышал, что Рубцову дали жилье? Так сказать — свой причал!

Последнее слово Николай произнес с напевным ударением. Я, конечно, об этом не слышал. Новость меня обрадовала и смутила. Как можно идти на новоселье с пустыми руками?

— Подожди, я должен что-нибудь купить. Нельзя же так...

— Можно. У меня все есть... Вот если бы гармонь, но сам понимаешь, что в коммунальной квартире не разыграешься.

Квартирой оказалась комнатка, и была она совершенно пуста, если не считать небольшого чемодана и трех порожних бутылок, стоящих в переднем углу на обрывке газеты.

— Проходи, Саша...

Сам он присел в обжитом уголке, освободил руки и выпростал карманы с осторожностью минера.

— А гости где?

— Все тут. Или тебе еще кого надо? — с наигранной капризностью спросил Николай.

И я поспешно заверил, что «доволен я буквально всем».

Рубцов повел головой, но смолчал, а показывая на пустые бутылки, пояснил:

— Вчера Герман Александров у меня был. Мы вещи с ним перевозили.

Я снова начал оглядывать пустую комнату, боясь обидеть хозяина неуместным вопросом, но Николай разрешил мои сомнения просто:

— Вот они: все в чемодане уместились... Помогай накрывать стол.

Я охотно включился в «столотворение», устилая солнечный квадрат на полу принесенными Рубцовым газетами. Николай сбегал на общую кухню, принес металлическую тарелку, в которую и выложил из раскисшей бумаги кильки:

— Надежная тарелка. Вчера у соседки одолжил. Оставлял на кухне. Думал, догадается взять... Ну и ладно, хоть не просить снова.

Николай потянулся за стаканом, который абажуром покоился на бутылке, и дважды звякнул о горлышко, пробудив воспоминание о корабельной рынде. Произошло это совершенно случайно, но мы переглянулись. Улыбнулись. Хорошо было.

Рубцов сидел на газете, как на пышном ковре,

скрестив ноги по-турецки. И настроение его было поистине султанское: радость за четыре «собственные» стены и постоянный потолок над головой возвышали в собственном мнении.

— Молодцы все-таки ребята. А то уж я думал податься из Вологды в другие края. Теперь — свой угол! Вот только соседи по кухне, кажется, меня выживут...

Солнечный квадрат сместился от нас на стенку, но мы уже не нуждались в его тепле и свете, горячо обсуждая мировые проблемы. Потом «власть» захватил Рубцов. Он давно ходил по комнате, временами останавливаясь против меня и пристально вглядываясь в лицо: интересно ли мне? Не уловив скуки, продолжал читать дальше. Это были стихи Тютчева, Фета, Пушкина, Блока. Много он тогда читал, но запала мне в память блоковская «Усталость»:

Кому назначен темный жребий,
Над тем не властен хоровод.
Он, как звезда, утонет в небе,
И новая звезда взойдет.
И краток путь средь долгой ночи.
Друзья, близка ночная твердь!
И даже рифмы нет короче
Глухой, крылатой рифмы: смерть.
И есть ланит живая алость,
Печаль свиданий и разлук...
Но есть паденье и усталость,
И торжество предсмертных мук.

— Что скажешь?

Я молчал. Как-то чересчур торжественно прозвучали эти трагические стихи в устах Рубцова.

— Печально, больно, хоть ты и подавал их весело, — признался я.

— А ты что, вечен, что ли?

— Конечно, нет. Но «торжество предсмертных мук» — не понимаю.

— И не поймешь, — словно обрадовавшись, подхватил Николай. — Это надо пережить. Са-мо-му пережить. Сие великая тайна! — и Рубцов понизил голос, вскинул голову, замер, будто вслушиваясь во что-то. В сумраке комнаты фигура его, подчеркнутая бледностью лица и лихорадочным блеском глаз, напоминала евангельскую картину.

Я решил спустить его на землю и полушепотом спросил:

— А когда ты успел пережить торжество предсмертных мук?

Конечно, ирония не ускользнула от рубцовского слуха, но Николай ответил серьезно и очень спокойно:

— Давно. Первый раз давно. А теперь я испытываю, ощущаю это чувство в себе часто. Даже больше, чем хотелось бы этого. Блок! Это Блок! Но беда, что его терзают не те люди. Этот мудрец поставлен перед нашими обывателями с ног на голову, когда у него все ясно и просто:

Россия-мать, как птица тужит
О детях: но — ее судьба,
Чтоб их терзали ястреба.

Так вот откуда у Рубцова (невольнo подумалось мне):

Россия, Русь! Храни себя, храни!

...И есть Рубцов

В 1969 году я стал работать в вологодской газете «Маяк». Специального помещения у редакции пока не было, и она размещалась в жилом доме. Прямо под ней был магазин. И вывески на лицевой стороне здания весело соседствовали. Правда, «Фрукты-овощи» можно было четко прочитать с противоположной стороны улицы, а редакционную вывеску — только с расстояния за претного газона. Эту особенность не преминул использовать Николай Рубцов, как только появлялся в редакции:

— Здравствуйте, уважаемые «Фрукты-овощи»! Как вы тут уживаетесь?

Рубцов получил отдельную квартиру. И жил теперь по-соседству, на улице Александра Яшина. В редакции был нередким гостем. Тянуло его не столько желание напечататься, сколько стремление пообщаться с друзьями. В редакции работал и Герман Александров, с которым Рубцов любил проводить время. Интересный человек был редактор Борис Александрович Шабалин. Критически оценивая поэзию многих и многих, он безоговорочно принял Рубцова как поэта. Частенько заглядывал в редакцию и Сергей Чухин. Центром притяжения, естественно, был Рубцов. Кто-то из нас даже называл его маяком. Николай хмыкнул:

— Нашли мне тоже путеводное светило! А если я угасну, то что? Будете натекать на рифы?

— И угаснешь — не погаснешь, Николай Михайлович, — скаламбурил Сергей Чухин, умилив Рубцова.

Эта вроде бы легкая на первый взгляд шутка возымела поразительное действие на всех нас. Каждый в меру своей приверженности к литературе вообще и к поэзии в частности задумался о значении Рубцова. И не потому, что его поэтическая слава растекалась по всей России, — он нам был ближе и понятнее. Мы ощущали его ранимую душу, видели на лице следы тревог, терзаний, муки и тоски. Нередко навязывали свое участие, но, застенчивый и гордый, Рубцов порой отвергал его в довольно жесткой форме. Доброе и бескорыстное отношение понимал, принимал и расплачивался той же монетой.

Особое расположение Рубцов имел к младшему брату по перу Сергею Чухину, который, естественно, в своем учителе души не чаял.

Мне запомнилась трогательная картина на квартире поэта Николая Шишова, где посчастливилось услышать своеобразное завещание одного поэта другому.

— Ты, Сергей, поэт! Это Рубцов тебе говорит. Вижу, любишь меня. Ну, и люби себе на здоровье, но от меня освобождайся. И чем раньше это случится, тем лучше. Не раболепствуй перед чужим: свое ищи. Каждый должен быть только самим собой. Верю, Сережа, в тебя я...

Николай любовно, как крылом, обхватил плечи Сергея Чухина, прижался к нему, и головы их сошлись, словно в клятвенном ритуале.

Пока не было квартиры, я жил в редакции. Нередко в вечерние часы ко мне заглядывал кто-нибудь из пишущей братии. А это было уже за полночь. Слышу — звонок. Открываю дверь: Рубцов. В бусой шапке, в летнем пальто и в валенках, без традиционного шарфа, но в теплом темном свитере: наступил декабрь.

— Заходи, заходи!

— Да... понимаешь, не спится. Ты извини меня, ладно?

— Какие могут быть разговоры!

— Всякие. А как же без них. Поговорить и зашел, — скаламбурил Николай. — Иду и вижу — «Маяк» горит. Вот так...

Он носками о дверной косяк околотил валенки, не спеша снял пальто, потом шапку, и мы прошли на кухню. Пока он раздевался, я отметил удобу тела, хоть свитер и делал его плечистее.

— Курить здесь можно?

— Конечно. А я сейчас сварганю чаек...

Мы пили чай с сахаром внакладку и молчали. За окном было темно, ветрено и зябко. Даже толстые казенные занавески и то, казалось, ежились от заоконной стужи. По затянувшемуся вступлению я понял, что на душе у Рубцова худо. Я вспомнил его приход от Виктора Астафьева, где, по его словам, он в пух и прах разругался, и подумал: не случилось ли подобное сейчас? Но излюбленное Рубцова «Ямщик, не гони лошадей» остановило меня от вопроса. И мы продолжали пить чай, причмокивая и поглядывая друг на друга, как обо всем наговорившиеся люди.

— Саша, ты как думаешь, не жениться ли мне?

— Разве в таком деле, Николай, можно присоветовать...

— Да я, наверно, не столько советуюсь, сколько общаю тебе об этом. Виктор Коротаяев тоже сказал: «Такое дело, старик, решай сам». Вот и решаю. И, кажется, уже решил. Тоска заленая порой обволакивает. Припадает тут одна ко мне, тешится пригреть мою продрогшую душу... А я о Гете вдруг вспомнил, о Лене... Да разве я не знаю, какой я человек? Знаю — неприспособленный к нормальной, в вашем понятии, человеческой жизни. Хотя кто может знать ее правильность и нормальность для меня? Кто? Боже мой! И Гета, и теща, наконец, прекрасные даже очень люди. Только будь я не поэт, а обыкновенный скотник на ферме — золотой человек, цены бы мне не было. Но разве я виноват, что родила меня мать поэтом? Поэт получился, а в мужья не сгодился. Завидую я нашим ребятам: и Белову, и Романову. Умеют собою оставаться и с женами ладить. Правда, у Василия Ивановича своя тоска — наследников нет. Но, может, и это все наладится. Пусть бы в его жизни все было хорошо. Я люблю этого человека и иногда чувствую себя мальчишкой под его апостольским взглядом. Он молодец, что быстро перешел на прозу. А я все рифмую жизнь свою. Но вот женюсь и серьезно возьмусь за прозу. Наверно, пора. Ты как думаешь?

— Хозяин — барин, — отшутился я, ибо понимал, что Рубцов задавал вопрос не столько мне, сколько себе.

— Это верно... Хочешь, стихи прочитаю?

Слушать его чтение я любил всегда, в любой обстановке, а тут — за окном ветер снежный, глубокая ночь, уют маленькой кухонки и взаимопонимание... Рубцов прочитал «Привет, Россия!», «Отцветет да поспеет» — это стихотворение он именовал песней — и «По мокрым скверам проходит осень».

Я попросил стихи для газеты.

— Завтра, вернее, сегодня принесу. Значит, понравились? — допытывался Рубцов, хотя все прекрасно по моим глазам видел. Но он хотел слышать, и я ублажил его нетерпение:

— Замечательные стихи! Прямо по-лермонтовски: «И пенья нет, но ясно слышу я незримых певчих пенье хоровое».

— Вообще-то по-рубцовски, но спасибо, хоть не посесински. А то все критики будто сговорились поссорить меня с Сергеем Александровичем, словно у меня своей фамилии нет или она менее благозвучна. Когда яснее ясного: есть Есенин и есть Рубцов, каждый на Руси сам по себе. Правда, к делу это не относится, но все-таки...

У меня настроение было чудесное. На душе будто трезвонили дорожные бубенцы. Николай проявлял чувства более сдержанно, но и с его души (было видно) спала темная пелена.

Скоро я пошел его провожать. Город затих в глубоком сне, и лишь на пятом этаже многооконного дома сиреневым светом горел один квадратик. Холодная пороша секла нам лицо, а мы стояли, вскинув голову навстречу манящему и возбуждающему воображение огоньку. Строили предположения, каждый, разумеется, свое. Договорились до того, что решили зайти к тому манящему свету, но одумались и двинулись дальше «в обнимку с ветром», вслушиваясь в ночную тишину.

На улице Яшина Николай чуть сбавил шаг и печально заговорил:

— Вот жизнь! Давно ли мы с Александром Яковлевичем по Вологде бродили, вникая в тайну человеческого бытия, когда и у дома Батюшкова стояли, и когда смотрели на, казалось, плывущие в небе купола Софийского собора, и когда гляделись в вечно волнующую

гладь реки. А теперь... Теперь хожу, и не только хожу, но и живу на улице Яшина, Александра Яковлевича...

Как выскочило — не знаю, но я сказал успокаивающе:

— Не переживай, Николай. Умрешь — и твоим именем улицу в Вологде назовут.

Рубцов остановился, заставил это сделать и меня и спокойно спросил:

— Ты уверен?

— Безусловно! — ответил я автоматически.

— Спасибо, Саша. Очень признателен...

До самого подъезда шли молча. Я терзал себя и казнил в душе, как мог. Но истинно сказано, что слово не воробей. И когда услышал голос Николая, радостно встрепенулся.

— Саша, в дом не приглашаю. Извини — там женщина...

Кто? Рубцов не сказал. Быть может, и та самая...

* * *

Никто не волен музыку земли
Улавливать так тонко, как поэт.
Никто, как он, в сиреновой дали
Не может видеть чудо-корабли,
Когда там даже утлой лодки нет.

Его корят за неприступный вид.
О нем трезвонит праздная молва.
А он не замечает. Он молчит.
Он, грустный, вдаль задумчиво глядит
Среди гостей в минуты торжества.

Что видит он? На месте парка пни?
Предательство подруги? Пир друзей?
Пожарами охваченные дни?
А может, видит яркие огни
У входа — бог мой! — в собственный музей.

К нему сюда однажды поутру
Сама любовь придет когда-нибудь.
(А может, это будет ввечеру...)
А он... из бронзы, стоя на ветру,
Не сможет даже головой кивнуть.

ТРЕВОЖНЫЙ ЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ

Волею деканата заочного обучения Литературного института имени А. М. Горького полтора года совпадали сессии нашего курса и того, на котором учился Николай Рубцов. Я познакомился с ним весной 1968 года. Незадолго до этого вышла его «Звезда полей». Многие увидели ее тревожащий, несуетно-ясный свет.

В общежитии литинститута Рубцов в то время редко бывал один. Странной силой искусства и человеческим любопытством к нему, как бабочек на огонь, притягивало многих, близких и не близких. Никогда он не заговаривал о своих стихах, с теми, к кому чувствовал близость, обходился просто, дружески, без превосходства. Кажется, у него и не было потребности напоминать о дистанции в «допущенном кругу» — те, кто понимал значение Рубцова, сами невольно держались ее.

Из рассказов Николая один невольно вырос позже в какой-то символ. По тому, как передавал его Рубцов, было видно, что и его самого волновало незначительное происшествие.

А было так. Рано утром он шел по еще безлюдной московской улице. По дороге сорвал цветок и так, с цветком в руке, поравнялся с пивным киоском. Там уже собиралась страждущая толпа. Какой-то серый, потерянный человек неотступно следил за ним. Не выдержал — подошел и сказал:

— Брось цветок!..

Не баловал поэта теплом человеческий космос. Как дерево, выросшее на пустыре, должно «помнить» все удары ветра, так и Рубцов из начала жизни вынес немало ссадин. Слабому в таких обстоятельствах недолго сломаться — детдомовский мальчик Рубцов в сокровенных глубинах выращивал собственный цветок любви и света. Чтобы оберегать его, уходили все силы души. Иногда их не оставалось.

Он был одним из немногих, кто в отношениях с людьми не знал «золотой середины». Равнодушие или неприятие чувствовал мгновенно, а здесь выходило наружу все то, что дало основание упрекать его в трудном характере. Но он был и другим, любил и ценил объединяющий дружелюбием юмор. Именно юмор, а не остроумную издевку. Мой сокурсник Валерий Христофоров, пылко и требовательно полюбивший поэзию и поэта Рубцова, написал пародийное подражание с характерными рубцовскими синтаксисом и интонацией:

Пришла весна...
Природу славят люди!
И ржавый плуг
вонзает в землю нож...
И я сказал,
что больше зим не будет!
Сказал — и сам поверил в эту ложь.

Когда он читал, имитируя голос, по-рубцовски рубя и всплескивая руками, Николай Михайлович, не созданный, кажется, для открытой улыбки, улыбался сдержанно. Немногие так преображаются, светлеют от улыбки.

Всегда потрясает незащищенность сильного. Утром, первой весной нашего знакомства, сидим на скамейке бесконечной аллеи — сквера по улице Добролюбова. Пьем, не торопясь, пиво — прямо из бутылок. Рубцов, насупившись, «прячется» в себя. Потом быстро поглядывает в мою сторону, продолжает разговор с непривычной ласковостью: «Лена... дочь у меня... Показывал ей ночью звезды... говорил о них. А утром выводит меня за руку на улицу. Смотрит на солнце, на меня, — не понимает: «А где же звезды?»

Молчит, улыбается дочери в Николе. И — с печалью:

— По радио стихи как-то передавали... Старая запись — дома-то не был давно. Она слушает и кричит: «Папа, папа! Ты когда приедешь?..

Умолкает теперь надолго, бродит настороженным взглядом по аллее, по лицам прохожих — опять в своем. Не мешаю. Вдруг на лице какой-то едва ли не страх — как будто был убежден в том, что увидит. Смотрю по взгляду: на скамеечной доске большими буквами вырезано «Лена».

— Так всегда! — вздыхает, мгновенно изменившись в недобром прищуре...

Он бывал резким. Иногда, раздраженный неумностью или пошлостью, поднимался из-за стола и, угрюмо сузив глаза, говорил, ударяя каждым слогом:

— Уходите все!..

И не одно болезненное самолюбие мирилось с этой вспышкой темнеющей души.

В поэзии Рубцова много грусти, трагических предвидений, но был ли он пессимистом в творчестве? Его печаль не подавляет, а возвышает душу.

В быту он пессимистом не был. В одном из застолий с гитарой, грустно настроенный его «Горницей» и стихами «Памяти Яшина», я предложил спеть тютчевское «Брат, столько лет сопутствовавший мне».

— Это уж очень печально, — сказал Рубцов. — Давай что-нибудь повеселее...

Он рассказывал: в Тотьме, во времена учебы в лесотехническом техникуме, они с друзьями ходили к разрушенной церкви. От нее остались только стены и внутренний карниз, прерванный проломом. Нужно было пройти по этому узкому карнизу и перепрыгнуть пролом. От высоты было жутко — не многим это удавалось. Ему, мальчишке, запомнилось счастье, когда у него получилось в первый раз.

Дерзость «хождения по карнизу» сопровождала его в литературе. Может быть благодаря этой «лирической дерзости» Рубцову в лучших стихах удалось вернуть слову пронзительную действенность, магическую силу чуть ли не заклинания:

Бегут себе, играя и дразня,
Я им кричу: — Куда же вы? Куда вы?
Взгляните ж вы, какие здесь купавы!
Но разве кто послушает меня...

После Рубцова нельзя писать по-прежнему. Многих, для кого слово было продолжением живой души, обожгло светом его поэзии. Творчески бороться с ним, осво-

бождаться от его обаяния, спасая индивидуальность, не каждому было под силу.

На майской сессии шестьдесят девятого года — последней в учебе Рубцова — мы с поэтом Валерием Христофоровым из Чимкента, прозаиком Яковом Погореловым из Саратова поселились вместе в одной комнате общежития института (почти во все предыдущие приезды Рубцов жил один). Присутствие Николая Рубцова превратило нашу комнату в какой-то перекресток — жизнь затихала лишь на несколько предутренних часов. Времени на учебу почти не оставалось. Экзамены ездили сдавать «на втором дыхании».

Как-то однажды он прочитал, очевидно, недавно законченные «Вечерние стихи» («Когда в окно осенний ветер свищет...»). После завершенной непосредственности «Звезды полей», графической четкости, лаконизма «Горницы» новые стихи показались необязательной данью форме, затянутыми от профессионализма. Что-то подобное я тогда же высказал. Он промолчал.

В ту ночь долго не спалось. Поздно пришел Николай Михайлович, лег, не зажигая света. Вдруг я услышал его тихий голос:

— Ты не прав... Я ведь стал писать по-другому. Не могу же я все время писать «Звезду полей». Ты ведь не знаешь всех стихов...

Его признание-утверждение «Я в жизни знаю слишком много» далеко от риторики, как и все, им сказанное. Его жизненный опыт, давшийся нелегкой ценой, сформировал мировоззрение. Знание — порой мучительное — собственных «промежуточных ступеней» помогло узнать людей.

...Незадолго до отъезда из Москвы я приглашал его на родину, в Оренбург. Он обещал приехать. В день отъезда вышел проводить нас до стоянки такси. Если бы знать, что видимся мы последний раз...

РУССКИЙ ОГОНЕК

Хлопотная работа — заведовать отделом поэзии в печатном органе: больно много людей пишут стихи, и каждый из них уверен, что именно его творения совершенны и неповторимы. На рукописи при определенных навыках отвечать просто. Но когда к тебе приходит живой человек и требует немедленной и, конечно же, благожелательной оценки своих виршей — что делать? Ежели не мобилизуешь всех знаний для убедительного ответа с привлечением цитат из Пушкина или Блока, из Есенина или Твардовского, то уходит разгневанный автор, прижимая к сердцу заветную тетрадочку, любовно переплетенную, куда каллиграфическим почерком вписаны вдохновения души, и в пылающих глазах его явно читает: «А ты сам кто такой?!»

Если это человек с профессией, как только что ушедший от меня доктор технических наук, приносивший поэму, где действуют Троцкий и Христос, Гражданин с Марса и князь Кропоткин, то, в общем, — ничего страшного. Человек при деле. Не пропадет... Но если пришел бедолага в пальтишке с обтрепанными рукавами, открыл старенький фибровый чемоданчик, вытащил груды измятых, несвежих рукописей и, обратив к тебе землистый лик, последней крохотной надеждой смотрит на тебя, потому что во всех журналах столицы отклонены труды его несладкой жизни, то смутно становится на ду-

ше и не хочется ссылаться в разговоре ни на статью Маяковского «Как делать стихи», ни на книжку Исаковского «О поэтическом мастерстве».

Вот приблизительно о чем думал я в один из жарких летних дней 1962 года, сидя за своим столом в редакции журнала «Знамя».

С Тверского бульвара в низкое окно врывались людские голоса, лязганье троллейбусных дуг, шум проносящихся к Никитским воротам машин.

В литинституте шли приемные экзамены, и все абитуриенты по пути в Дом Герцена заглядывали ко мне с надеждой на чудо. Человек по десять в день. Так что настроение у меня было скверное.

Критики Лев Аннинский и Самуил Дмитриев, сидевшие со мной в одной комнате, каждый раз, когда открывалась дверь, злорадно улыбались: «К тебе!»

Действительно — ко мне. К ним почти не ходили. Настроение было скверным еще и потому, что передо мной лежала жалоба — коллективное письмо читателей, на которое мне предстояло дать дипломатичный ответ.

В последнем номере журнала мы опубликовали несколько стихотворений И. Сельвинского под общим заголовком «Гимн женщине», и вскоре в редакцию стали поступать гневные письма. Стихи Сельвинского были не по душе мне самому, но письма читателей не нравились еще больше.

«Мы просто читатели. Прочитали в 6-м номере журнала «Знамя» стихи Сельвинского и удивились. Как они попали на страницы советского журнала? Неужели пришла пора, когда дана «зеленая улица» на страницах органа СП СССР занимающимся словоблудием и оскорбляющим достоинство советского человека?»

Когда пред высокой стоишь красотой,
Ощущаешь себя ничтожеством.

Это почему же советский человек, покоряющий космос, создающий своими руками прекрасные произведения искусства и полезные человеку вещи, должен чувствовать себя ничтожеством?»

Я перечитываю письмо, горюя о своей судьбе, но не могу ничего «дипломатического» придумать в ответ этим ярым читателям.

Заскрипела дверь. В комнату осторожно вошел молодой человек с худым, костистым лицом, на котором

выделялись большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза. На нем была грязноватая белая рубашка; выглаженные брюки пузырились на коленях. Обут он был в дешевые сандалии. С первого взгляда видно было, что жизнь помотала его изрядно и что, конечно же, он держит в руках смятый рулончик стихов.

— Здравствуйте. — сказал он робко. — Я стихи хочу вам показать.

Молодой человек протянул мне странички, где на слепой машинке были напечатаны одно за другим вплотную — опытные авторы так не печатают — его вирши. Я начал читать:

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог...
Там в избе деревянной,
Без претензий и льгот,
Так, без газа и ванной,
Добрый Филя живет.

Я сразу же забыл и о Сельвинском, и о письме пенсионеров, и о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверского бульвара. словно бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет; зашелестели номера журналов с несуществующими стихами, слетели со стола в проволочную корзину злобные письма и заготовленные за полгода вперед вороха поэтических подборок, взвихрились на затылках остатки волос у Льва Аннинского и Самуила Дмитриева.

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя! Что молчаливый?
А о чем говорить?

Я оторвал от рукописи лицо, и наши взгляды встретились. Его глубоко запавшие махонькие глазки смотрели на меня пытливо и настороженно.

— Как Вас звать?

— Николай Михайлович Рубцов.

К концу рабочего дня в «Знамя» заглянул мой друг Анатолий Передреев. Я показал ему стихи. Он прочитал. Удивился.

— Смотри-ка! А я слышу — Рубцов, Рубцов, песни поет в общаге под гармошку. Ну, думаю, какой-нибудь юродивый...

С того же дня и началось наше товарищество с Рубцовым вплоть до несчастного часа, когда январской ночью 1971 года меня разбудил звонок из Вологды.

— Стасик — ты? Это Василий Белов. — Он с трудом выговаривал слова. — Коли Рубцова... больше нет... Напиши срочно некролог в «Литературку»...

«18.XI.1964 г. Дорогой Стасик! Добрый день или вечер!»

Первые же слова этого письма, полученного мной почти пятнадцать лет тому назад из деревушки Николы Тотемского района, воскрешают в памяти облик Рубцова, его осторожные повадки, его недоверчивость к жизни и одновременно детскую незащищенность перед ней.

Я представляю, как он написал «Добрый день» и вдруг подумал: а почему день? Ведь письмо может прийти в любое время суток! И довольно, по-детски, хохотнув от неожиданной мысли, дописал «или вечер». Вообще в его понимании литературы было нечто непосредственное, иногда помогающее ему неожиданно по-новому взглянуть на какие-то репутации, стихи и даже строчки. Помню, как он вдруг услышал в словах широко известной песни некоторую комическую несуразность и с увлечением повторял: «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда!»

Очень забавляло его то, что «среди упорной борьбы и труда» (сама неграмотность этой фразы — «среди труда», «среди борьбы» — казалась ему почти трогательной) можно «петь и смеяться, как дети».

«18.XI.64. Добрый день или вечер! Я опять пропадаю в своем унылом далеке, в селении Никольском, где я пропадал целое лето. Это, как я тебе уже говорил, один из самых захолустных уголков Вологодской стороны, — в прелестях этого уголка я уже разочаровался, т. к. нахожусь здесь не уединение и покой, а одиночество и такое ощущение, будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват и передо мной тоже. Все это я легко мог бы объяснить с психологической стороны не хуже Толстого (А что! В отдельных случаях этого дела многие, наверно, могут достигнуть Льва Толстого: и мелкие речки имеют глубокие места. Хотя в объеме достигнуть его, Толстого, глубины — почти немыслимое дело), повторяю, мог бы и объяснил бы, если бы я не знал, кому пишу это письмо...»

Какое знакомое, чисто русское понимание жизни дик-

тует Рубцову эти размышления! Вроде бы «чувствую смертную связь», но чувство, достигнув своей вершины, неизбежно подходит к грани, за которой начинается недовольство собой и миром. С этим законом души человеческой связаны и все кровоточащие есенинские противоречия: «Как бы я и хотел разлюбить, все равно не могу научиться». Стоит только вдуматься в эти слова: «хотел разлюбить»...

Судьба не была ласкова к Николаю Рубцову. Она наложила на его характер печать замкнутости, угрюмства и недоверчивости, но его природная открытость все время боролась в нем с этими свойствами.

Тот, кто встречался с ним, не забудет, как Рубцов пел свои песни. Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощенности. Но чтобы раскрепоститься, Рубцов должен был обязательно выпить, как он говорил, «вина». Вот тогда-то он брал в руки обшарпанную гармошку или гитару, склонял голову с прядью редких волос, зачесанных на лоб, и, рванув меха, начинал не петь, а плакать, равномерно раскачиваясь:

П-о-о-тону-ула во мгле
Отдалё-о-о-нная при-и-истань...

Вся жизнь с ранним сиротством, с деревенским детдомом, со скитаниями по России-матушке, с вечной бездомностью, с тоской по близкой и не встретившейся на житейских дорогах душе, — изливалась под скрипучие звуки разбитой гармошки.

На меня надвигалась
Темнота закоулков,
И архангельский дождик
На меня моросил...

Но инстинктом истинного поэта Николай Рубцов знал, что в поэзию нельзя безнаказанно впускать все темное, озлобленное, измордованное и желчное, что порой овладевает человеком. Он знал главную истину — душа поэта на то и дана ему, чтобы высветлять и очищать жизнь, обнаруживая в ней духовный смысл и принимая на себя несовершенство мира. Потому-то, когда этот песенный плач достигал предела, Рубцов устало смягчал голос, грустно и спокойно заканчивая:

На тревожной земле
В этом городе мгlistом

Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек.

Это было не исполнение, а самозабвение.

«18.XI.1964. ...Мое здесь прозябание скрашивают кое-какие случайные радости, на которые я не только способен, но еще и люблю их, и иногда чувство самой случайной радости вырастает до чувства самой полной успокоенности. Ну, например, в полутемной комнате топлю в холодный вечер маленькую печку, сижу возле нее — и очень доволен этим, и все забываю».

Вспоминаются его стихи:

...Со мною книги и гармонь
И друг поэзии нетленной —
В печи березовый огонь!

Но все равно каким-то крещенским холодом веет от этой идиллии!

«18.XI.64. ...Я проклинаю этот божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить?»

Дошел я до этого места в письме и вспомнил еще одно стихотворение Рубцова — он тоже пел его под гармошку. Рубцов мало рассказывал о своей прошлой жизни даже близким ему в Москве людям, и то, что у него в деревне остались жена и дочка, я впервые узнал из песни: «Я уеду из этой деревни...»

В первоначальном варианте стихотворение содержало на одну строфу больше. Впоследствии поэт эту строфу выбросил, считая, по справедливости, ее лишней, но она кое-что объясняет в его тогдашнем состоянии:

Ты не знаешь, что ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой настигающий топот
Все мне слышится, словно в бреду...

Топот его «черного человека» слышался?

Ко времени, когда мы сблизились с ним, нервы поэта (а ему еще не было и тридцати) были уже весьма изношены. Угрюмое и молчаливое состояние, из которого

он выходил лишь при встрече с понимающими его людьми, часто прерывалось вспышками внезапного гнева. Тогда маленький и щедедушный Коля мог схватить стул и замахнуться на какого-нибудь обидчика.

Вот и в письме, которое я цитирую, речь идет об одном из таких скандалов.

«...Вспоминаю иногда последний вечер в ЦДЛ. Ты, Стасик, вел себя прекрасно. Я не очень. Но иначе повести себя не мог и переживал, конечно, это. Ты знаешь, что я всячески старался избежать шума, как страшно неудобно мне перед некоторыми хорошими людьми за мои прежние скандальные истории...» (Чаще всего из «этих историй» Рубцова вызволял Александр Яшин. — Ст. К.).

Скандал разразился из-за того, что один хлыщеватый разодетый молодой поэт, и поныне успешно сочиняющий всякую дребедень для Мосэстрады, и его куда-то пропавшая с горизонта, но тогда годами протиравшая джинсы в московских ресторанах, спутница сделала несколько насмешливых замечаний по поводу Рубцова и его стихов — столики наши были рядом.

«18.XI.64. ...Хорошо, я думаю, что я «завелся» тогда не до конца, а сдержался, надеясь на молниеносный нокаут Игоря (Шкляревского. — Ст. К.), на который, говорят, он способен. Пусть не было нокаута, но если бы я тогда ввязался сам, все — я уверен — закончилось бы милицией и шумом... Между прочим, Стасик, я написал тебе еще к празднику, но оно осталось неотправленным — и слава богу! В нем нет ни слова в связи с этой глупой историей, а мне хотелось бы кое-что узнать у тебя: что было потом в институте? Я тут же тогда уехал и не знаю, исключили меня опять из института или, может быть, нет...»

Вот так и жил он в свой «московский период», то уезжал на Вологодчину, в Николу, то возвращался, гонимый тоской и безденежьем из милого захолустья в сверкающий столичный город, который никогда не верил, да и до сих пор «не верит слезам».

Цену себе как поэту он знал, и во всем его облике и поведении нет-нет да проскальзывало то смирение, что «паче гордыни». Любил поэзию Владимира Соколова, правда, в минуты раздражения называл его дачным поэтом, ценил стихи Анатолия Передреева, Глеба Горбовского.

Еще в студенческие времена, забредя в букинистический магазин на улице Горького (сейчас на этом месте высится новое здание гостиницы «Националь»), я купил изящное издание стихотворений Тютчева конца прошлого века в парчовом с золотым шитьем переплете.

Тютчев, а не Есенин, как казалось тогда многим, был любимым поэтом Рубцова. Знал он его стихи наизусть и часто читал вслух. А стихотворенье «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» даже пел на свой протяжный мотив.

Как-то Рубцов уезжал из моего дома в ночь, и мне захотелось принести ему какую-нибудь маленькую радость. Я подарил ему эту книжку, будучи уверен, что Рубцов с его безытностью в скором времени обязательно потеряет ее. Но друзья из Вологды рассказывали, что книга всегда была с ним в последние годы, а после смерти ее нашли в его скудной библиотечке. Видимо, он дорожил ею.

В деревенской жизни среди необходимой и ежедневной работы зависимость жизни от труда всегда была нагляднее, чем в городе, и мир простых, но сильных ощущений, неизбежного терпенья, частых лишений, единства с рекой и пашней — он и есть мерило общественной основы в поэзии Рубцова.

Власть этого мира над душой поэта была сильна. Все, что так привлекло нас к его поэзии, возникало в ней, когда он склонялся перед ним, с любовью ощущая в этом смирение «свою неволю и свободу». И даже тогда, когда ему хотелось взбунтоваться против своего же смирения, он снова натывался на роковое и любимое слово «связь»:

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...

Жажда странствий в юности владела его душой, и он отдал этой страсти щедрую дань, как и многие сверстники. Его стихи о море образуют мажорную ноту, в которой, однако, уже можно услышать неясное желанье возвращения:

Я, юный сын морских факторий,
Хочу, чтоб вечно шторм звучал,
Чтоб для отважных — вечно море,
А для уставших — свой причал...

С годами гул морей и звуки шторма, и лихое веселье легкого на подъем человека окончательно уступили место речам, полным лирической правды:

Острова свои обогреваем
И живем без лишнего добра,
Но всегда с огнем и урожаем,
С колыбельным пеньем до утра...

Я не стану утверждать, что жизнь современной русской деревни только такова и никакая больше, но несомненно, что в ней есть духовный материал, который сильнее других сторон привлекал к себе Рубцова. Лирический поэт вправе видеть жизнь такой, какой он хочет видеть ее. Состояние его души сливается с родной природой, с преданиями родины, с атмосферой ее бытия, и это слияние образует удивительный мир, в меру условный (но в меру и существующий). Это мир размеренной и необходимой работы, мир тихих лесных дорог северной Руси, долгих осенних дождей, от которых разливается река.

...Спасали скот, спасали каждый дом
И глухо говорили: — Слава богу!
Слабеет дождь... вот-вот... еще немного...
И все пойдет обычным чередом.

А ведь именно присутствием своего мира отличается истинный поэт от версификатора, пишущего стихи от случая к случаю.

Лирический поэт пишет стихотворение, когда какое-то впечатление от жизни нарушило его нетворческий покой, пишет для того, чтоб усилием сердца при помощи творчества вернуть утраченное равновесие. Если бы можно было зафиксировать этот процесс, то сейсмограф выписал бы кривую, подобную той, которая образуется при подземных толчках: возбуждение, усилие сердца, исход, покой...

Рукой раздвинув
 темные кусты,
Я не нашел и запаха малины,
Но я нашел могильные кресты,
Когда ушел в малинник за овины...
.....
Пускай меня за тысячу земель
Уносит жизнь! Пускай меня пронесит
По всей земле надежда и метель,
Какую кто-то больше не выносит!

Мать — это словно вся прошлая жизнь, постепенно отдаляющаяся от человека, туманная память, золотая дымка... Это кровная связь, источенная временем до состояния духовной, связь, ничего не требующая, лишенная житейской эгоистической энергии, возникающей в отношениях жены и мужа, отца и сына.

Один из моих знакомых, старый помор, тяжело заболел в городе, решил уехать в родную деревню. Умирать. На вокзале, прощаясь с друзьями, он сказал старую поморскую поговорку, которой, наверное, сотни лет:

— Отцов, как псов, а мать одна...

Не потому ли так бескорыстно звучат слова Рубцова о матери:

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

У иных поэтов и любовь к родине относится к числу таких же духовно высветленных чувств, потому что необъятность понятия родины, его нереальность житейская, ведущая к несвязанности, к свободной жизни ума и сердца, наполняют существо поэта любовью и благодарностью особого свойства. «Родина — древнее, бесконечное древнее существо, большое... И самому ему не счесть никогда своих сил, своих мышц, своих возможностей, так они рассеяны по матушке-земле» (А. Блок).

Такая, ни к чему житейскому не обязывающая любовь своеобразна еще и тем, что не имеет грубой материальной практической связи с судьбой поэта в личном смысле слова, и стихи, продиктованные этим чувством, лишены малейшего эгоистического оттенка...

Но мое лирическое отступление имеет отношение, так сказать, к идеальному развитию поэтической натуры, чего в жизни в чистом виде почти не бывает. На деле — многое волновало душу поэта Рубцова и заставляло его определять в себе стороны своего дарования, близкие по свойствам к гражданской стихии.

Время вторгалось в его мир и приказывало ему, как и всем нам, делать выбор:

Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня же терзают грани
Меж городом и селом...

Это уже крик, заставляющий с сомнением отнестись к утверждениям критиков о том, что Рубцов — «тихий лирик».

Плыть! Плыть! Плыть!
Мимо церковных рам,
Мимо могильных плит,
Мимо семейных драм.

Я не слышу в этой поэзии ничего тихого. В ней есть широкое движение и вопрос, благословение и протест, мятежный крик и саркастическая улыбка, а главное, что в ней совершенно нет ощущения житейского благополучия, и ветер — любимая земная стихия Рубцова — со свистом гуляет по ее страницам...

Спасибо, ветер! Твой слышу стон.
Как облегчает, как мучит он!
Спасибо, ветер! Я слышу, слышу!
Я сам покинул родную крышу!..

Какая же здесь тихая лирика? Для меня она громче и драматичнее всех эстрадных голосов, потому что они звучат только тогда, когда их обладатели стоят на подмостках, а лирика Рубцова звенит в русской поэзии, несмотря на безвременную смерть поэта, и долго еще будет слышен ее надтреснутый звон для тех, кто слышит.

В то время, когда одни критики упрощают от «большой любви» все, что существует в русской классической традиции, а другие успешно борются с этими упрощениями, поэзия, подобно сказочному колобку, ухитряется и «от бабушки уйти», и «от дедушки уйти» — чтобы жить по своим законам.

Я не найду термина для гражданственности поэзии Рубцова, но определяю ее многословно, как чувство общности с миром, с древними нравственными началами, с существующей испокон веков основой, которую должна ощущать любая человеческая общность. В этом узле тесно увязаны добро и справедливость, человечность и милосердие. Они венчают подобную систему представлений о жизни. «Гражданственность» же — термин более молодой, возникший в русском языке со времен французской революции, — конечно, не в силах объять эту расплывчатую, не поддающуюся точным определениям стихию. Но они, конечно, состоят друг с другом в исторической связи (что и позволяет мне говорить о своеобразии гражданственности Рубцова). Только

одна стихия старше, шире, расплывчатей; другая — мо-
ложе, определеннее, понятнее. Но, повторяю еще раз, —
они не противоречат, а дополняют друг друга, и вторая
не может существовать без первой.

Вадим Кожин в своей книге «Николай Рубцов»
(кстати, это первая и замечательная книга о поэте)
приводит слова из предисловия к рукописи, которую
поэт — как свое избранное — составил в 1962 году. «Чет-
кость общественной позиции поэта считаю не обязатель-
ным, но важным и благотворным качеством. Этим каче-
ством не обладает в полной мере, по-моему, ни один из
современных молодых поэтов. Это есть характерный
знак времени. Пока что чувствую этот знак на себе».

Недаром Рубцов, поэт очень чуткий к слову, в одном
из стихотворений, где речь идет о похоронах, пишет о
покойнике так:

Он в ласках мира, в бурях века
Достойно дожил до седин,
И вот... хоронят человека...
— Снимите шапку, гражданин!

Для Рубцова нельзя было написать «И вот хоронят
человека — снимите шапку, человек!» или «И вот хоро-
нят гражданина — снимите шапку, гражданин!», потому
что усопший перешел из гражданского, мирского лона —
в лоно земное, общечеловеческое, а провожающий его
сам еще весь в «бурях века», его уместнее назвать
«гражданином», он еще дышит гражданским воздухом,
и ему рано подводить жизненные итоги.

Немало несовершенного можно найти в книгах Руб-
цова. Иногда он бывал наивен, иногда высокопарен, по-
рой банален. Но чего невозможно найти в его поэзии —
так это недуга, может быть, самого разрушительного для
искусства: вируса неправды. О непережитом он не писал.
Вспоминаю, что в наших разговорах и спорах, оцени-
вая чьи-либо стихи, он часто говорил:

— Стихи не лирические!

Это было самым суровым приговором. «Не лириче-
ское» для него означало — не живое, безличное, не свое,
лживое, не поэтическое... Нюх на «лирическое» и «не ли-
рическое» у Рубцова был абсолютный. Да и, в конеч-
ном счете, смысл его появления в русской поэзии сво-
дится, наверное, к напоминанию о том, что «лиризм» как
понятие, противоположное театральности, не покинул ее
и никогда не покинет.

Один из критиков заметил как-то в разговоре со мной: «Ну, что это!? «Меня все терзают грани меж городом и селом!» — давно об этом сказал Есенин, и незачем повторяться...» Да, Есенин сказал об этом первый. Сказал гениально. Но ведь стирание граней — дело не простое. Декретом о земле или фактом коллективизации одним махом грани не сотрешь. Все решает течение жизни, появление новых поколений. А жизнь рождает новых поэтов.

История повторяет в течение десятилетий один и тот же вопрос, сначала — экономической или политической гранью, потом — нравственной, потом — эстетической. Если бы Есенин все мог сказать — какая бы тогда нужда была в Исаковском или Твардовском? Какая нужда тогда была бы в появлении Николая Рубцова, истинно народного лирика, с такой концентрацией лиризма, от которой за последние полтора-два десятилетия наша поэзия уже успела как-то отвыкнуть?

Душа матроса в городе родном
Сперва блуждает будто бы в тумане:
Куда пойти в бушлате выходном
Со всей тоской, с получкою в кармане.

Одиночество юноши в мире послевоенного растерзанного быта, одиночество человека, которого ветер времени оторвал от родимой почвы, — все это влекло Рубцова к невеселым прозрениям.

Я умру в крещенские морозы,
В страшный час, когда трещат березы,

предсказывал он себе свою судьбу. Он был упорен, этот физически слабый и сильный духом человек, потому что всю жизнь с крестьянской дотошностью искал «зацепку за жизнь». Этой зацепкой и стало его постоянное ощущение в душе добра и все нарастающее к концу жизни чувство родины.

В этой деревне огни не погашены,
Ты мне тоску не пророчь, —

спорил поэт со своим «черным человеком».

Якорями спасенья на пути Рубцова были то «скромный русский огонек», то «звезда полей», то «державный Московский Кремль», с «его таинственными звонами», то «великие тени из царства русской поэзии».

Думая об искреннем и тревожном пути поэта, я вспоминаю блоковское: «Простим угрюмство. Разве это сокрытый двигатель его?» Недаром в одном из лучших стихотворений Николай Рубцов, словно бы завещая «грядущему юноше» свое бескорыстие, пишет:

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда.

Хочу еще раз обратить внимание на то, что одним из любимейших слов Рубцова было слово «связь». Вырос он не под грохот строительных площадок, не под лозунгами индустрии, а на сухонских берегах и в северных лесах, в мире, где человек с первых дней своих запоминает зависимость снега и урожая, земли и песни, матери и сына — «самая жгучая, самая смертная связь».

Его патриотическое чувство сказывалось и выливалось не в злободневных и быстрых откликах на вопросы времени, а в поисках живой человеческой связи с природой, с историей, в нащупывании необходимых устоев любви и добра в их широком, издревле национальном смысле слова.

Недаром в одном из самых программных, если можно сказать так о его жизни, стихотворений — «Русский огонек», вспоминая о таком незабываемом историческом событии, как прошедшая война, поэт разговаривает с русской женщиной-матерью, у которой в душе испепелено чуть ли не все, кроме самого главного — материнского начала, без коего немислима никакая связь жизни, и опирается именно на него:

Огнем, враждой земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет...
— Скажи, родимый, будет ли война?
И я сказал:
— Наверное, не будет.

А русский огонек, едва брезживший в зимнем поле, становится для него символом надежды и добра, маяком спасения и связи между людьми Земли, и поэт приносит ему благодарность:

За то, что с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, — и нет тебе покоя...

Со дня нашего знакомства на Тверском бульваре Рубцов стал для меня одним из необходимых поэтов. Ощущение того, что где-то живет и пишет Николай Рубцов, поддерживало меня — да и не только меня — в нерадостных порою раздумьях о судьбах нашей поэзии. Не раз он приглашал меня в свою деревню Николу, но, как всегда, не нашлось времени, и, вместо того, чтобы приехать к нему в 1964 году, я написал стихи, вошедшие в книгу «Метель заходит в город».

Если жизнь начать сначала,
В тот же день уеду я
С Ярославского вокзала
В вологодские края.

Перееду через реку,
Через тысячу ручьев
Прямо в гости к человеку
По фамилии Рубцов.

Если он еще не помер,
Он меня переживет.
Если он ума не пропил —
Значит, вовсе не пропьет.

Я скажу, мол, нет покою
Разве что с тобой одним.
Я скажу, давай с тобою
Помолчим-поговорим...

С тихим светом на лице
Он меня просветит взглядом.
Сядем рядом на крыльце,
Полулюбимся закатом.

Мы как-то понимали друг друга без лишних слов или с полуслова; несмотря на его тяжелый характер — ни разу не поссорились, и нам всегда было приятно встречаться друг с другом после долгих расставаний.

Когда Рубцов получил в деревне мой сборник с этим стихотворением, посвященным ему, он ответил мне следующим письмом:

«Добрый день, Стасик! Письмо твое получил, повеселился над твоими веселыми стихами и вот написал на них ответ. Желаю тебе здоровья и всех радостей. С приветом, Коля».

Дальше шло его шутовское посланье: «Ответ Куняеву (некоторые соображения на тему «Если жизнь начать сначала»).

Если жизнь начать сначала,
Все равно напьюсь бухой
И отправлюсь от причала
Вологодчины лихой.
Знайте наших разгильдяев!
Ваших, так сказать, коллег!
— Где, — спрошу я, — человек
По фамилии Куняев?
И тотчас ответят хором:
— Он в Москве! Туда катись!
И внушат, пугая взором:
— Там нельзя греметь забором
И шуметь по коридорам:
Он описывает жизнь!
И еще меня с укором
Оглядают: — Опасный вид!
Мол, начнет греметь забором,
Да шуметь по коридорам,
То-то будет срам и стыд!..
Гнев во мне заговорит!
И, нагнувшись над забором,
Сам покрою их позором,
Перед тем спросив с задором:
— Кто тут матом не покрыт? —
Кроя наших краснобаев,
Всю их веру и родню,
— Нужен мне, — скажу, — Куняев,
Вас не нужно — не ценю!
Он меня приветит взглядом
И с вопросом на лице
В цедээловском дворце
Помолчим... с буфетом рядом!

«18.XI.64. ...Стасик, а что у тебя нового?

Между прочим, это такой вопрос, от которого я нередко теряюсь и не знаю, что сказать. Знаю, что не только я один. Но каждый раз, если речь заходит о настоящих людях, мне любопытно узнать, как они там где-то проживают, всегда хочется пожелать им всего хорошего, — вот поэтому и вопрос о них, или им, или ему (сейчас тебе) — что нового?

Тебя, наверное, уже утомило это болтливое письмо? Еще одно последнее сказанье... Хотелось бы мне узнать, решена ли судьба (пусть частично) тех моих стихов. Мне надо знать об этом, потому что пока не знаю и не могу распоряжаться ими, стихами, как хочу. Да и кое-какие из них я, кажется, немного улучшил, а некоторые вообще зачеркнул (в голове своей), а это тоже имеет значение, если стихи все-таки пройдут... Вот у меня пока все.

Передай, пожалуйста, привет и самые добрые пожелания Гале, Гале Корниловой, Толе, Игорю, а также, если встретишь их, Володе Соколову, Вадиму Кожинову.

До свиданья! С приветом и любовью Н. Рубцов.

Слякоть, осенний ледоход, снег, дождь. Надеюсь, что напишешь мне».

Вот я и написал. Не ему, а о нем.

* * *

Отзовется острой болью слово,
Что болело в жизни о живом.
Для меня поэзия Рубцова —
Будто что-то обо мне самом.

И ничто не выразит иначе,
Чем полет рубцовских журавлей,
Почему смеемся мы и плачем,
И не можем без земли своей.

И опять открою тонкий томик...
И покажется в ночной тиши,
Что засветит ясно из потемок
Русский огонек его души.

ПАХЛО НЕКОШЕНЫМ КЛЕВЕРОМ

В жизни каждого человека были лучшие дни, которые, вспомнив, хочется долго хранить. Для того и хранить, чтобы вздохнуть тишиной былого, принимая ее душой как самый бесценный подарок. Припоминая такие дни, я вижу воспетую Николаем Рубцовым деревню Николу, в которой смешались большие и маленькие дома. Вижу расшатанные заборы, березы с тяжелым навесом листвы. Вижу зеленый угор с черной баней, тропинкой и огородом. Вижу бревенчатую избушку, одно оконце которой светло и грустно смотрит с пологого ко-согора в сторону маленькой речки Толшмы.

Былое вдруг придвигается близко-близко, и я рассматриваю его, будто утро мелькнувшего дня. Утро, которое пронеслось сквозь двенадцать лет со скоростью мысли.

А было то утро влажное, голубое, словно вымытое в реке и подсыхавшее на припеке. Пахло некошеным клевером и гвоздикой. По крайнему к Толшме посаду я подошел к плоскокрышей избе с крыльцом, заросшим крапивой и лопухами. Что позвало меня сюда? Да, конечно, письмо!

И вот я на крылечке старого дома. Войдя через сени в полую дверь, слегка удивился. В комнате был такой беспорядок, какой невозможно вообразить. На полу ва-

лялись клочья бумаг, салфетка с комода, будильник, железные клещи и опрокинутый набор горшок с домашним цветком. На столе — какие-то распашонки, тут же чугунок с вареной картошкой, бутылочка молока и детский ботинок. Из горенки послышался младенческий крик, а вслед за ним с крохотной девочкой на руках выплыл и сам Рубцов. Был он в шелковой белой рубашке, босиком. Перекинутый через лоб жидкий стебель волос и мигающие глаза выражали досаду на случай, заставивший его сделаться нянькой.

— Это Лена моя! — улыбнулся Рубцов и посадил притихшую дочку на толстую книгу. — Гета с матерью ушли сенокосить, а мы пробуем прибираться. Вернее, пробует Лена. И я ей все разрешаю!

— А для чего?

— Маленьким надо давать свободу, — сказал Николай. — Пусть делают, что хотят. И потом, ты знаешь, ей так нравится беспорядок!

При этих словах по полу с грохотом прокатилась бутылка с красной наклейкой, которую Лена нашла под столом, хотела взять в свои руки, но та не далась и вот крутилась сейчас у порога. Николай рассмеялся:

— Вот видишь! У нее страсть к разрушению!

— Но так и хорошее можно что-нибудь изломать?

— А вон! — показал Николай на ручные часы, вернее, на то, что было когда-то часами, а теперь валялось в углу с разбитым стеклом и покореженным циферблатом. — Еще утром ходили. Но я ей дал поиграть...

— Теперь без часов вот остался?

— А что мне часы! Без них даже лучше. Спешить никуда не надо. Живи, как подскажет тебе настроение.

В небольшой светлой горенке, где порядка было не больше, Николай отглаживал брюки, но мой приход на минуту его отвлек.

— Сейчас Гета с матерью придут с сенокоса, — сказал он, снова включая утюг, — и мы с тобой обязательно погуляем. Я тебя познакомлю с моей Николой. Ты ведь здесь бывал только раз?

— Только раз.

— Ну и отлично! — Он прижал утюг к мокрой марле, и марля с шипением закурилась. — Вчера ходил на покос, да попал под ливень. Вот и приходится гладить...

В кухне, откуда мы с Николаем ушли, раздалось какое-то дребезжание. Я метнулся было туда.

— Не надо! Это Лена будильник катает. Пусть!

В горенке вдруг посветлело, и по стене, где висел портрет молодого Есенина, порхнула куделька лучей. А минуту спустя солнышко всплыло в оконце, как огромная белая рыба.

— На, пока почитай! — Рубцов протянул мне стопку листов.

Я повертел их туда и сюда, но ничего не увидел и изумился:

— Но они же все чистые?!

— Ах, да! — вспомнил Рубцов. — Ведь я их в журнал отправил.

— Черновики-то всяко остались?

Николай выдернул из розетки шнур утюга.

— Черновики у меня редко когда бывают. А у этих стихов не было вообще.

Я вновь изумился:

— Но как же процесс сочинения? Ведь ты же сидишь за столом и, наверное, пишешь ручкой?

— В том-то и дело, что не пишу. А если пишу, то обычно без ручки.

— Но бывают же дни, когда работа в голову не идет?

— В такие дни я не пишу...

Николай надел брюки и, подойдя к кровати, заправленной байковым одеялом, выдвинул из-под нее чемодан. Когда стал рыться среди бумаг, я разглядел угол какой-то морской газеты. Взял ее и только успел развернуть и прочесть «Стихи Николая Рубцова», как услышал:

— Не тронь! Это худые стихи. Я писал их во время службы на корабле. До сих пор не пойму: почему я их сохранил?

Николай схватил у меня газету, с удовольствием смял и, открыв дверцу печки-голландки, бросил туда, а потом зажег спичку и подпалил. Вернувшись к раскрытому чемодану, он вынул книгу в желтом потрепанном переплете — «Сочинения Ф. И. Тютчева». Подавая ее мне в руки, сказал:

— Вот поэт! Сильнее его я не знаю!

— А Пушкин?

— Они друг другу равны.

— А Есенин?

— Он тоже великий поэт.

Николай задумался, и лицо его стало немного мрачным и беспокойным. Потом вдруг тихо, повернувшись ко мне, повеселевшим голосом пообещал:

— Свои стихи я тебе вечером напишу. А сейчас погуляем! Вон сенокосцы идут! — кивнул на проулок, по которому в белых платьях и белых платках шли мать и бабушка крохотной Лены.

— Сначала купаться! — сказал Николай, спускаясь по склону среди колокольчиков и ромашек. И я увидел на загорелом его лице праздничную улыбку, а в карих глазах что-то ласково-легкое, игравшее радостью и приветом.

— Иди скорее сюда! — кричал Рубцов от самой воды, куда пробрался сквозь мощные заросли краснотала. — Я тебя подожду! Здесь так хорошо! Как в раю! Ну что же ты там задержался?

Перед нами лежала Толшма. Речка мерцала зеленым покоем, была неподвижна, ленива; казалось, вся рыба, какая в ней есть, заснула и больше уже не проснется. Но вот Николай прыгнул в маленький омут — и вода пробудилась: вскипели на ней веселые всплески, и где-то у самого дна заскользили, как тени, серые рыбки. Уж так Николай плескался, махал руками, кричал и шумел! Забирался на изгородь или камень и летел стремительно вниз, пробивая руками и головой сомлевое плесо. Я едва успевал щелкать своим «Зенитом».

Накупавшись, мы пошли вдоль реки. Я спросил:

— Ты о Толшме чего-нибудь написал?

Но он не ответил. Лишь посмотрел на меня каким-то далеким-далеким взглядом и снова направился вдоль реки. Я уже и забыл о своем вопросе, как Николай неожиданно сел на коряжку и улыбнулся, как человек, который что-то нашел и хочет найденным поделиться.

— На реке, — сказал Николай.

Я не понял:

— Что на реке?

Рубцов улыбнулся:

— Так называется стихотворение, которое я только что сочинил. Хочешь послушать?..

Николай закурил, выпустил изо рта облачко дыма.

Реки не видел сроду
Дружок мой городской,
Он смотрит в нашу воду
С любовью и тоской.

Вода тепло струится.
Над ней томится бор, —
Я плаваю, как птица,
А друг мой, как топор.

Прочитал и немедленно рассмеялся:

— Это не ты, Сережа! Ты не подумай! А впрочем, ты мне помог хотя бы тем, что долго не соглашался купаться. И я вдруг увидел в тебе того городского дружка.

— Значит, экспромтом?

— Экспромтом!

У меня было такое странное ощущение, будто сделано возле нас что-то хорошее, очень удачное, но как-то внезапно сделано, и к этому надо еще привыкнуть.

Любовь к воде у Рубцова была неистребимой. Все время его тянуло или к какому-нибудь ручью, или к колдцу с брусчатым колесом, или к болотцу. Вечером, рассуждая о том, о сем, мы шли куда-то без всякой цели, лишь бы рассеяться, прогуляться. Белела луна, поливая неярким светом свежескошенные луга, огороды и избы, бревенчатый мост через речку, кусты. Мы шли под ветвями черемух, между картофельных гряд, по красневшим в траве кирпичным обломкам и были приятно удивлены, когда перед нами возникла Толшма, огромным своим коленом обегавшая холм села. Белый песок, кривые, как петушиные ноги, корни надречного краснотала, дремавшие на воде чашечки желтых купав — все здесь дышало чем-то старинным и русским. Стояла такая тишь, что слышно было, как шевелилась трава, по которой, словно сквозь лес, пробирался желтый цыпленок. Мы запалили костер и стали смотреть сквозь огонь на далекие силуэты деревьев. Я сказал:

— Слышу детское пение.

— Где? — удивился Рубцов.

Я показал в сторону уродливых корневищ, черневших на том берегу реки. Там слегка колебалась листва, в которой порхала безмолвная птица. И вдруг при свете луны, за кустами, около леса возникла избушка с железной трубой, из оконца которой, будто седые старушечьи волосы, плыли пряди тумана. И я выкрикнул. Выкрикнул то, во что так мне хотелось верить:

— Это же ведьмы! Это они поют детскими голосами! Они же по-детски и плачут!

Николай тоже взглянул туда, где повиделась мне избушка, потом перевел взгляд на костер, а после — вверх,

на зыбкий небесный зенит, на котором, как клюква среди болота, алели редкие звезды. Мы долго лежали между огнем и водой, и на душе было возвышенно и светло. Затем Николай привстал, поправил костер, прикурил сигарету и вдруг, ничего не сказав, ушел в темноту. Я слышал шорох шагов, удалявшихся по песку, видел горевшую ягодкой сигарету, которая то поднималась, то опускалась. Вернулся Рубцов не скоро: в глазах смущенное удивление, будто нашел что-то очень ему дорогое.

— Знаешь, — сказал он, — я завтра за рыжиками пойду! Оставайся еще на денек! Вместе и сходим!

Три дня я провел с Рубцовым в Никольском, встречаясь с его друзьями, купаясь в реке, бродя по скошенным поймам, холмам, погостам и косогорам. И было такое чувство, будто я прожил здесь годы. Уезжая на мотоцикле, долго оглядывался назад — на высокую изгородь вдоль проселка, на которой сидел Николай с поднятой сверху рукой.

Через несколько дней из Николы пришло письмецо, потом другое — с поправками стихов, которые предполагалось опубликовать в районной газете, и еще одно — после публикации. Рубцов снова звал к себе, и очень хотелось поехать в Николу. Но уехать было нельзя, и я уходил на реку, глядел на желтые от берез берега, на кричащие стаи грачей, на мальчишку с удочкой в лодке и нашептывал:

У сгнившей лесной избушки,
Меж белых стволов бродя,
Люблю собирать волнушки
На склоне осеннего дня...

...На пароходе по Сухоне уплывал Николай Рубцов в Вологду, чтобы оттуда поехать в Москву, в свой литинститут. Я почему-то уверен был, что увидеться с ним не смогу до нового лета, как вдруг в один из дождливых дней прогудел пароход и по сходям в толпе пассажиров на тотемский берег сошел Николай.

— А как институт?..

— Перешел на заочное.

— В Тотъме останешься?

— Нет. Поеду в Николу.

Денег не было у Рубцова, и он был вынужден (как он этого не хотел!) взять в районной газете командировку. Перед тем как уехать, зашел на часок ко мне.

Мы сидели в доме моих родителей, на старинных высоких стульях; пили вино, курили и слушали дождь. И вдруг Николай запел:

Потонула во тьме отдаленная пристань.
По канаве помчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И порой раздавался пароходный свисток...

Я слушал его резковатый красивый голос и мысленно видел перед собой холодный сухонский плес и уплывающий пароход, на котором ехал Рубцов куда-то далеко-далеко, к каким-то неведомым берегам, где гуляют промозглые ветры, где тревога, где грозы, где вечная ночь.

Едва кончил он петь, как раздался гудок. Мы поспешили на пристань.

Долго глядел я вслед уходящему пароходу и ощущал, как где-то во мне звенела эта прощальная песня, наполняя душу тоскливой торжественной тишиной.

Потом были снова встречи, изредка — разговоры по телефону, но всего сразу не скажешь — и опять садишься за письма...

...Минули годы. И вот я снова в Никольском, но уже не вдвоем, а один. Мимо черемух, мимо картофельных гряд спешу на песчаную пойму реки. Здесь ничего, казалось, не изменилось. Те же цветы на воде, то же жнивье, тот же холм с кустами вечернего краснотала, тот же костер. Только небо сегодня затянуто облаками, и сквозь них невозможно увидеть звезду, так задушевно воспетую поэтом.

В потемках песчаного склона мне слышатся очень спокойные, тихие, медленные шаги. Они идут на меня и идут. И мне начинает казаться, что это выходит Рубцов. Выходит он из потемок на отблеск огня, и я увижу его сейчас, увижу такого же, как и прежде, — сухощавого, молодого, в белой рубашке, с прядью волос, перекинутой через лоб, и пронизательным взглядом, в котором светится воля, тревога и ожидание.

* * *

Рябина от ягод пунцова.
Подлесок ветрами продут.
На родине Коли Рубцова
Дожди затяжные идут.

В такую ненастную пору
Не шумной толпой, а вдвоем
Пройти бы к сосновому бору
Прекрасным и грустным жнивьем.

Следить — а куда торопиться? —
Отчаянный гон облаков.
Земле поклониться,
Напиться
Из тихих ее родников.

Забраться в осинник,
Послушать,
Что шепчут друг другу листы.
И думать: а наши-то души,
Как прежде, по-детски чисты?..

И так, ни о чем не печалюсь,
Вдвоем постоять над рекой...
Мы часто случайно встречались,
И все в толчее городской.

Летели, летели недели,
Да что там недели — года...
Не раз в ЦДЛе сидели,
А вот у реки — никогда....

Бесчинствует ветер несносный.
Продрогнув с макушек до пят,
Гудят корабельные сосны,
Как мачты под бурей, скрипят.

И тучи нависли свинцово, —
Погожей погоды не жди...
На родине Коли Рубцова
Идут затяжные дожди.

«РАСПЛАТИМСЯ ЛЮБОВЬЮ...»

В кабинете редактора, на одном из стареньких стульев, расставленных вдоль стены, сидел человек. То ли небрежно кутающий шею шарф, то ли мечтательные карие глаза придавали его облику нечто цыганское, озорное.

— Познакомьтесь, — сказал редактор, — товарищ Рубцов, поэт. Живет в колхозе «Никольский», хочет с нами сотрудничать. Поддерживайте с ним связь.

Так я впервые встретился с Николаем Рубцовым. Знакомство оказалось тем проще, что в редакции «Ленинского знамени» работал в те годы (1963—1965) давний товарищ и друг Рубцова Сергей Багров. Когда-то они вместе учились в Тотемском лесотехническом техникуме, а теперь оба писали стихи. Было что вспомнить, о чем поговорить. Сергей Багров написал и предисловие к первой подборке стихов Николая Рубцова, которая появилась в газете 14 января 1964 года.

Всего в тотемской газете «Ленинское знамя» Рубцов опубликовал около двадцати стихотворений, в основном — в 1964—1965 годах. Среди них такие ныне широко известные, как «Сапоги мои скрип да скрип...», «Родная деревня», «На реке», «Гроза», «Горница», «Прощальный костер», «Мороз» и другие.

В те годы поэт часто и подолгу жил в Николе. Как я теперь понимаю, ему страстно хотелось иметь родной

уголок в мире. Никольский сельсовет Тотемского района не был формально его родиной, но здесь он провел свои детдомовские годы.

Нелегко было его военное детство. Может, потому и тянула Никола к себе неудержимо. Именно этой деревне, с широкой улицы которой во всю ширь открываются заречные луга, леса и селения, обязаны мы значительной частью творческого наследия Рубцова. В самом деле: трудно перечислить все стихи, ей посвященные. «Родная деревня», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Я уеду из этой деревни...», «Ветер всхлипывал, словно дитя...», «Я вырос в хорошей деревне...», «Жар-птица», «Осенние этюды» и многие, многие другие. Лишь о Николе, отождествляя ее с большой своей Родиной, Россией, мог сказать он:

И опять родимую деревню
Вижу я: избушки и деревья,
Словно в омут, канувшие в ночь.
За старинный плеск ее паромный,
За ее пустынные стога
Я готов безропотно и скромно
Умереть от выстрела врага.

Мне довелось несколько раз побывать в Николе. Командировка районной газеты приводила сперва на Тотемскую пристань, от которой неторопливый двухпалубный пароход увозил вверх по Сухоне до Толшмы. Там терпеливо ждали паромы, переезжали на правый обрывистый берег Сухоны и дожидались в колхозной конторе попутной машины. По разъезженным, расхлябанным колеям, мимо болота, «на сотни верст усыпанного клюквой», мимо нарядных деревень колхоза «Сигнал», трудолюбиво урча, проходила машина к колхозу «Никольский». О том, что цель близка, говорила неизвестно откуда выбежавшая к самой дороге речка, петлястая, говорливая, с белым песочным дном. Речка, в которой

Вода недвижимее стекла,
И в глубине ее светло,
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло...

В межрайонных газетах той поры к стихам относились легко. Именитые поэты здесь печатались редко, а «самодеятельные» авторы, как правило, бывали доволь-

ны, если редакция поправляла, сокращала и, как говорится, «доводила до кондиции» их стихи. Само собой, у нас и мысли не возникало править Рубцова. Хотя и не совсем отчетливо, но мы уже чувствовали размах и силу его таланта. Но однажды случилось так, что во время верстки газетной полосы «потеряли» одно четверостишие. Вставлять его — значило ломать всю полосу. Посовещавшись, решили оставить, как есть, извинившись, разумеется, перед автором. Однако извинений Рубцов не принял. Произошел довольно крупный разговор. В конце концов отношения восстановились, но «потерянного» четверостишия Рубцов не мог забыть долго.

Я держу в руках письмо Николая Михайловича, написанное через некоторое время после того печального случая.

«...Посылаю заметку о нашем фельдшере. Редактируй и сокращай, как хочешь (это не стихи), но только хоть что-нибудь из этой заметки надо бы напечатать. (Заметка о фельдшере В. А. Чудинове была опубликована в «Ленинском знамени» 4 марта 1965 года. — В. Е.).

Живу неплохо. Хожу в лес рубить дрова. Только щепки летят!»

Помните, «По дрова»? — «Я в стихах увековечу заготовку дров...»

Поэт находился тогда в трудном материальном положении. Первая книжка еще только готовилась к печати в Северо-Западном книжном издательстве. Публикации в журналах были эпизодическими. Этим частично можно объяснить и поездки за дровами, и прозаические заметки в газетах. Но даже при тех обстоятельствах все, к чему бы ни прикасался Рубцов, превращалось в поэзию.

Рубцов был всегда довольно равнодушен к внешним проявлениям материального достатка, как, впрочем, и ко многим другим условностям. Он мог сесть в поезд, позабыв купить билет, почти не обращал внимания на свою внешность, отчего попадал порой в неприятные положения. Рассказывал он, к примеру, о таком случае. Собравшись из Москвы в Ни́колу, купил дочке подарок — роскошную куклу, которая заняла весь чемодан. В ожидании поезда поэт разгуливал по Ярославскому вокзалу с этим чемоданом. Одет он был весьма скромно, если не сказать больше. Может, потому и обратила на него внимание московская милиция. Пригла-

сили в отделение, проверили документы, спросили, что в чемодане.

— Кукла, — ответил Рубцов.

— Как, только кукла?

— Только кукла.

— Откройте.

Убедившись, что в чемодане действительно нет ничего, кроме куклы, дежурный в растерянности отпустил поэта.

Вскоре после выхода в свет первой маленькой книжки «Лирика» Николай Михайлович писал мне:

«Я опять в Николе. На сей раз я командирован сюда на длительный срок Союзом писателей. Возможно, что скоро уеду. У меня вышла книжечка. Конечно, тут далеко не все, на что я способен. Ну, пусть. Посылаю одну книжечку тебе. Найдешь нужным — отрецензируй, я не буду против...

А еще в десятом номере «Октября» вышла большая подборка моих стихов. Вот вкратце такие мои дела.

Сейчас я возьмусь писать два очерка по заданию журнала «Сельская молодежь». Вполне возможно, что ничего не напишу.

В Москве я побывал у Александра Яшина. Осталось очень хорошее, но печальное воспоминание: слишком уж часто он болеет».

К Яшину Николай относился с благоговением. Все, кто знал Рубцова, помнят, как придирчив он был к стихам даже признанных поэтов, как безжалостно высмеивал любую неудачную строку, не глядя на то, чьим именем она подписана. Исключение составляли только Твардовский и Яшин. А с Яшиным Николая Михайловича связывала еще и тесная дружба. Он глубоко уважал старшего товарища за ум, талант, за непоколебимую гражданскую позицию. Ему посвятил он одно из лучших своих стихотворений «Последний пароход», которое дало название одному из посмертных сборников Рубцова. Обычно весьма критичный к замечаниям по поводу его стихов, Рубцов чутко прислушивался к мнению Александра Яшина.

«...Посылаю тебе два стихотворения и, как это говорится, прошу напечатать, что можно, в газете, — писал он в одном из писем. — «Осенние этюды» посвящаются А. Яшину, т. к. ему понравились те картины, которые есть в этом стихотворении».

«Осенние этюды», присланные тогда Рубцовым, имели несколько иной вид, чем сейчас, когда они помещены в большинстве рубцовских сборников. У стихотворения был совершенно другой конец. Правда, концовка, известная читателям, значительно интереснее, но думаю, что и первый вариант обладает своими достоинствами. Вот он:

Прошел октябрь. Творят ему поминки
Стариннейшими яствами из клюквы,
А возле темной сказочной часовни
Стоит береза старая, как Русь,
И крепко спит, себя не сознавая,
Но иногда среди оцепененья
Она вздохнет так горестно и нежно, —
Наверно, видит девочку во сне...

Он был строг и требователен к своим стихам, не переставал их править, совершенствовать даже после того, как они появлялись в печати. В доказательство можно привести первоначальный вариант ныне широко известного стихотворения «Родная деревня». Впервые оно было опубликовано в тотемской районной газете в таком виде:

Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу,
Где избы просты и прекрасны
Под небом свободным и ясным!
Бывает, иной соколенок
Храбрится, едва из пеленок,
Мол, что по провинции шляться?
В столицу пора отправляться!
Когда ж повзрослеет в столице,
Посмотрит на жизнь за границей,
Тогда он оценит Николу,
Где кончил начальную школу...

Поэт верил в жизнь, верил в себя. Он был силен и знал свою силу, хотя в то время, в середине 60-х годов, его имя еще не было известно широким кругам читателей.

Здесь уместно сказать о его мнениях относительно сущности и места поэзии. Мне довелось участвовать в одном из довольно бурных споров на эту тему.

Глубокой осенью 1965 года мы вместе с Сергеем Багровым собрались в отпуск. До Вологды добрались паромом и в тот же вечер сели в московский поезд. Поутру в Москве долго разыскивали общежитие литинститута, где надеялись поведаться с Рубцовым. Но ког-

да вошли в вестибюль, дежурная сообщила, что Рубцов перешел на заочное отделение и якобы вообще уехал из Москвы. Огорченные, шли мы к выходу и на пороге лицом к лицу столкнулись с Рубцовым в окружении «толпы знакомых и друзей». В одну минуту нас переправили наверх, в одну из комнат. За столом завязалась беседа. Вот тогда-то я и сказал неосторожно, что современные поэты, на мой взгляд, недостаточно социальные.

— А ты знаешь, что такое поэзия?! — бросился в атаку Рубцов. — Разве можно дать поэту задание: будь социальным! Выполнить-то он его, может, и выполнит, да только голой техникой. Души, таланта в стихах не будет...

Он встал и подошел к окну.

— Ты можешь сделать так, чтобы сейчас подул ветер? Нет? Так что же ты хочешь от поэзии? Она стихийна! Кто работает по заказу, тот не поэт — ремесленник! Поэзия — буря, а мы только инструменты ее...

Видимо, Рубцов давно и упорно думал об этом.

Николай Михайлович считал также неслучайным качеством поэта умение жить чужой болью и радостью, умение сострадать.

О поэзии Рубцов мог говорить много и горячо. Его собратья по перу знают, как любил он Тютчева, Фета, Пушкина, Лермонтова, Есенина. Да и в самом деле: сколько надо передумать, переосмыслить, чтобы сказать о Пушкине всего четыре строки («Словно зеркало русской стихии...»). Но какие строки!

Как-то я спросил Николая Михайловича, не тянет ли его к поэме. Ведь все большие поэты рано или поздно приходили к этой форме.

— Возможно, что и приду, — в раздумье сказал он. — Знаешь, есть великолепная тема для поэмы: нашествие Чингисхана. Какие времена! А ведь Русь все-таки выстояла, гибелью своей выстояла!

О Чингисхане, о Батые он заговаривал не раз, интересовался историческими документами. Кто знает, какой силы стихи (поэмы?) унес от нас Рубцов!

Николай Михайлович не любил выставлять напоказ тяжесть черновой работы. Порой казалось даже, что стихи даются ему легко. Но небольшой архив, оставшийся после смерти поэта, осветил поистине громадный труд, который затрачивал Рубцов на отделку своих стихов.

Как и многие увлеченные своим делом натуры, Рубцов был рассеян. Как-то, еще в Тотьме, я подарил ему добытый с большим трудом томик Тютчева. Николай обрадовался, но тут же грустно сказал:

— Знаешь, может быть, лучше не дарить? Я все равно его потеряю, а терять Тютчева — жаль.

Из-за рассеянности поэта мы сейчас недосчитываемся, вероятно, многих стихов, опубликованных в свое время в газетах и журналах. Перелистывая недавно подшивки тотемской районной газеты «Ленинское знамя» за 1962—1966 годы, я с удивлением и радостью обнаружил там три стихотворения Рубцова, не включенные пока в его поэтические сборники.

Остается надеяться, что в одном из будущих сборников эти стихи, как и другие, еще не разысканные сегодня, займут свое место. Сам автор мог потерять рукопись, газету, журнал, книгу, но не стихи, большинство из них он хранил в памяти. В свое время меня поразила эта его способность.

Зимой, в конце 1967 года, Николай Михайлович приехал в Липин Бор, где в редакции районной газеты работал поэт Сергей Чухин. Я в то время редактировал газету, и Рубцов попросил:

— Дай задание машинистке отпечатать мои стихи. Дело в том, что я потерял рукопись новой книжки, а ее срочно надо посылать в издательство.

— Но если рукопись утеряна, — возразил я, — как же машинистка будет печатать?

— Я ей продиктую.

— А сколько стихотворений было в рукописи?

— Около ста двадцати.

— И ты все помнишь наизусть? — изумился я.

— Конечно, — удивился в свою очередь Рубцов. — Ведь это — мои стихи!

И действительно, он продиктовал нашей машинистке Тамаре Пахомовой всю рукопись.

Дело здесь, очевидно, не только в феноменальной памяти. Рубцов каждое стихотворение отделявал любовно, шлифовал настолько, что оно оставалось в памяти на всю жизнь. Случайную, ремесленную поделку запомнить невозможно.

Николай Михайлович был постоянен в своих привязанностях и привычках. Вот строки из письма, написанного в конце октября 1965 года:

«...О себе писать нечего. Могу только сказать, что очень полюбил топить печку по вечерам в темной комнате. Ну а слушать завывание деревенского ветра осенью и зимой — то же, что слушать классическую музыку, например Чайковского, к которому я ни разу не мог остаться равнодушным».

Через два года, когда Рубцов навестил Липин Бор, он ночевал в редакции, где тоже топил печку, слушал заунывный вой ветра в сосновом бору. Вскоре он прочел нам стихи: «В который раз меня приветил уютный, древний Липин Бор...»

Это было стихотворение «Сосен шум», которое дало позднее название одному из сборников поэта. «Соседний барак» — не что иное как пекарня, которая работала всю ночь, до утра горел в ее окнах свет...

— Почему же ты написал: «Сижу в гостинице районной», если сидел в редакции? — пошутил я.

— Так типичнее, — смеясь ответил Рубцов. — А то могут подумать, что у вас не редакция, а ночлежка.

В Липином Бору, что раскинулся на северном берегу Белого озера, Рубцов был, по меньшей мере, трижды.

Памятна первая встреча с ним в этом далеком поселке. Пришлась она на грибную августовскую пору. В один из воскресных дней мы с женой, набродившись по роскошным липиноборским лесам, возвращались домой с полными корзинами белых грибов. Когда до поселка оставалось километра два, вдалеке, меж вековых сосен, показалась фигура человека.

— До чего же похож на Рубцова! — удивился я.

— Не может быть, — возразила жена. — Откуда Коле взяться здесь, за триста километров от Вологды, в незнакомом лесу?

И тем не менее, это был он. Объяснилось все просто:

— Зашел к тебе на квартиру, мать сказала, что ты в лесу. Попросил ведро и пошел куда глаза глядят. Здесь у вас прямо прелесть!

Рубцов радовался, как ребенок. И грибы позднее тоже оказались в стихах. Помните его «Гуляевскую горку»?

Вечером того дня, когда мы шли вместе по улице поселка, навстречу попался хорошо знакомый мне милиционер и пригласил к себе домой на чашку чая.

— Не могу, к сожалению, — отказался я. — Видишь, у меня гость.

Рубцов отозвал меня в сторону и тихо сказал:

— Давай пойдём! Ты не знаешь, что мне про всех все надо знать, а тут такой случай — увидеть, как живёт милиционер!

И мы пошли в гости...

Второй раз Рубцов побывал в Липином Бору немного позднее, вместе с группой писателей из Вологды, в числе которых были Александр Яшин, Василий Белов, Виктор Коротаев. Вместе с ними Рубцов выступил тогда в Вашкинском Доме культуры, где прочел свое шуточное стихотворение «Я забыл, как лошадь запрягают...»

Читал он глуховатым голосом, чуть нараспев, выделяя ударные слоги, слегка жестикулируя и улыбаясь. Приняли его очень тепло.

О третьем посещении, в декабре 1967 года, я уже рассказывал. В этот приезд Николай Михайлович был весел, балагурил, шутил. В те дни «Правда» опубликовала два его стихотворения: «Детство» и «Шумит Катунь». Рубцов придавал большое значение публикации в «Правде».

— Ведь это здорово — мои стихи прочитают семь миллионов человек!

...Признание. Оно еще застало поэта в живых. Но подлинное его место в советской литературе мы, пожалуй, осознаем только сейчас. Вышло уже более десяти сборников его стихов — настоящее поэтическое богатство. Любое из стихотворений Рубцова характерно «лицом необщим выраженьем», оригинальным взглядом поэта на окружающий мир.

В последние годы жизни поэта мне редко приходилось встречаться с ним, но каждая такая встреча оставляла глубокое впечатление. Летом 1970 года он попал в больницу с травмой руки. Вместе с журналистом Александром Рачковым мы пришли навестить его. Был Николай Михайлович задумчив, малоразговорчив, попросил нас принести почту, которая накопилась в его квартире. Александр сфотографировал Рубцова в больничной одежде. Именно в те дни родилось стихотворение «Под ветвями больничных берез...», в котором есть такие строчки:

В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез...

А жить ему оставалось всего полгода...

Довелось мне побывать на квартире Рубцова за неделю до его трагической гибели. Мы пришли туда вместе с Сергеем Багровым. Говорили о жизни, о стихах. Николай Михайлович был полон забот о будущем, планов, замыслов...

Все мы, знавшие Рубцова при жизни, в долгу перед ним, перед его памятью. Нет еще детальной биографии поэта, он не любил рассказывать о своей жизни, а тем более, писать о ней, кроме как в своих стихах. Далеко не собраны воедино его произведения. Постепенно забываются, выветриваются из памяти его афоризмы, экспромты, его суждения о жизни, о людях, о литературе. А ведь со временем все это будет необходимо и важно для будущих читателей Рубцова. И пусть настоящий сборник станет первым шагом к тому, чтобы осуществить его поэтическое завещание: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью...».

КОНИ

Все с поэтом хотел
Познакомиться.
Познакомиться, думал,
А там...
Проходили стихи его,
Помнится,
По болотистым нашим
Местам.
Но не конною лавой
Процокали,
Задирая хвосты
На ветру,
Не вокруг пропылили,
Не около,
А как раз по душе,
По нутру.
А душе не сойти
На обочину.
И подумалось мне,
Как взглянул:
Так идут
Только кони рабочие.
Каждый стих
Будто Землю тянул.
Неподстриженные.
Разномастные.
Что ни конь —
Свой характер
И цвет.

Помню:
Рыжие,
 белые,
 красные...

А вот черных
Не помнится.
Нет!
Все с поэтом хотел
Познакомиться.
Познакомиться,
Сверить сердца.
Опоздал.
Но стихи его
Помнятся.
А у памяти
Нету конца.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Воскрешая в памяти начало моего знакомства с Николаем Рубцовым, я неизбежно вспоминаю конец ноября или самое начало декабря 1964 года, когда, не имея возможности продолжать учебу в литинституте да и жить у себя в селе Никольском, поэт был вынужден приехать в Вологду и перезимовать здесь. Так как у нашего семейства была тогда свободная комната, поэт Александр Романов попросил меня приютить Рубцова. В ту пору у него не было еще издано ни одной книги — были лишь публикации в газетах и журналах.

Рубцов очень много читал — особенно в первое время, к его услугам были все мои книги. Надо ли говорить, что — сам поэт до мозга костей — читал он почти исключительно одних поэтов. Из прозаиков неизменно выделял и поминал лишь только Гоголя, столько же прозаика, сколько и своеобразнейшего поэта в прозе.

А в бескрайнем море русской поэзии что же в первую очередь привлекало Рубцова? Конечно же, без памяти был он влюблен и в Пушкина, и в Лермонтова, и в Блока, и в Есенина, учился у них (достаточно здесь назвать рубцовское стихотворение «Кружусь ли я в Москве бурливой...» — вариацию на тему пушкинского «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»), но сердцу не прикажешь — и вот Рубцова больше манят к себе Тютчев, Фет, Полонский, Майков, Апухтин...

И особенно, конечно же, много мы говорили о Тютчеве. Как восторгался Рубцов знаменитым триединством Тютчева: «блистает, блещет и блесит»! Многие стихи поэта озарены тютчевским светом, но не меньше, чем светом, — и сумерками, и осенью Тютчева (наугад раскрыв книгу, я отмечу как очень «тютчевское» стихотворение Рубцова «Прощальный костер»), но, разумеется, все это не перестает быть истинно «рубцовским». Словом, влияние Тютчева — самое плодотворное влияние на Рубцова. Тютчеву же посвящено и одно из стихотворений поэта — «Приезд Тютчева».

Книга Тютчева (стихи и статьи в дореволюционном издании) и была едва ли не единственной личной книгой Рубцова. Сейчас уже ходят легенды, что он, ложась спать, клал ее под подушку. Я могу лишь сказать, что, во всяком случае, остальными книгами, которые ему попадались, Николай не дорожил и, бывало, оставлял где угодно. Книге же Тютчева такая судьба не угрожала.

Любил Рубцов стихи и гениального французского поэта Франсуа Вийона, и задушевнейших поэтов Франции XIX века — Верлена и Бодлера.

Сам он рассказывал, что преподавательница французского устраивала у них нечто вроде конкурса на перевод «Осенней песни» Верлена, которая в подстрочном изложении выглядит примерно так:

Долгие рыдания скрипок осени ранят
мне сердце однозвучной тоской.
Совсем задыхаясь и побледнев, когда
бьют часы, я вспоминаю о былых годах
и я плачу.
И я выхожу на злой ветер, что несет
меня и туда и сюда, подобно листку,
который мертв.

По словам Рубцова, он тогда отказался от перевода. Я сказал ему, что, занимаясь французским немного для себя, по странному стечению обстоятельств перевел именно эту вещь (переводили ее многие русские поэты-символисты, но все переводы — неточные). Разыскав, прочел Николаю перевод.

В ответ Рубцов прочел свои стихи, сказав, что в них лишь вкраплен мотив Верлена (впервые они появились в книге «Сосен шум»). Сейчас я, правда, склонен думать, что и «Осенняя песня» Чайковского, которую Ни-

колай очень любил, тоже в какой-то мере повлияла на настрой этих стихов, кончавшихся такими строчками:

Куда от бури, от непогоды
Себя я спрячу?
Я вспоминаю былые годы,
И я плачу...

Вот, оказывается, откуда у Рубцова (при всей его любви к русской поэзии и ко всему русскому вообще) был интерес к Вийону, русское издание которого (1963) он всякий раз, бывая у меня, буквально не выпускал из рук и всегда говорил, что рано или поздно не у меня, так где-нибудь стащит или раздобудет его.

Сказалось здесь, думается, и то, что Николай Михайлович, видимо, чувствовал сходство своей судьбы с судьбой этих французских поэтов (так же, как и с судьбой Есенина). И не случайно в «Вечерних стихах» Рубцова есть такие строки:

И как живые в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон!

«ЛИСТОК, ОСЕННИМ МЧИМЫЙ ВЕТРОМ...»

...Я знал, что он иначе и не мог,
я чувствовал: во всех его метаньях
и не душа повинною была,
а путь, что предначертан был от века,
а жребий, что написан на роду.

Что ж до души — так вот: она была
из тех же матерьялов, что и сумрак,
и облака, и смурные туманы —
покровы над текущим телом рек,
едва ль и в зной-то сильно разогретых.

К тому же мы отнюдь не представляем,
что наша может выкинуть душа
(вот только было ведро, ан гляди —
уже и хмурь, и тень, и темень — туча,
а там уж и ненастье — ливень, дождь).

Душой поэт таким же был сродни,
как сам он, неприкаянным скитальцам —
Есенину, Вийону и Верлену
(судьба — листок, осенним мчимый ветром,
не знающим, куда листок несет).

Но, может быть, и не было метаний,
как после неизбежно все представят,
хрестоматийный глянец наведя?
Нет, были, — отвечаю, — как не быть-то:
он милостию божьей был поэт.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

Обстоятельства моего знакомства с Рубцовым скорее могли послужить поводом для взаимной неприязни, чем для дружбы. Но — слава богу — время рассудило иначе...

Зимой 1964 года мне было девятнадцать лет. Я учился на филологическом факультете Вологодского пединститута, сочинял стихи, печатал их в вологодской районной газете и, естественно, благоговел перед маститыми литераторами.

На факультете существовал литературный кружок, которым руководил В. К. Пудожгорский, критик и литературовед, большой знаток творчества Пришвина. Нашим признанным лидером была Наташа Маслова. Разносторонне одаренный человек, она писала молодые, цветастые стихи и подхлестывала в нас чувство хорошего соревнования.

Но в общем-то мы варились в собственном соку. И поэтому, когда Вологодская писательская организация пригласила нас на областной семинар начинающих авторов, все были несказанно рады.

Семинаром руководили наши старшие товарищи — тогдашний секретарь отделения С. Викулов, поэты А. Романов и В. Коротаев. Все они в разные годы прошли через литературное объединение пединститута, что нас откровенно воодушевляло.

И вот на этот семинар был приглашен никому из нас тогда не известный поэт Николай Рубцов. Он пришел в отделение Союза за несколько минут до начала обсуждения рукописей: невысокого роста и неопределенного возраста лысеющий человек в валенках, взгляд настороженный, даже угрюмый; сел позади всех.

В обсуждении наших стихов он участия не принимал, но по колючим репликам чувствовалось, что они ему не по вкусу. В перерывах он уединялся покурить где-нибудь в конце коридора или беседовал с Борисом Чулковым, с которым успел, видимо, познакомиться короче.

Наконец дошла очередь обсуждать рукопись Рубцова. Он вышел к столу, коротко рассказал о себе и прочел несколько стихотворений. Среди них помню ставшие ныне хрестоматийными «Видения на холме» и «Родная деревня». Читал негромко, но энергично, изредка жестулируя правой рукой, а левую сунув за борт пиджака.

Старшим товарищам стихи, видимо, понравились, они почувствовали, что на семинар пришел поэт со своим мироощущением, своей темой. Но, к сожалению, не обошлось и без дежурных учительных фраз: поближе к современности, к злобе дня...

С каждым подобным замечанием Рубцов все более мрачнел, реплики его становились вызывающими. А тут я еще подлил масла в огонь. Как же? Для меня чуть ли не единственным мерилom современной поэзии был тогда Р. Рождественский, а тут — нá тебе! — деревня Никола, начальная школа... Да и безоглядная, горячая молодость внутренне протестовала против сдержанной (рассудочной) формы. И сдержанность эта, и несколько отчужденный (заносчивый!) вид автора — все настраивало против него. Сказано это было прямо и пылко, Рубцов вскипел и во время обеденного перерыва, прихватив с собою поэта О. Кванина, ушел с семинара.

Вскоре вышла его первая книжица «Лирика». И пусть предвзято я относился к имени автора, но, прочитав наедине те же «Видения на холме», «Родную деревню», усомнился в своих поэтических пристрастиях. Рубцов тогда жил в Вологде. Своего угла он не имел и квартировал у Б. Чулкова. На мое «здравствуйте!» он отвечал молчаливым кивком. Забегая вперед, скажу: Рубцов никогда не напоминал мне об этом семинаре, а мои позднейшие объяснения прерывал нетерпеливым: «Знаю...»

В следующем, 1965 году я был принят на вновь открывшееся очное отделение Литературного института, где Николай Рубцов учился заочно. В студенческой среде слово поэта ставилось высоко, признание его было почти безоговорочным. О его эксцентричных поступках и фразах ходили легенды, которые от курса к курсу обрастали преувеличениями. Говорили, например, что он снял с лестничных площадок общежития портреты классиков и перенес к себе в комнату, а возмущенному коменданту сказал:

— Можно, наконец, побыть в компании порядочных людей!

Сам Рубцов о подобных деяниях никогда не повествовал, но и никогда не опровергал, если слышал о них со стороны.

Правда, что литературной табели о рангах для него не существовало; правда, что о большинстве современных поэтов он отзывался прохладно; но правда и то, что причиной тому был не только строгий вкус, а и задетое самолюбие, когда имя его постоянно припрягалось к раз и навсегда заведенному «ряду».

На очное отделение вологжан поступило трое — Нина Груздева, Николай Кучмида и я. В первую же свою сессию Николай Рубцов зашел ко мне в комнату, зашел не один, в компании старшекурсников. Я пригласил земляков, появилась гитара, читались стихи. Николай Михайлович молча сидел за столом, посматривал на всех исподлобья, потом старшекурсники ушли.

Рубцову надо было ехать ночевать к кому-то из московских знакомых, я предложил ему остаться у себя, а утром, уходя на лекцию, положил на стол ключ. Ключ оставался у него полтора месяца.

За эти полтора месяца я заметил, что Рубцов не любит разговоров на литературные темы. Всего охотнее он сходил с людьми, если не далекими от литературы, то уж по крайней мере не поэтами.

Он весьма охотно выслушивал на наших вечеринках рифмованные потоки, где ему приходилось отыскивать удачные строки, строфы, чтобы похвалить не кривя душой. У каждого из нас был свой синодик любимых поэтов. Все, не входящие в него, отвергались с юношеским максимализмом. Рубцов, по натуре человек тоже «или-или», был, как я уже говорил, осторожен в оценках современников.

Он прекрасно знал русскую классическую литературу. К любимым стихам Тютчева, Фета, Блока он подобрал мелодии и, будучи в хорошем настроении, нередко наигрывал их на гитаре. Иногда по нашей просьбе исполнял и свои стихи.

Однажды я сказал Николаю Михайловичу, что мы с Ниной Груздевой собираемся поехать к Александру Яковлевичу Яшину, познакомиться, почитать стихи и — больше того! — попросить рекомендации в какой-нибудь литературно-художественный журнал. Самонадеянности у нас еще хватало.

— Ну что ж... поезжайте...

— А что? — встревожился я.

— Нет... Съездите!

Рубцов был дружен с А. Я. Яшиным, но поскольку о своих литературных знакомствах никогда не распространялся, то я этого не знал.

Александр Яковлевич принял нас дома на Лаврушинском. Послушал стихи, похвалил Нину Груздеву. Чувствуя, что мои опусы успеха не имеют, я все же промямлил что-то о рекомендациях.

— Да на что вам моя рекомендация? Делу ли послужит? Ведь меня после «Вологодской свадьбы» ленивый разве не ругает...

Мы принялись горячо уверять Александра Яковлевича, что очерк молодежью Вологды принят хорошо, что конъюнктурные соображения критики похоронит время... Наша убежденность, видимо, тронула его.

— Что ж, приносите новые стихи, тогда поговорим о рекомендациях...

Меня ответ прямо удручил, так хотелось напечататься поскорее в Москве. Рассказал обо всем Рубцову. Тот взял мою рукопись и начал разбирать построочно.

— «Мальчишки небольшого очень роста»... Раз мальчишки, то ясно, не с коломенскую версту, «небольшого очень...» — глупо. Вот у тебя: топорики, ведерочки, маслице, Карюшко, сестренушка, матушка, Аленушка... Может, у Фокиной это хорошо, а у тебя плохо. Одежка с чужого плеча, да еще с женского. Кроме шуток: поверь, напишешь хорошие стихи, свои, никакой рекомендации тебе не потребуется.

На следующий год пошел в «Сельскую молодежь», рискнул. Приняли без рекомендации.

Во время летних каникул встретились с Николаем Рубцовым в Вологде.

— Хочу поехать в Тотьму, к дочке, но, сам понимаешь...

Да, я знал о хроническом безденежье, которое буквально преследовало Рубцова, приковывало его к городу, к случайным гонорарам и случайным компаниям.

— Поедем со мной в Новленское, — предложил я, — шестьдесят километров отсюда. Там у меня тетя и бабушка. Изба большая — зимняя и летняя. Они — в летней, а мы в зимней будем. Лес, река, озеро — все рядом!

— Неудобно... Ты там свой, а я что?

Уговорил-таки. Купили любимый бабушкин индийский чай, помидоров, огурцов на рынке (стоял конец июля) и поехали.

Бабушка была уже стара, не выходила из дому, но сохранила ясный ум и хорошую память. Для нее, любительницы почаевничать, порасспрашивать, посплетничать, наш приезд был сущий клад. Тетя с утра до ночи пропадала на работе и наказывала одно: не курить на сене.

Я целые дни пропадал на реке. Николай Михайлович рыбаком оказался аховым: азарта много, а терпенья мало.

Сказать по правде, и клев был неважным. Посидев час-полтора на реке, он уходил домой и слушал бесконечные бабушкины рассказы о былом, о ее молодости, прежнем хозяйстве, она его расспрашивала — откуда родом, где семья, сколько лет дочке, где сам служит...

Если на рыбалке Рубцову не везло, то грибник он был прирожденный, удачливый на зависть. Мне и потом приходилось слышать от журналиста Б. А. Шабалина, что какой бы многочисленной группой ни приходилось выезжать им с Рубцовым в лес, Николай Михайлович всегда набирал больше всех и, главное, не каких-то сыроежек и кубарей, а рыжиков, груздей, белых.

И куда в такие часы исчезали его всегдашняя настойчивость, готовность ответить резкостью даже на безобидную шутку! По дороге к лесу экспромты, частушки сыпались под ноги. Жаль, что ничего не записывалось. Молодость щедра и полагает жить долго. Припоминается лишь такое:

Забыл приказы ректора,
На все поставил крест.
Глаза, как два прожектора,
Обшаривают лес.

Или предполагаемое Рубцовым начало стихотворения:

После озера, леса и луга
Столько будет рассказов для друга,
Столько будет солений, варений,
Столько будет стихотворений!

Мы вошли во вкус деревенской жизни и от бабушки поехали в Погорелово, к моим родителям. Походы в лес и на реку продолжались, но все чаще Рубцов оставался дома писать. Впрочем, писать — не то слово. Ему не требовались ручка и бумага. Он укладывался поверх одеяла, закинув ноги на спинку кровати и так лежал, бывало, по несколько часов. Иногда он окликал меня и читал вслух особенно удачные, по его мнению, строки, причем требовал оценить: «Ну как?»

Я обычно отвечал уклончиво, мол, строка сама по себе звучит, но как она ляжет в контекст... Он недовольно отмахивался: — А! — и вновь затихал на кровати.

В селе нашем до сих пор сохранились остатки барского парка. Я показывал Николаю Михайловичу заросший бузиною фундамент особняка (сейчас и того нет), огромный, с тремя островами, пруд, вырытый крепостными в форме двуглавого орла, аллею столетних лип и сосен. Все эти впечатления послужили канвой для чудесного стихотворения «В старом парке». В то же время были написаны «Зеленые цветы», «Купавы» и ряд других шедевров рубцовской лирики.

Кончался август, мне пора было ехать в институт, Рубцов начал снова собираться в Николу. В последующие годы он еще несколько раз побывал в Новленском и Погорелове, причем в Новленское ездил уже один, без меня.

В январе 1967 года я решил временно перейти на заочное отделение института, приехал в Вологду и был принят на работу в газету «Вологодский комсомолец». Встречи с Николаем Рубцовым стали почти ежедневными. Надо сказать, что редакция молодежной газеты сделала немало доброго для поэта. Она первой начала давать большие подборки стихов Н. Рубцова, платила ему

максимальный гонорар, нашла возможность выделить ему полставки литконсультанта.

Зайти в один из немногих кабинетов, которыми располагала редакция, сыграть в шахматы, просто перекинуться шуткой с веселым народом стало для него привычкой. Н. Рубцов не ошибся в своих друзьях. Неслучайно большая часть его литературного наследия увидела свет на страницах «Вологодского комсомольца».

Летом того же 1967 года по инициативе Вологодского обкома партии и писательской организации была устроена агитационная поездка писателей по Волго-Балту. В ней приняли участие А. Яшин, В. Белов, А. Романов, В. Коротаев, Д. Голубков, Н. Рубцов, Н. Кутов, Л. Беляев, Б. Чулков и ряд других прозаиков и поэтов. Александр Яковлевич Яшин уже недомогал, хотя и старался не показывать виду. Однако не просто было обмануть такого пронизательного человека, как Рубцов. В этой поездке он был ненавязчиво предупредителен, даже нежен в обращении с Яшиным, что в общем-то с Рубцовым случалось редко.

И вот уже под Вытегорой, видя, что Яшин чрезмерно утомлен поездкой, и, видимо, втайне переживая за него, он отозвал меня и сделал форменный выговор, будто я никчемными разговорами отнимаю у Яшина время. Я был изумлен, так как разговоры мои ограничивались общей беседой за обеденным столом, но Рубцову и это казалось слишком.

Спорить я не стал, хотя обиделся: зачем на мне срывать свою досаду? Я даже постеснялся попросить Яшина надписать книгу на память, что, к счастью, он сделал сам.

Потом уже, в Вологде, Николай Михайлович объяснил мне причины своей вспышки:

— Не видно разве, что человеку тяжело? — и мы помирились.

Александр Яковлевич после поездки слег в больницу в Вологде. А через год мы хоронили А. Я. Яшина на его родине, на Бобришном угоре.

Во время поездки по Волго-Балту мне приглянулось село Липин Бор: песок, сосны, озеро... Захотелось здесь пожить и поработать подольше. Решено — сделано: осенью я уже устроился там корреспондентом-организатором местного радиовещания. Поселился прямо в редакции. Вечером доставал из тумбочки постель и, пред-

варительно предупредив телефонисток, чтоб поутру разбудили долгим звонком, укладывался спать.

Красота тех мест очаровала меня, и я засыпал вологодских друзей письмами с просьбой прилететь, посмотреть, погостить. Написал такое письмо и Николаю Рубцову.

Однажды, уже зимой, мне по долгу службы пришлось сидеть на каком-то районном совещании. И тут по рядам передали записку: «Сережа! Я прилетел. Можешь выйти? Н. Рубцов».

Он сидел на деревянных ступенях Дома культуры в демисезонном, не по погоде, пальто. Мы обнялись.

— Извини, я без предупреждения. Приехал в аэропорт, билеты есть...

— Какой разговор!

С помощью редактора газеты В. Д. Елесина, давно знакомого с Рубцовым, удалось устроить Николая Михайловича в гостиницу. Ночевал он там только первую ночь — холодно да и шумно, а на следующую пришлось к дивану приставлять редакционные стулья.

Вечерами в редакции В. Д. Елесин и секретарь В. Фофанов подолгу задерживались, подписывая номер в печать. Подкидывали в печь поленья, играли в шахматы. Игроком Рубцов был серьезным, но азартным в проигрыше и выигрыше.

В Липин Бор Николай Михайлович привез рукопись будущей книги «Душа хранит». Когда подготовка ее была закончена и рукопись перепечатана, Рубцов стал собираться в Вологду. Мы проводили его на аэродром.

В 1968 году Северо-Западное книжное издательство наметило выпустить книгу-кассету молодых поэтов Севера. Причем каждый автор волен был выбрать себе общественного редактора. Нина Груздева обратилась с этой просьбой к Ольге Фокиной, я — к Николаю Рубцову.

В назначенный день я принес рукопись к нему домой. Он не заставлял меня править построчно. Понравившиеся стихи откладывал в одну стопу, не понравившиеся — в другую. Для издательства отобралось около четырехсот строк.

— А над остальными можешь работать...

После окончания Литературного института я стал работать в Грязовце. В октябре 1970 года пригласил Николая Рубцова на небольшой семейный юбилей. Он

обещал быть, но не приехал. Тогда я отправился в Вологду. Прихожу на улицу Яшина, где жил тогда Рубцов, поднимаюсь на пятый этаж, звоню условленным звонком.

Рубцов болел. На столе рядом с диваном были рассыпаны разнокалиберные таблетки.

— Знаешь, сердце прихватывает...

С моим приходом он смахнул в стол какие-то рукописи, принес с кухни вареную картошку в мундире, селедку, початую бутылку вина.

— Хлеб есть, но черствый: я уже два дня из дому не выходил.

Так и просидели мы до вечера.

— Слушай, ночуй у меня, как-то не хочется оставаться одному.

Мы поставили раскладушку и улеглись, не выключая света. Рубцов не спал до полуночи. Не спал и я. Эх, сгрести бы со стола приторный валидол да уехать вместе с Рубцовым в деревню...

Утром он разбудил меня на поезд. Пора было ехать на работу. На прощанье подарил только что вышедшую свою книгу «Сосен шум». Пообещал как-нибудь приехать: «Вот поправлюсь и тогда...»

Но приехать к Рубцову пришлось мне. И случилось это 19 января 1971 года.

ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ

Сквозь зелень сосняка шумно синело Рижское взморье. В кои-то веки выбрались мы сюда и распахнулись на три недели до беспамятства. Мы торопились к дюнам, к белому и теплому песку. И вдруг — откуда ни возьмись — завертелся, закружился передо мной желтый листок. Я поймал его и с радостным удивлением оглянулся назад: среди откачнувшихся от берега сосен золотились и березки. И напомнили, что на моей родине уже осень, моросят дожди, в перелесках пахнет грибами.

И под каждой березой — гриб,
Подберезовик,
И под каждой осинкой — гриб,
Подосиновик.

Ах, Николай Рубцов! Стихи его настигают душу внезапно. Они не томятся в книгах, не ждут, когда на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом воздухе. Они, как ветер, как зелень и синева, возникли однажды из неба и земли и сами стали этой вечной синевой и зеленью... Я держал на ладони огневой лист березы и уже не замечал ничего вокруг. Гул моря отступал от меня, отодвигался, и в его удалении я расслышал шум вологодских лесов. И вспомнил далекое.

Была ранняя осень, кажется, 1966 года. Александр Яковлевич Яшин, вырвавшись из Москвы, задержался в Вологде и заболел. Я почти каждый день забегал в больницу. Когда ему стало получше, он сказал, что хорошо бы хоть на денек махнуть на рыбалку, куда-нибудь к Леже. Ну, я рыбак аховый, однако в Сухонском пароходстве достал легкий катерок и позвал с нами Колю Рубцова.

Нет большего приволья сердцу, как рано утром, по холодку, бок о бок с товарищами плыть на молодую зарю! Яшин, в теплом спортивном костюме, в брезентовой куртке, побледневший от хвори, весело и широко поглядывал на нас, на рулевого, на реку, не отворачивал лица от брызг, и брови его крылато темнели. Рубцов поживался, понадежней нахлобучивал вылинявший беретик и привычно втягивал шею в приподнятый воротник поношенного пиджака. Мы были по-мальчишески рады быстрому речному гону.

Город остался далеко позади. В реку уже лилось солнце, а с берегов доносился слабый дух застогованного сена. Мы почти не разговаривали. Лишь в одном месте, около устья Лежи, Яшин подсел к нам поближе, чтобы не напрягать голоса, и коротко рассказал, как несколько лет назад развеселые вологодские мужики, с которыми он напросился порыбачить, перевернули лодку вверх дном, и если бы не он, то вряд ли бы выплыли сами. Пока вытаскивал мужиков, весь улов и груз канул в глубину. Канула и новая японская кинокамера, купленная им в Москве за большие деньги. Нырял, искал, но глубина — что пропасть. Потом пришлось везти сюда водолаза. И водолаз долго искал, все-таки нашел, но оптика была уже испорчена.

Мы посочувствовали Александру Яковлевичу, хотя ни я, ни (предполагаю) Рубцов тогда не понимали необходимости покупать столь дорогие вещи: мы всегда жили на скудные деньги.

Стукнул по карману — не звенит,
Стукнул по другому — не слышать...

Пронеслись в голове эти грустные, с мудрой усмешкой рубцовские строки, услышанные от него еще при первом знакомстве. Яшин показал нам это злосчастное место, хотел было тут задержать моториста, но махнул рукой, и мы помчались дальше.

Для остановки выбрали лесистый остров перед самой Сухоной. Здесь заливчики, навесные тени, красота. Договорились с рулевым, когда приехать за нами, и азартно выгрузились на остров. И не успели подняться повыше, как Рубцов бросил удочку и метнулся в сторону. Он с восторгом вскинул в руке крепкий, в темно-рыжей опалине подосиновик.

— Ну, ребята, не пропадем! — заулыбался, помолодел Александр Яковлевич.

— Да вы посмотрите, полюбуйтесь, парень-то какой! — сиял Рубцов и показывал на ладони прекрасный гриб. — Мать моя богородица!..

И во мне закипело желание сразу же броситься в лесок, да и Яшин заколебался, но послеболезненная слабость удерживала на берегу.

— Вот что, ребята, я тут посижу, может, на ушицу поймаю, — разволновался он, — а вы как хотите.

Мы сначала сдержали себя, накопили червяков и пошли за ним. С каким удовольствием, с затаенным ожиданием забрасывал он удочку и, такой высокий, сразу же приседал в траву, но и трава не скрывала его — тогда хоронился у ивняка. И вдруг, как солнечную полосу, вымахнул он из темной воды рыбину и, счастливый, потряс перед нами. Мы порадовались за него. У самих не клевало: рыба не попадает на ленивый крючок.

Смотрю, Коля, приставив палец к губам, попятился к лесу. И я, наживив свою «невезучую» удочку хорошим червяком, воткнул крепче в осоку (а вдруг язык!) и с ведром — тоже в лес.

Рубцов ожидал под березами.

— Давай, — говорит, — кто больше найдет. — Узкие, глубокие глаза лучились распахнутой волей всего его существа.

— Давай! — отвечаю, и мы враз нырнули в березовую прохладу.

Я замешкался в стороне: грибы открываются неторопливому шагу. Вдруг слышу: «Гол!» Рубцовский голос прозвенел победно и задел мое самолюбие. Я вытянул шею и зоркими прочесами закружил по березняку. Снова донеслось: «Гол!» — и показалось, что от того веселого крика листья обрушились и желто покрыли траву. Ну где вы, грибы? Я кидался туда-сюда, и вот радость: по темным крайкам высохшего бочажка сверкнули го-

ленькие обабки. Ах, наконец-то! И, не срезав еще, закричал во весь голос: «Гол, гол, гол!» И с удовольствием прислушался: в отдалении метались и трещали рубцовские шаги.

Так мы, превратившись в ребятишек, долго переключались друг с другом и в этой игре не заметили, как прочесали весь остров. Рубцов первый выскочил к песчаной косе. Я, раздвигая последние ветки, задержался: он стоял, раскинув руки и запрокинув лицо в небо, рубашка пузырилась облачком. И в сухой фигуре, в скуластых чертах сквозила готовая к взлету легкость. Лишь огромный лоб утяжелял его, как бы пригнетая к земле. Я понял: душа его в этот миг пела высотой, синевой, солнцем. И замер в шаге.

Сколько я слышал о нем разных наговоров: угрюмый, безлюдный, неприкаянный — да мало ли что трепала молва! Такое впечатление создавалось потому, что Рубцов даже в многолюдстве бывал человеком совершенно одиноким. Он вроде бы и слушал чужой разговор, да не слышал его. Это многих обижало. Люди не догадывались, что, оказывается, и в самой шумной толчее можно внутренне работать, погружаться в свою мысль. Можно за поверхностными, обыденными голосами слышать трепет природы за окном.

Однажды он так сидел в моей квартире на громком празднике. Народ собрался весьма грамотный: журналисты, кое-кто из литераторов. Рубцова они еще мало знали. И потому любопытно поглядывали на него. А он молчал, а он любопытства не проявлял. Сидел, пил вино да думал о чем-то своем. Казалось бы, чего людям беспокоиться: ну, сидит — и пусть сидит. Так нет, задевало: молчит — а еще поэт! Воображала! Не стерпела одна знакомая, поманила меня из-за стола на кухню. «Ну что он сидит, как сыч? Веселиться мешает!» Вообще-то она по-своему была права: раз оказался в компании — будь со всеми заодно. Но, увы, и я не смог тогда расшевелить Рубцова.

В те встречи я присматривался к нему и понял, что у человека могут быть одновременно как бы два слуха, два зрения, два потока существования — верхний и глубинный. Они не совпадают друг с другом. Верхний поток несет обыденность, а глубинный — истинность жизни. Рубцов был из «глубинных». Не случайно он обронил: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит

никто...» И это была не рисовка, а горькая, изнуряющая его самого внутренняя правда таланта.

И вот в тот миг на песчаной косе острова он, казавшийся одиноким на людях, был весь распахнут, растворен в окружающей природе: в белых облаках, в солнечных бликах, в золотом кружении леса. Он очутился наедине с природой. Наедине — значит, слитно. Он был уже как бы не он, а рассеянный свет. Вот счастливый миг полного единения души с лесом, водой и небом — со всем мирозданием!

Впоследствии мы прочитали такие его строки:

Я так люблю осенний лес,
Над ним сияние небес,
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист,
Иль в дождевой веселый свист,
Но, превратившись, возродиться
И возвратиться в отчий дом,
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою большою
Сказать: — Я был в лесу листом!
Сказать: — Я был в лесу дождем!
Поверьте мне: я чист душою...

Не тогда ли на острове сверкнули в нем эти строки?.. Но тогда я, конечно, их не знал, но представить уже мог, что появятся, ибо застал поэта в момент озарения. Он как бы очнулся, почувствовав, что я поблизости. Повернулся ко мне — вправду озаренный.

— Мать моя богородица, красота-то какая! — улыбался он, постепенно возвращаясь на землю.

Мы весело осмотрели грибы: подосиновики да подберезовики в моем ведре и в его сумке. Примерно одинаково. И заторопились обратно к Яшину.

Александр Яковлевич встретил добродушно-укоризненно: убежали, не сказались, — и нам стало неловко. «Да вы сами не захотели», — оправдывались мы, а он смотрел нам в глаза с затаенно-пристальной улыбкой и был доволен, что мы в своем смущении совершенно искренни.

— Ну, показывайте, чего там? — переменял гнев на милость и, когда мы высыпали перед ним грибы, наклонился, зажмурился, вдыхая в себя шумно глубоко чащобный, свежий дух, а потом радостно вскинул голову: — Как на Бобришном! Только грибки там — не чета

этим. Белые! — он распрямился, сияя. — Надо скорей туда...

В бидончике у него плескались рыбки. Мы глянули: маловато — и с чувством вины поспешили к своим удочкам. Моя хорошая наживка давно запуталась в осоке. «Язь — не про нас», — подумал я, раздраженный сам на себя, и, пытаясь наверстать, закидывал удочку и до рези в глазах следил за поплавком. Лишь самая малая удача посетила меня в таком старании — одна-единственная сорожина. И я, смущаясь, принес ее и возложил в общий котелок. И утешен был тем, что Яшин поручил мне воспламенить костер и приготовить к уху все необходимое. Ну, тут уж я постарался!

Уха получилась у нас хоть и не тройная, но горячая. Брякали ложки-кружки, и мы счастливые сидели у веселого огня. О чем говорили — теперь уж не вспомнить всего. Память наша, что полянки да тропки в лесу, зарастает слишком быстро. Иной раз уверенно думаешь, что помнишь многое — как же, был очевидцем, был участником! — а станешь вспоминать — с трудом проталкиваешься в минувшее.

Твердо помню одно: стихов не читали. Поэты вообще редко читают свои стихи друг другу. Задержалось в памяти, как Александр Яковлевич внушал нам, что надо беречь здоровье.

— Сгораем раньше срока, ребята, — беспощадно говорил он. — А для писательства здоровье нужно железное. Как шахтеру! Обо всем печемся — о себе забываем...

Слушали мы Яшина и, поскольку тогда были здоровы, тут же забывали предостережения. Чужой опыт не учит, пока сам не споткнешься...

Еще помню, как радостно возвращались в Вологду. Моторист, заехавший за нами, успел отведать ухи и гнал катерок с ветром. День клонился к вечеру. Река горела предзакатно. Встречные суда плыли на Тотьму, и Рубцов провожал их долгим, задумчивым взглядом в родную сторону. А Яшин посвежел, ожил и говорил, что надо давно бы так прокатиться: природа лечит лучше, чем доктора...

Вот он — весь день, проведенный вместе. Ничего особенного не было, не произошло, так почему же он помнится мне так долго?

...Я отряхнулся от воспоминаний — на песке лежал желтый березовый листок. А передо мной широко синело море, и на самой черте горизонта белели балтийские корабли, стоявшие на рейде. Я вглядывался в них, а волны шумно накатывались одна за другой и оттуда доносили знакомый голос.

В жарком тумане дня
Сонный встряхнем фиорд!
— Эй, капитан! Меня
Первым прими на борт!
Плыть, плыть, плыть...

Это опять слышались они, строки Николая Рубцова. Поэзия его и вправду вездесуща.

СУГРОБЫ

Жизнь!
Не часто в ней друг встречается.
Только вместе —
И вот уж нет.
Где-то,
Словно плывет-качается,
По проселку идет поэт.
И одежкой он скромно помнится,
И неброской игрой ума,
И за ним на угор
Поземисто
Насугробливается зима.
Он свободен!
Какого лешего
Счастье грезится? —
Ерунда!
Ива,
Словно заледеневшая,
Пригорюнилась у пруда.
Не в его ль тепле —
Счастье ивино?
Если так,
То оно — во всем...
Лошадиной ноздре занненной
Чем не счастье дышать овсом?
Что же — счастье?
Чего-то выстрадать?
Накубышить в себя гроши?
Чувство истины?
Меткость выстрела?
Единенье с душой души?
Нет!

Оно только манит издали,
Как дымки над родными избами,
И как детства заря в судьбе
Лишь миражно зовет к себе.
Не насытятся им,
Не выболеть, —
Перезлей любви и вина...
А свобода?
В любом ли выборе
Рядом с нами стоит она?
Совість,
Счастье,
Свобода,
Истина —
Все едино
И независимо...
Как земная жизнь в невесомости,
Где ты маленький и большой...
Чем дано тебе больше совести,
Тем возвышенней ты душой...
Так шагает поэт —
Создание
Плоти, радости и тоски, —
Вспоминая дороги дальние,
Что на деле совсем близки.
Под шапчонкой —
Не тесно волосу.
Не богат, —
А что хошь проси!
Щедро во поле,
Щедро во лесу,
Щедро, стало быть, на Руси!

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

Разговор этот с Николаем Михайловичем Рубцовым у меня состоялся глубокой осенью 1970 года. Встретились случайно. Жили мы поблизости друг от друга и за продуктами ходили в один магазин на улице Урицкого.

Шел он с сеткой, набитой бутылками пива.

— Пойдем, — сказал он. — Приглашаю. Ту женщину, которую ты недавно видел со мной, которая подарила тебе свою книжку стихов, я решил навсегда ввести в свой дом. Она уже у меня. Понимаешь?

— Я тебя не поздравляю...

Почему вырвались у меня такие слова — не знаю. Просто шевельнулось в душе что-то тревожное, вот и ляпнул, не думая, первое, что пришло в голову.

— Почему? — настороженно спросил он и недобро сощурился.

Я пожал плечами. Объяснить тотчас свою фразу, свои опасения не мог. Он проколол меня своим пронзительным взглядом, резко повернулся и ушел, а я с тяжелым чувством двинулся по своим делам.

Скоро я забыл об этом разговоре. Мало ли бывало с ним таких вот «не совсем ласковых» встреч! Но двумя неделями позже, когда я шел на собрание вологодских писателей и зашел перекусить в блинную. Рубцов неожиданно подошел с тем же выражением лица, сердитым,

чуть презрительным. Обедали, стоя нос к носу, над круглым мраморным столиком на длинных железных ножках.

— Почему ты меня тогда не поздравил? — резко-ва-то, но с явным интересом вдруг спросил он.

Мне показалось, что он не на шутку возбужден и недавняя бестактная фраза больно помнится ему. Я был почему-то убежден, что прав, что с этой женщиной ничего хорошего у него не получится. И в тот момент думал так же. Но лицо, глаза его выражали то ли скрытое раздражение, то ли страдание. Оттого я сказал как можно мягче:

— Видимо, плохо воспитан и, когда ты приглашал меня к себе, был в неподходящем настроении. Бывает ведь такое? Конечно же, должен был тебя поздравить и пожелать всего наилучшего. Прости уж и считай, что я исправил свой промах.

Он недоверчиво поглядел и пробормотал что-то вроде:

— Ладно, не сердись... Хорошо, если ты так...

Потом улыбнулся и сказал доверительно:

— Она теперь гораздо лучше стихи пишет...

И неожиданно погрустнел. Приставать к нему с вопросами и разговорами, когда он в таком состоянии, было бесполезно, и мы молчали. Впрочем, успокаивать его, давать советы было ни к чему. Он был достаточно проницателен, умен, чтобы понимать все отчетливо и до конца.

...Когда я пришел на собрание, он был уже там, сидел с самым независимым видом, курил, нога на ногу, и мрачно смотрел перед собой, не замечая кажется, никого.

В тот раз обсуждали стихи одного студента Литературного института, который жил тогда в Вологде. Случилось так, что на собрании присутствовал и руководитель семинара, в котором состоял пробующий силы в поэзии молодой человек. Руководитель, оценивая творчество своего ученика, заявил, что в недалеком будущем видит в нем незаурядного поэта. Молодой человек читал стихи. И вдруг Рубцов вскипел:

— Никакой он не поэт! И никогда им не будет!

Рубцов не аргументировал свой столь неожиданный для присутствующих категорический вывод. Всерьез ему никто не возражал: зачем, мол, обращать внимание

на чудачества... Но собрание получилось неловким, скомканным да так и закончилось с этим осадком. Забегая вперед, надо сказать, что Рубцов оказался прав. Поэта из того молодого человека не получилось. Но тогда-то многие думали не так, осуждали Рубцова.

А он таким уж был — неудобным, непонятным и неподходящим для всяких «правильных», заранее запрограммированных обсуждений и собраний. Он был сам по себе. И это кого-то отпугивало, а у кого-то вызывало жгучий интерес, желание приблизиться к нему, понять и почерпнуть у него. А он не очень-то позволял стать рядом.

Это собрание мне помнилось поначалу тем, что опять Рубцов соригинальничал, показал себя. Я невесело усмехнулся тогда: зачем, мол, он в кровь бьется головой о стену авторитетов? Но, видимо, он ничего не мог поделать с собой, а вернее — не хотел. Он знал себе цену, верил в себя, считал, что имеет право на оценки и всегда пользовался этим правом с удивительной прямоотой и смелостью. Хотелось с ним об этом поговорить, но несколько недель встретиться не довелось, а потом мне пришлось уехать в длительную командировку на Кемский рейд, что близ Белого озера.

Дела я там закончил за неделю, но еще почти столько же просидел в аэропорту из-за нелетной погоды. А когда на попутных машинах с великим трудом добрался до дому, услышал от жены:

— Ты по командировкам покатываешься, а Рубцова-то уже похоронили!

Сначала я не поверил. Но минут через пятнадцать убитые горем друзья поэта рассказали мне все.

И довелось мне присутствовать лишь на открытии памятника на его могиле.

Познакомился я с Рубцовым летом 1967 года. Работал тогда в Чагоде, в Вологде был в командировке. Зашел к знакомым ребятам в редакцию «Вологодского комсомольца», там его и увидел впервые, молодого, остроглазого, но молчаливого и, казалось, очень застенчивого. Большой группой мы пошли обедать в ресторан «Чайка». Шли по узким тротуарчикам улицы Калинина, задевая головами за листья деревьев. Было жарко, но молодые журналисты живо балагурили, а Рубцов молчал, держался поодаль.

За столиком мы оказались рядом. Разговор зашел

о только что появившейся на прилавках книге поэта «Звезда полей», скоро принесшей ему широкую известность. Книжка эта уже была у меня в портфеле, но я ее не успел прочесть и оттого слушал других и одновременно с удивлением поглядывал на ее автора, который и в ресторане не снимал с головы помятую соломенную шляпу. Но и шляпа не скрывала, что голова пострижена наголо.

— Что вы на меня так смотрите? Я обычно совсем не такой, — вдруг впервые за весь день обратился он ко мне. Я пожал плечами.

Через некоторое время, когда газетчики разбежались по своим делам и мы шли по городу вдвоем, он рассказал мне историю однодневной давности. Его обманул и обокрал малознакомый человек, которому он почему-то поверил. Рубцов, обнаружив это предательство, естественно, пришел в гневное состояние, бросился догонять этого человека и на бегу врезался в двух милиционеров. Те, не долго думая, взяли его за руки и отвезли в отделение. Там, пока ждали начальство, пока где-то разбирались в документах, поэта остригли. А через несколько минут, видя, что он не пьян, не буянит, и сообразив, что он ничего не совершил, отпустили. И пришлось ему просить у друзей хоть какой-нибудь летний головной убор. И было видно, что ему неловко быть перед людьми, знакомиться с ними в таком виде.

В тот день он провожал меня на поезд и несколько раз спрашивал, как я отношусь к детям. Я ответил, что в общем благодушно относился, но после того, как у меня появился свой сын, благодушие сменилось каким-то более сильным и даже щемящим чувством. Он долго изучающе глядел на меня и шурился. Мне показалось, что он страдает. Я тогда еще не знал, что у него есть маленькая дочь и что она от него далеко.

Снова мы встретились примерно через год, когда я уже перебрался в Вологду. Мы долго ходили вдоль реки. Начинался сентябрь с резковатым холодным ветром. Рубцов часто останавливался, замолкал на полуслове и вдруг сказал:

— Послушай, как это звучит?

И продекламировал, сильно акцентируя каждое слово:

— Грустные мысли наводит порывистый ветер...

Обернувшись ко мне, он ждал, что я скажу. Глаза его горели. Я в некотором недоумении молчал. Он нетерпеливо сказал:

— Это может быть началом стихотворения. Может?

Помявшись, я честно сказал:

— Порывистый ветер вызывает у меня скорее раздражение, а не грусть. Так, по-моему...

Он сердито поглядел на меня снова сузившимися глазами, рубанул рукой воздух, словно чрезвычайно разочаровался во мне, но сказал вполне миролюбиво:

— Ты не понимаешь... Ведь за этими словами будут еще строчки.

Я все равно тогда не понял его и лишь много лет спустя, читая его стихотворение «Скачет ли свадьба...», встретил эту строчку слово в слово, хотя и не в начале. Но и в середине стихотворения она была как нельзя лучше к месту.

Позднее, перечитывая его сборники, я заметил, что в стихах его нередко встречается грусть, но совершенно нет злобы или раздражения. Видимо, эти чувства вообще были чужды его музе, оттого и порывистый ветер вызывал в нем лишь грусть.

В тот день мы еще долго разговаривали о поэзии, он заставлял меня (буквально требовал) читать наизусть любимые мои стихи и глядел серьезно, изучающе, слушал внимательно. А вечером, увидев на моей книжной полке «Звезду полей», молча взял сборник и написал на титульном листе размашисто и четко: «Володе, Владимиру Степанову с уважением к его одаренности. На добрую память от «грустного осеннего листка». 2.IX-68. Н. Рубцов».

С этого дня мы встречались часто, но больше он ни разу меня не хвалил и автографов не оставлял. Наоборот, сказал как-то:

— Не ной, что тебе приходится заниматься журналистикой, а не литературой. Каждый человек должен занимать свое место.

Он нередко представлял перед друзьями как бы в новом качестве. То самозабвенно увлекался русской историей, разыскивал где-то древние книги и, казалось, не мог больше ни о чем разговаривать; то не выпускал из рук (и на улице и дома) томика Экзюпери; то убеждал всех, как меня в тот раз, что каждому уготовано в жизни определенное место и каждый на этом месте должен

выполнять свои обязанности честно, с полной отдачей сил. Многое в его высказываниях представлялось спорным и противоречивым, но переубедить его даже в пустяке было невозможно. Впрочем, в последние три года жизни в крайности он уже не бросался, целиком отдаваясь поэзии.

Но по натуре он был увлекающимся до неумности. Если уж петь песни, то с полной отдачей сил, с резким дирижированием обеими руками. Если слушать понравившуюся мелодию, то ставить пластинку на проигрыватель буквально десятки раз подряд. Если ему кто-то не нравился — он заявлял об этом прямо в глаза, не подбирая слов поделикатнее, или демонстративно не вступал в разговор.

Помнятся дни, когда он ходил по зимнему городу без теплой одежды, умещая все свое имущество в чемоданчике-балетке. У него не было тогда своего угла, ночевал он у друзей, знакомых. И желающих приютить его было много. Как-то вьюжным днем, уткнувшись подбородком в шарф и ежась в легком, явно не по погоде пальто, он остановил меня в центре города и спросил:

— Как писать заявление на жилье? Мне говорят: напиши заявление и сходи к одному начальнику, расскажи о себе. Как это делается? Никогда мне не приходилось. Не умею я, не могу...

В тот раз он неодобрительно, с иронией отозвался о том начальнике и ушел своей дорогой, к новому знакомому, который его приглашал (а был он уже известен как поэт по всей стране). Но буквально через пару месяцев говорил почти с восторгом:

— Оказывается, умный и добрый человек! И в литературе не профан. Не ожидал. Нельзя судить о людях, не познакомившись с ними.

Встреча у них все же состоялась. Устроить ее помогли друзья из писательской организации, которые постоянно заботились о нем. И после этого я не слышал от Рубцова ни одного огульного слова о руководящих работниках. А если раньше он и позволял их себе, то, видимо, натерпелся от некоторых со своим характером. Жизнь вообще не баловала его, и некое недоверие ко всему и всем, настроенность его почти постоянная вполне понятны.

А знакам внимания, тому же жилью, радовался, как ребенок. Радовался и письмам друзей, и трехрублевым переводам, когда друзья «проталкивали» где-нибудь в газете стихотворение. Немало было разговоров о его образе жизни, о вспыльчивости. Он сердился, долго терпел, но порой и не сдерживался, пытаясь защититься.

Ко мне не раз заходили заезжие литераторы средней руки с просьбой свести их с Рубцовым, чтобы получить от него благословение на поэтическую работу. Я сначала не отказывал. Идя за мной, они опасливо спрашивали:

— А он не выругает? Не выгонит?

— Со мной не выгонит, — отвечал я без всякой уверенности. А позже водить их перестал, потому что Рубцов категорически потребовал:

— Прекрати!

До сих пор приходится слышать, что Рубцов в отношениях с людьми, даже с товарищами, был неровен и противоречив. То он кажется нежным, все понимающим другом, то замкнутым, хмурым и непримиримым критиканом. То весел, то грустен. То энергичен и порывист, то глубоко устал и равнодушен. Это озадачивало многих. И мало кто понимал, что при видимой противоречивости и неоднозначности он оставался (да и всегда был) удивительно цельным человеком.

Ему, прожившему нелегкую жизнь, была не свойственна склонность к безудержному юмору или веселью. Мне казалось, да и сейчас я в этом уверен, что Рубцова постоянно одолевали какие-то очень серьезные и глубокие думы, и в первую очередь вопросы человеческого бытия и творчества. Это и по стихам его хорошо видно. Редкие же шутки поэта, в том числе и стихотворные экспромты, скорее грустны, раздумчивы, очень редко — озорниковаты, а по заключенной в них мысли слишком серьезны для обычной шутки.

Как многим хорошо знакомым, он говорил мне:

— Заходи в любое время.

И десятки людей, не всегда понимавших меру его таланта и ценивших его время, пользовались его гостеприимством и добрым расположением. Но однажды вечером, когда я позвонил в его квартиру на улице Яшина, он, морщась, вскрикнул:

— Ну зачем ты в такое время! У меня только что начали складываться хорошие стихи!

Я в немалом смущении ушел и долго не заходил к нему, не решался. Обиды не было. Но боялся, что зайду — и вдруг вновь помешаю. И вот при встрече на улице он сказал мне:

— Я в тот вечер написал хорошие стихи. Ты не помешал. Заходи в любое время.

Он тепло улыбнулся, и все встало на свои места.

Был Николай Рубцов на редкость смел, прям и определен. И в повседневной жизни, и в поэзии, переполненный явлениями окружающей его жизни, своеобразно усваивающий их, он смело шел к тому, чтобы встать вровень с самыми признанными авторитетами. Немало писали — и при его жизни и после смерти даже, — что отдал он дань подражания Тютчеву, Есенину... А он не подражал, он соизмерял свои силы с силами великих, стремился проверить собственные возможности. И делал это чисто по-рубцовски. Не об этом ли писал он и сам, видимо, еще не вполне удовлетворенный достигнутым:

Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова!..

Гордо, честно, с сознанием своих сил сказано это.

Позже он делился со мной мнениями о новых его книгах, в частности о сборнике «Душа хранит», который показался некоторым мрачноватым. Рубцов волновался, переживал и очень обрадовался, когда я сказал ему, что сборник мне понравился, что не возбраняется поэту осмысливать в стихах и не самые светлые стороны человеческой жизни, вплоть до ждущей каждого смерти.

— Скоро должна выйти еще одна моя книга, — заговорил он. — Но я думаю, все ли высланные в издательство стихотворения достойны публикации. Может, я половину заменю... Может, и вовсе заберу...

Он был мучительно требователен к себе.

На этом, пожалуй, можно бы и закончить воспоминания о Николае Михайловиче Рубцове. Многие знали его лучше. За четыре с небольшим года знакомства, а это были последние годы и месяцы жизни поэта, я встречался с Рубцовым только в Вологде и не выезжал с ним никуда дальше городского парка Мира. А он нередко уезжал и потом привозил то «алтайские» стихи, то «Пальмы Юга»...

Мне ни разу не доводилось слышать, чтобы он с увлечением читал свои стихи. Помню его чаще всего задумчивым, сосредоточенным, реже — возбужденно-одухотворенным. Наверное, немногочисленные друзья его, писатели, понимали его более тонко и глубоко, а раскрывался он перед ними полнее.

Помню, стоял я возле своего дома на улице Герцена, ждал машину и вдруг услышал знакомые голоса. Улицу перешли и приближались ко мне Рубцов и Василий Белов. Почти одного роста, касаясь плечами друг друга, они что-то живо обсуждали и вовсе не видели меня, не замечали, наверное, вообще никого. Меня поразили их как-то по-особому светящиеся глаза, одинаковое выражение лиц, свидетельствующее о напряженной духовной работе. Они говорили о чем-то своем, сокровенном и, как мне показалось, были согласны в чем-то исключительно важном, очень хорошем. Может быть, они делились задумками? Или только что прочли что-то друг другу и это прочитанное так понравилось и так взволновало их? Может, это был редчайший случай общего вдохновения, не передаваемой словами духовной близости?

Я как-то сообразил, что окликать их в эту минуту не надо. Не надо даже здороваться. Они, так и не заметив меня, прошли в двух шагах...

Некоторые мои знакомые с восторгом рассказывали о том, как Рубцов поет свои песни на мелодии, сочиненные им самим, аккомпанируя себе на гармонии. Однажды и я был тому свидетелем. И большого впечатления на меня это не произвело. И увлеченности я в Рубцове в тот раз не заметил. Видимо, он и сам считал, что это совсем не главное, не обязательное, а может быть, и не нужное дело. Зато я помню, как он не раз наотрез отказывал друзьям в настойчивых просьбах не то что петь, но даже и читать свои стихи. И при этом еще сердился.

Его одолевали одному ему ведомые думы. Ведь даже только по стихам заметно, как остро и непривычно ощущал Николай Рубцов себя не просто человеком, а частицей мироздания, связь с которым была для него жгучей и смертной не на словах. Он хорошо сознавал меру своего таланта и своей ответственности перед поэзией и народом. И отдавал творчеству все силы, без остатка.

Он как-то одновременно и высоко ценил себя и свои стихи, и был недоволен ими и собой. И буквально рвался вперед, в надежде сделать еще лучше и больше.

И тут угнетал его, наверное, недостаток — нет, не духовных — физических сил.

Я уверен, мучил его и роковой разлад между личной пронзительной искренностью и сложностью и горечью не всегда еще благополучного нашего бытия. Мог ли разрешить все эти задачи и «загадки» один человек, Рубцов?

На многое удовлетворительных ответов он еще не находил. Оттого понятна его устремленность в будущее, которое виделось ему светлым. Поэт по складу души, он не был до конца логическим мыслителем или четким философом. Он сильнее воспринимал фактическую, эмоциональную сторону жизни и философии, сознательно упрощая их многогранность до противостоящих друг другу, но имеющих тысячи лиц добра и зла, честности и подлости, ума и глупости.

КЛАДБИЩЕ ПОД ВОЛОГДОЙ

Края лесов полны осенним светом,
И нет у них ни края, ни конца —
Леса... Леса... Но на кладбище этом
Ни одного не видно деревца!
Простора первозданного избыток,
Куда ни глянь... Раздольные места...
Но не шагнуть меж этих пирамидок,
Такая здесь — до боли! — теснота.
Тяжелыми венками из железа
Увенчаны могилки навсегда,
Чтоб не носить сюда цветов из леса
И, может, вовсе не ходить сюда...
Одно надгробье с обликом поэта
И рвущейся из мрамора строкой
Еще живым дыханием согрето
И бережною прибрано рукой,
Лишь здесь порой, как на последней тризне,
По стопке выпьют... Выпьют по другой...
Быть может, потому, что он при жизни
О мертвых думал, как никто другой!
И разойдутся тихо, сожалея,
Что не пожать уже его руки...
И загремят им вслед своим железом,
Зашевелятся мертвые венки...
Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвенно сродни...
Осенний ветер...
Опадает строчка:
«Россия, Русь, храни себя, храни...»

ДУША ХРАНИТ

«Получили книгу Николая Рубцова. Спасибо, спасибо! Какие хорошие, какие удивительные стихи! Всю прочитали вслух. Сразу! Большое удовольствие! Замечательные стихи!

Захотелось больше узнать о нем. И как это так получилось? Погиб талант...

Взяла литературную энциклопедию, чтобы посмотреть, прочитать о нем. Подала сыну. Посмотрел и сказал: «О нем нет ничего. Не включен»*.

Это строки из письма Матрены Ивановны — матери поэта Евгения Фейерабенда из Свердловска. Я послала им сборник стихов Николая Рубцова «Зеленые цветы», вышедший, когда поэта уже не было в живых.

Прочитав письмо Матрены Ивановны, я — в который уже раз, только со все возрастающей, терзающей сердце горечью — подумала, что тоже так мало о нем знаю, хотя не один год жили с ним в одном городе, больше того — по соседству, встречались часто на улице, в магазине, в Союзе писателей, у друзей и знакомых, и еще — он очень часто бывал у нас. И при этом невольно вспоминаю письмо одной матери, несколько лет тому назад напечатанное в «Комсомольской правде». Ее спросили: что она могла

* Статья о творчестве Н. Рубцова включена в 9-й, дополнительный том КЛЭ (Прим, сост.)

бы рассказать о своем сыне, погибшем на фронте в Великую Отечественную войну, чем он выделялся дома, в школе, в жизни? И она горько, искренне призналась, что был он в семье не один, учился средне, бывало, шалил, не слушался, болел — не без этого. Тогда и заметила, что вырос, когда на войну добровольцем пошел. Если бы знала, что так все выйдет, если б предполагать могла, что убьют на войне, каждое бы слово, им сказанное, запомнила, каждый шаг. Если б только знала...

Вот так и я — тоже бы запомнила каждое слово, им сказанное. Тем более что собеседник он был удивительный, обладал великолепной памятью, знал много, рассказывал интересно и сам умел слушать, радостно удивляться и глубоко печалиться, а стихи мог читать сколько угодно.

Со стихами Николая Рубцова я познакомилась не много раньше, чем состоялось наше личное знакомство. Как-то, будучи в гостях у одного писателя, услышала строки из сборника «Звезда полей». До той поры я читала лишь несколько стихотворений поэта, кажется, в журнале «Юность». В тот вечер рубцовская поэзия звучала как гимн любви к Родине, к близким и дорогим сердцу людям, любви горестной и светлой, пронзительно нежной. Не меня одну — всех поражали глубина и мудрость, печаль светлая и песенная. И как поэт талантливо и естественно пользуется словом!

А личное знакомство произошло в феврале 1969 года, когда семья наша приехала в Вологду. Поезд прибывал вечером. Народу на перроне оказалось много, и не сразу к вагону пробились нас встречающие. Пока здоровались, знакомились, обнимались в толчее, разбирали вещи, Коля стоял чуть отстраненно, а когда я подала ему руку, обрадовавшись догадке, что это и есть Николай Рубцов — я видела его портрет, — он, чуть улыбаясь, уставился на меня своим острым вприщуре взглядом, вроде даже колючим, и сказал серьезно, чуть с вызовом:

— Рубцов!.. Вы обратили внимание: встречать вас явилась вся писательская Вологодская организация! Вот и я пришел тоже... чтобы в полном составе...

Тогда мне это показалось желанием выглядеть оригинальным и не очень понравилось, и недоумение посетило: Рубцов, написавший «Звезду полей», и этот — один и тот же человек! Это, может быть, еще и потому, что

я по стихам вообразила его себе вовсе не таким. На Коле темное ношеное пальто, шапка пирогом, шарф, пестренький, довольно легкий для зимы, небрежно высывался одним концом поверх пальто, на ногах — разношенные валенки, а на руках — деревенские варежки-самовязки из овечьей шерсти, новые, видать, даже не запустились еще, не обмялись. Руки отчего-то все время он держал напряженно, прижав большие, острозавершенные пальцы варежек к ладоням. И мне опять показалось: он нарочно руки так держит, напоказ, как бы «работает» под деревенского мужичка. Отчасти это так и было. Я после не раз буду убеждаться, что ему иногда нравилось «выглядеть» неряшливо: пальто — будто с чужого плеча, широкое, с длинными рукавами, помятое, шапка — тоже, валенки — стоптаны... Объяснял он это тем, будто проверяет, как же друзья и вообще люди к нему относятся, что думают о нем и что в нем ценят больше: его внешний вид или душу и талант.

А в тот раз, присмотревшись повнимательней, решила, что варежки ему просто велики. И тут не удержалась, уж пристальней посмотрела ему в лицо и опять встретила с его прищуренным взглядом, не только колючим, пронзительным, но и настороженным, беспокойным, что ли, необыкновенным, одним словом. Почти точное определение его взгляду — «тяжелый» — я уже после смерти поэта прочту в стихотворении Станислава Куняева, посвященном Николаю Рубцову. Прочитаю и удивлюсь, как тонко, как точно, как проникновенно сказал о нем С. Куняев: «Кровный сын жестокой русской музыки!» Прекрасно сказано! И взгляд его, «ни разу не терявший беспокойства», — все точно.

На другой день нашего приезда в Вологду к нам зашли друзья-писатели и мы пошли к собору Софии, на берег реки Вологды. Смотрели на древнее рукотворное чудо — на храм удивительный, тихо переговаривались.

На реке народу видимо-невидимо — люди праздновали масленую неделю: взрослые и ребяташки катались на санках, на фанерках с не очень крутых берегов; другие скользили на лыжах, третьи играли в снежки. Шум, хохот... А чуть в стороне от Софии, в загородке, как хоккейная коробка, в углу которой дымила тоненькая труба, перед темной, парящей прорубью присели на корточки или припали на колени, подсунув под них сухие половички или рукавицы, женщины — полоскали белье.

— Мы в детстве тоже... — вдруг заговорил подошедший Николай, заметив, с каким радостным изумлением наблюдаем мы за весельем яркого многолюдья. Но отчего-то не про детство, не про зимние проказы стал он рассказывать, а про то, как он любит летом провожать пароходы. — Сяду на зеленый в одуванчиках берег, закурю, задумаюсь и жду гудка пароходного, не сравнимого ни с каким другим, смотрю, смотрю... А пароход белый-белый! А берега зеленые-зеленые!.. И сделается охота побежать по траве босиком... как в детстве, сшибая ярко-желтые, а то уж воздушно-светлые головки — чтоб подольше не терять из виду пароход...

Вечером того дня все собрались отметить наш приезд. На столе — вино, закуски, шаньги! Не ватрушки, а именно шаньги, с картошкой, с творогом, со сметаной — на любой вкус! Каждая с тарелку величиной! Наверное, только в Вологде выпекают такие пышные да аппетитные и продают их всюду, на каждом углу. И едят их все походя.

Скоро заговорили все разом, смеялись, читали стихи. Николай Михайлович почти весь вечер играл на гармошке. Пил он мало, то ли не в настроении был, то ли не хотел производить плохое впечатление — не знаю. А пел много — и так пел! Пел свои стихи, подладив под них музыку, — сочетание необычное, великолепное, великолепное еще, быть может, потому, что, как пел сам он свои стихи-песни, так никто не сможет.

Я и потом, уже после его смерти, буду часто слышать его песни в семейном кругу, в кругу друзей, даже сама буду подпевать, и все будет вроде бы так и уже не так.

А Николай, устроив гармошку на узеньких коленях, чудно переплетя ноги — он их действительно как-то почудному переплетал, как бы обвинял одной ногой другую! — прошелся по клавишам, посмотрел в пространство, мимо или сквозь сидящих за столом и, отвернувшись вполоборота, запел:

Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...

Слова-то какие! Шесть слов — а перед глазами целая картина — видение природы!

Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные клики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...

Рубцов откинул голову, веки почти смежены, лишь бритвенно сверкают глубоко в прищуре глаза его, мглесто-темные, остролучистые, брови горестно сдвинуты, на шее напряглась и пульсирует, бьется крутая бугристая жилка, и голос уже вроде на пределе, в нем тоска и боль, тревога и сожаление, ожидание и отрешенность...

Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных птиц...

Смолк, расслабил руки, склонил голову.

Притихло застолье. Некоторые запokaшливали, за сигаретами потянулись...

— Коля! Это же прекрасно! — произнес Саша Романов. — Эти журавли... — Сдвинув брови, он попытался мысленно сравнить их с чем-то таким же, им под стать, и чувства свои выразить хотел, но не смог в момент этот и воскликнул: — Что ты с нами делаешь, Коля!

Опять все заговорили, зашумели, задвигали стульями...

И так будет всякий раз, когда Николай запоеет свои песни: не будет вокруг равнодушных, не будет спокойных, каждый по-разному, каждый по-своему, но каждый будет переживать смятение и радость, тоску и восторг, боль и наслаждение — чувства удивительные, необъяснимые, непременно возвышенные.

Время идет. Я уже знаю о незадавшейся личной судьбе Николая Михайловича, о том, что у него есть жена и дочка — живут в Тотемском районе, в Николе. По рассказам уже представляю их себе. Но он никогда не рассказывал о том, как переживает разлуку, даже не разлуку, а разрыв с родным человеком, со своей женой, то ли так и не ставшей ему близкой, то ли отчуждившейся в силу каких иных обстоятельств. Не доведется мне услышать от него такое, хотя мы будем часто и по долгу вести с ним всякие разговоры у нас дома, когда Николай зайдет «попроведать», как он говорил. Дочку он вспоминал часто, говорил, какая она смешная, что зуб вот передний выпал, что любит ее и жалеет, тоскует и мечтает, что вот поедет туда и целыми днями будет с нею. Или с нетерпением ждет, когда привезут ее в Вологду.

В другой раз Рубцов поет уже не про журавлей, а о земном, о человечески сокровенном:

Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут тихо поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока...

И сразу неуют, непогода, холодок вселяются в нутро — так зримо, так явственно предстает картина надвигающейся осени и в природе, и в душе, и предчувствие: вот-вот разразится беда, горе, трагедия между людьми, любящими и страдающими. И поет он сейчас совсем не так, как пел про журавлей. Горестно поводит головой из стороны в сторону, не поднимая глаз, будто не решается, не хочет спугнуть видение-воспоминание, будто вслушивается в прошедшее-минувшее, думает, печалится...

Рубцов — поэт, и по его стихам можно если не проследить, то почувствовать состояние души его, а почувствовав, невозможно не сопереживать.

Позже я узнаю и о том, как тетя Шура — добрая и ласковая няня в детском доме, где воспитывался мальчик Рубцов, — чаще, чем других ребятшек, незаметно оделяла его вниманием: то сушку даст, то слово ласково скажет. И маленький Коля тянулся к ней, как к родной. Подойдет, бывало, к ней и скажет: «У меня рубашка запачкалась». И она даст ему другую, чистую, и неряхой не обзовет, не поругает. «Тетя Шура, у меня пуговка оторвалась», — снова обратится к ней мальчик. И она пришьет ему пуговку, может, мимоходом и носишко утрет, по головке ли погладит, шнурок ли на ботинке завяжет...

Чуткая и нежная душа, он боготворит тетю Шуру и вместе с нею боготворит беспредельно, всем своим существом, окружающую его природу родного края. В то время он пока не умел выразить свои чувства высокими словами. Но когда на выпускных экзаменах за седьмой класс в школе будет дана тема сочинения «Мой родной край», Николай светло и удивительно поэтично расскажет «о родном уголке», так по-своему назвав сочинение.

Это сочинение, написанное ровным красивым почерком в обыкновенной ученической тетради в линейку со светло-зелеными корочками, лежит сейчас передо мной, и я думаю о том Рубцове, который, как и его сверстни-

ки, был обыкновенным парнишкой, мечтателем и заводилой, драчуном и преданным в дружбе и в то же время уже необыкновенным — уже в ту пору он был «сочинителем», иначе разве смог бы он сочинить встречу с медведем и вообще столь блистательно написать сочинение.

Пройдут годы. У Николая Рубцова уже появится своя семья — жена и дочка. Казалось бы, все хорошо, все нормально, все как у людей, но чем дальше, тем все чаще он будет ловить на себе осуждающий взгляд женщины — матери жены, будет выслушивать от нее упреки за то, что он-де посиживает на шее у жены да у тещи, пописывает стишки, в лес похаживает... А люди все работают, семьи кормят, одевают. И ей от людей совестно, что достался такой зятек, у которого ни в себе, ни на себе...

И все-таки Николай Михайлович вместо того, чтобы сесть за руль комбайна и «зашибать» большие деньги, как ему настоятельно советовали, по-прежнему ходил в лес, потому что не представлял жизни без природы, без шума сосен, без кукушки и коростеля, без клюквы и морошки. Но часто ходил уже не просто так, не радости и удовольствия ради, а собирал, точнее, заготавливал грибы и ягоды, сдавал их и вырученные деньги отдавал семье. И по-прежнему писал стихи, потому что они для него были самым главным, самым тем, ради чего он жил, о чем мечтал, в чем видел и находил истинное наслаждение и удовлетворение.

В одном из писем к Боккаччо Петрарка писал так: «Перестать писать — это значило бы отказаться от жизни...» Так, наверное, было и для Николая Рубцова.

В творчестве, как и в жизни, Николай Рубцов, как мне случалось наблюдать, мог быть верным, нежным, добрым и ожесточенным, мрачным и веселым, прямым и грубым, слабым и беззащитным — ничто человеческое не было и ему чуждо, и в стихах его отражалось все: его ум, вкус, осторожность, доверительность, проникновенность, нервность, мудрость, предчувствие — вся его сущность. И, думается, оттого он был такой сложный и противоречивый, что не давал ему спокойно жить его большой талант.

Помню, у нас на новоселье Николай был в ударе, весь вечер играл на гармошке и очень много читал стихов, особенно Тютчева. И еще несколько раз в тот ве-

чер играл любимый им «Вальс цветов». Я уж позже услышу о том, что этот вальс связан с его первой любовью, нежной, трепетной, робкой, светлой, о которой он даже не напишет стихов — будто бы боязно ему было прикоснуться, боязно опечалить или осквернить воспоминание о том «чудном мгновенье».

На другой день, под вечер, он снова пришел к нам, со смущенной улыбкой сказал: «Вчера мне вовсе не хотелось уходить, да отдыхать вам надо было... Вот пришел опять...» Вскоре он повел разговор о Гоголе, да так интересно, с юмором, с удивленной радостью, наизусть цитируя отрывки и реплики из «Мертвых душ». Мы смеялись до слез. Николаю это очень нравилось. Прощаясь, пообещал в следующий раз развеселить нас рассказами из литинститутской жизни.

И этот случай, и вообще то, что он часто, чаще, чем другие, заходил к нам, разговаривал, читал стихи, с улыбкой говорил, как у нас хорошо, уютно... Мне казалось, он понимал, чувствовал, как непривычно, одиноко, тоскливо нам пока на новом месте, и старался как бы скрасить нашу жизнь, отвлекал. Когда разговор шел о безграничности поэзии, Рубцов утверждал, что у каждого, даже самого посредственного поэта обязательно есть стихи, много или мало, пусть хоть одно, — мудрые, пророческие, всегда остающиеся современными и что все поэты, знают они это или не знают, хотят того или не хотят, — пророки. И тут же как пример приводил своего любимого Тютчева, что писал он сто лет назад — и уже о нас, о жизни, о человеке, о судьбе его, писал так, что читаешь сейчас — и душа захватывается от восторга, глубины и высочайшего мастерства, и еще...

— В общем, все, как у всех, как у нас. Как во все времена, — заключил он однажды и раскрыл книгу стихов Тютчева:

Есть и в моем страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других...
Их тяжкий гнет, их бремя роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих...

Рубцов читал стихи медленно, членораздельно, как бы подчеркивал весь глубокий смысл, вложенный поэтом в каждое слово. Вот он расхаживает по кухне и то вытягивает руку, то поднимает ее, согнутую в локте, поводит ею то резко, то плавно... Внезапно остановился и, задумавшись, заговорил после некоторого молчания уже

тише о том, что «о любви и о том, как умели люди любить... и умеют, — поправился он, — писать трудно, а чтобы лучше, — наверное, и невозможно...»

Не помню, на второй или третий день после майских праздников перед обедом приходит к нам Николай Михайлович, постриженный, в голубой шелковой рубашке, смущенно-улыбчивый, руки спрятаны за спину, а сам все улыбается, и загадочно и радостно. За ним вошла женщина, светловолосая, скромно одетая, чуть смущенная, но полная достоинства. Мы как раз пили чай и пригласили их. Войдя в кухню, Николай торжественно поставил на стол деревянную маленькую кадучечку, разрисованную яркими цветами, — такие часто продают на базаре. В ней — крашенные разноцветные яички. Заметив наше удивление, тут же выпалил радостно: «Сегодня же пасха! А вы и не знали? Я же говорил, что они не знают, — сказал он, обратившись к своей спутнице. — Христос воскрес! — весело воскликнул он. — А можно похристосоваться-то?»

Всем сделалось весело. Сели за стол. Разделили на части одно расписное яйцо, остальные оставили в кадучечке — очень уж красиво. Николай сообщил, что яички эти привезла Гета, и указал на женщину. Я поблагодарила, поинтересовалась, откуда и когда она приехала. Мне тоже захотелось сделать ей приятное, и я спросила, есть ли у нее дети, чтоб послать им гостинцы. Она потупилась, как-то странно улыбнулась, на Колю взглянула и, тряхнув головой, ответила, что есть — девочка.

Коля перестал есть и, подумав, сказал серьезно:

— У этой женщины живет моя дочь... Лена...

Я поняла, что опрометчиво поступила.

Когда выходили из-за стола, Рубцов задержался на кухне, чтобы докурить сигарету. Я спросила: «Чего ж ты не познакомил с женой-то? Же-е-енщина! У нее живет моя дочь... — передразнила я его. — А она, кстати, очень приятная, славная, и ты напрасно...» — «Ой, да что вы! Вы же все понимаете...»

После пели песни. Николай заливается. Мы подтягиваем. А Гета, чуть откинувшись на спинку дивана, полуприкрыла глаза и все смотрит, смотрит на него. Что свершалось в ее сердце, о чем думала, что переживала она? Мне казалось, она вот-вот заплачет и все будет именно так, как он когда-то написал в одном из своих стихотворений: «Слезам она заливалась, а он соловьем

заливался...», или поднимется и уйдет — навсегда. И хотелось сказать, чтоб перестал он терзать ее такими песнями, чтоб пел о другом или разговаривал бы... Но тут нам позвонили — пригласили в гости. Гета сказала, что ей нужно идти на вокзал, нужно ехать, потому что там еще за реку надо попадать, а дорога вот-вот откажет...

Дойдя до автобусной остановки, мы попрощались с Гетой и начали было уговаривать Николая, чтобы он приходил, когда ее проводит. А он подал женщине руку, сказал: «До свидания, Гета!» — и направился впереди нас. «Ну ты даешь! — изумились мы. — Почему не проводил-то?» «Так даже лучше!» — громко отозвался он, оглянувшись, поднял руку, мол, будь здорова! И пошел.

Пока шли, Николай с удивленной радостью, как об открытии, рассказывал, как совсем случайно он недавно оказался у одних знакомых и увидел у них прибитую сверху к форточке прозрачную пленку, разрезанную на узенькие ленточки. «И эти ленточки все время трепещут, пошевеливаются... и как бы ветер слышится! И я спросил: «Вы тоже ветер делаете?» Они так удивились! Ну вот как вы сегодня... что пасха... И тогда я им рассказал, что у себя тоже делаю ветер — ставлю в форточку пустую бутылку и слушаю. В самом деле, как настоящий ветер, тихонько завывает — посвистывает...»

Николай Рубцов не был легким и удобным в общении человеком, сознавал это и казнился потом. Вот, например, что он писал в записке к Н. С.: «Н.! Я понимаю, что мало извиниться перед тобой (мне все рассказала Анастасия Александровна). Это говорил не я. Это говорило мое абсолютное безумие. Поэтому не придавай абсолютно никакого значения дурости. По-прежнему Н.»

Спустя несколько дней Николай зашел к нам пьяный, мрачный, раздраженный. Покачиваясь на стуле, что-то говорил о смысле жизни поэта, начал было развивать какую-то умную мысль, но тут снова заговорило его «абсолютное» безумие. Я смотрела на него, совсем другого Колю, неухоженного, нетерпимого и уж вроде начинала сомневаться, один ли и тот же человек Николай Рубцов, написавший много прекрасных стихов, и этот, изможденный выпивкой, косноязычный, растрачивающий себя и свой талант так безрассудно.

А время идет, жизнь идет, и Николай снова у нас, застенчиво-тихий, бледный. Сидим, пьем чай с рябино-

вым вареньем, разговариваем. Не заметили, как по радио зазвучала музыка, заслушались, замолчали. Исполнялась вторая симфония Калининкова. Когда музыка кончилась, Николай, как бы очнувшись, грустно так улыбнулся и сказал:

— Как интересно! Вернее, как хорошо: можно пить чай... с прекрасным вареньем и... слушать музыку! Вы ведь тоже заслушались? Иногда я что-то подобное, очень похожее слышу в лесу или на реке. А вот послушать бы в Большом театре!

Рубцов не был у нас более недели. Вернувшись из Москвы, явился чистый, бодрый, с неизменным томиком стихов Тютчева. Еще не отойдя от порога, сказал:

— А я был в Москве!

— Ну и как? Что там нового? Как съездил?

— Вы знаете, я ведь в Москве не люблю бывать,— признался он и, с прищуром посмотрев в окно, добавил: — Напьешься там, устанешь, разругаешься... — Заметил, что я улыбаюсь. — А чего вы смеетесь? Как ни бейся, а к вечеру напейся, как говорится.

— Ну, мало ли что говорится! Лучше расскажи, что нового у тебя. Давно не был. Сейчас мы с тобой пообедаем, поговорим. Как у тебя с книгой?

— Все нормально. Все хорошо. И вообще все хорошо! И в Москву в этот раз съездил хорошо. Был в институте, в издательстве, даже на встрече с какими-то иностранными журналистами. Сам не заметил, как все получилось! А вообще-то интересно, вернее, забавно... Называли новые имена в литературе, в поэзии, и меня упомянули! — хохотнул он, помолчал, закурил. — Еще был в ЦДЛ. Не успел зайти в зал, как тут же привязался ко мне один: «Ты — Рубцов! Я тебя знаю! Я тоже поэт! А ты меня знаешь?» А я же трезвый был, голова светлая, на душе хорошо... И не хотелось, чтоб кто-нибудь испортил мне мое прекрасное настроение, и я ответил ему: «Не знаю! И знать не хочу!» — И ушел. И даже сам себе понравился.

Мне ясно представилось, как все это происходило. Пока пили чай, Рубцов рассказывал, кого из знакомых встретил, о чем говорили, что, мол, кого ни послушаешь, все грозятся в Вологду нагрянуть, посмотреть, что это за город такой, шибко литературный...

— Да ну их! — отмахнулся Николай и взял в руки Тютчева. Полистал и начал читать «На кончину брата».

Он часто читает это стихотворение и, кажется мне, всякий раз читает по-разному, по-особому. Вот и сейчас, заложив пальцем нужную страницу в книге, прикрыл глаза:

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади;
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди...

В этот раз после ухода Николая Михайловича как-то беспокойно, тревожно, даже боязливо сделалось на душе.

С Николаем Рубцовым мы часто, иногда не по одному разу на день, встречались на улице. Он жил в доме, где было почтовое отделение, и я часто туда заходила; покупали хлеб и продукты в одном магазине, в кулинаруии покупали горячие вологодские шаньги; пока у нас не было телефона на квартире, звонили с одного автомата. И, пожалуй, до последней осени такие даже мимолетные, неожиданные встречи были всегда веселыми, радостными, и я не могла допустить мысли, что наступит время, когда я буду избегать их, потому что будет невыносимо видеть бредущего Колю, мрачного, озлобленного. И всякий раз после таких встреч долго не будут покидать меня думы, тягостные и тревожные, и стихи его будут приходить на память под стать переживаниям и тревогам.

Иногда думалось, что на него так гнетуще действует слякотная осенняя пора, потому что, когда заходил разговор о том, как разные поэты в разные времена возвышенно воспевали и воспевают осень: «Люблю я пышное природы увяданье...» или «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора: весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера...», Николай как бы недоумевал, рассуждая, что это именно очень краткая пора и поэтому ее и осенью-то назвать нельзя, это, скорее, конец лета. Осень же — самая унылая и долгая пора из всех времен года.

В середине октября того же года почти все вологодские писатели выехали в Архангельск на выездной секретариат. И там вечером второго дня собрались у нас в номере друзья, много говорили о том, какой прекрасный доклад сделал Сергей Павлович Залыгин, он как бы дал настрой всей работе секретариата, толковали, кто о чем собирается сказать с трибуны, а потом пошли раз-

говоры разные. Запели «Вниз по Волге-реке». Запели и удивились: как складно повторяются две последние строчки каждого куплета! Так же ведь и у Кольцова, и у Некрасова... Да и у Пушкина «Вновь я посетил...» — белый стих, а этого не замечаешь. А у Рубцова — «Осенние этюды»! И в этот именно момент открылась дверь, вошел Коля в таком состоянии, когда «заговорило вновь его абсолютное безумие...»

Настроение испортилось, потому что после его ухода уже было трудно избежать разговора о Рубцове, о его жизни. Я не стала бы писать об этом, если бы теперь не сожалела о том, что избегала тоже его пьяного, не терзалась бы, что сознательно сокращала время общения с ним. Но, наверно, психика наша так устроена, что, прежде чем «среагирует» ум, она уже защищает себя от «перегрузок» всякого рода, и мы медлим, а подчас и не думаем утруждать себя «дополнительными» нравственными обязанностями и либо легко прощаем человеку человеческие слабости, либо, если они изнурительны и докучливы, ограждаем себя от них и только позже, как бы издалека, когда ничего уже нельзя изменить и поправить, понимаем, как уязвим человек слабостями, будь он простой смертный или гений.

А между тем смутные за Колю тревоги и переживания делались уже постоянными, может, еще и оттого, что выглядел он часто усталым безмерно, будто очень пожилой и очень больной человек. В стихах он однажды скажет:

О, моя жизнь! На душе не проходит волнение...
Нет, не кляню я мелькнувшую мимо удачу,
Нет, не жалею, что скоро пройдут пароходы,
Что ж я стою у размытой дороги и плачу?
Плачу о том, что прошли мои лучшие годы.

Мне трудно определить, чего здесь больше: безысходности или слабости, усталости или отрешенности? Но здесь нет жажды жизни. А в стихотворении «Я буду скакать по холмам...» строка «Все понимая, без грусти пойду до могилы...» уже звучит как пророчество.

А Николай жил и жил дальше, с нами по соседству, жил, любил, страдал, играл в шахматы, пел под гармошку, писал стихи... Как-то провел он у нас три дня. Зашел, сказал, что плохо что-то себя чувствует, сердце что-то, и голова болит... Мы дали ему лекарство, напоили чаем горячим, устроили на раскладушке. Он по-

просил выпить, но Виктор Петрович (Астафьев. — *Сост.*) пододвинул ему стакан с чаем и сказал раздумчиво, что насчет выпить не выйдет, что весь ведь больной... так и погибнуть недолго... здоровье не богатырское, а ты вон... да еще не ешь ничего...

— Ну и что, и погибну! — с вызовом воскликнул Коля. — И погибну! И умру!.. И... похоронят меня... — со злорадной усмешкой продолжал он.

Через несколько дней после этого Николай зашел вечером и отчего-то не захотел раздеться, посидеть или хотя бы отойти от двери. Он долго стоял в нерешительности и наконец попросил денег в долг:

— Мне нужно расплатиться за машину, за грузовую... за перевозку вещей... — пояснил он.

Возвратить долг Коля пришел не один, а вместе со своей будущей женой. Оба пьяненькие, оба наспех одетые.

— Я пришел вернуть долг! — сказал он, уставившись на меня пронзительным, не очень добрым взглядом.

— Хорошо! — сказала я. — Теперь у тебя все в порядке? На житье-то осталось? А то не к спеху, вернешь потом.

— Нет, сейчас! Вот! — Вытащил из одного кармана скомканные рубли и трешки, порывлся в другом, пальто расстегнул: — А можно или нельзя мне войти в этот дом? Чтоб долг отдать... — резко, с расстановкой заговорил он.

— Конечно, Коля! Проходи! — посторонилась я.

— А она — талантливая поэтесса! — кивнул он в сторону своей спутницы, оставшейся на лестничной площадке этажом ниже.

— Возможно.

— И она же — моя жена! — он опустил голову, что-то тяжело посоображал и опять уставился на меня в упор: — Ничего вы не знаете! Я тоже ничего знать не желаю! — выпятился из прихожей на площадку и с силой закрыл за собой дверь.

Да, я уже знала, что она пишет стихи, что печаталась. Читала подборку ее стихов в журнале «Север» — простые, славные два стихотворения. Кроме того, в отделении Союза писателей как-то состоялось обсуждение стихов молодых поэтов, и ее в том числе. Читала она тогда, кажется, три или четыре стихотворения. Одно из них запомнилось мне особенно — о том, как люди пре-

следуют и убивают волков за то лишь, что они и пищу и любовь добывают в борьбе, и что она (стихотворение написано от первого лица) тоже перегрызет горло кому угодно за свою любовь, подобно той волчице, у которой с желтых клыков стекает слюна... Сильное, необычайное для женщины стихотворение.

Виктор Петрович толкнул легонько Колю в бок — они сидели рядом — и сказал: «А баба-то талантливая!»

— Ну что Вы, Виктор Петрович! Это не стихи, это патология. Женщина не должна так писать.

И оттого, наверно, что поэтесса читала свои стихи детски чистым, таким камерным голоском, это звучало зловеще, а мне подумалось: такая жестокость, пусть даже в очень талантливых стихах, есть нечто противоестественное.

И вот я подошла к тому, о чем больно и горько рассказывать.

19 января 1971 года не стало Николая Рубцова.

Было обычное зимнее утро, в меру морозное. Я вышла из дома и направилась на почту. В этом почтовом отделении меня знали. Бывало, увидят в очереди, подойдут, кто свободен, примут мои бандероли или оставят, чтоб после оформить.

В этот раз мне почему-то сказали: «Подождите немного. Мы только вот этих отпустим...»

Я подождала. Когда народу не осталось, самая молоденькая из работниц спросила:

— Вы знаете Рубцова? — а сама таращит на меня непривычно не улыбочивые глаза.

— Знаю.

— Он живет в шестьдесят пятой квартире? — допытывалась другая.

В это время подошли еще женщины.

— Точно не знаю номер квартиры, но расположение ее знаю, на пятом этаже.

— Его сегодня ночью убили...

В первый момент меня ошеломила эта ужасная весть, затем возникла спасительная мысль — ошибка!

— Девочки! Так шутить... — начала было я подавленно, повернулась и пошла к Рубцову.

Задумавшись, как я объясню ему свой ранний приход, не заметила, что направилась не в ту сторону, дошла до угла, опомнилась, вернулась. Поднимаюсь спешно с этажа на этаж, дышится от волнения тяжело, но

остановиться или хотя бы замедлить шаг не могу: скорей, как можно скорей разувериться...

Две соседки на лестничной площадке, заслышав шаги, уже открыли двери из своих квартир, смотрят на меня.

Звоню сильно, долго.

И тогда они в голос:

— Вам кого?

— Николая Рубцова.

— А его только что увезли... в морг...

Прислонилась к пожарной лестнице, ведущей на чердак, закрыла глаза. «При чем тут морг?»

Одна из женщин принесла в кружке воды, дала мне попить.

Иду, плачу, хочу представить Колю, поверить... Слезы душат. Как скажу об этом своим?

Пришла домой, раздеваюсь, а рыдания рвут душу, ничего не могу с собой поделать. Прошла в кухню. Виктор Петрович услышал, что я плачу, решил, что ходила в больницу — плохо себя чувствовала последнее время — и мне предложили лечь, а я не хочу и вот реву.

— Что случилось? — спрашивает.

— Колю Рубцова убили.

— Кто?!

— Жена.

— Как?.. — не поверил, ушел к себе, сел за стол, развернул газету, отбросил, вернулся. Начал звонить.

Собрались в отделении Союза писателей, собрали деньги, чтобы купить костюм, белье, обувь. Все были заняты хлопотами: кто в морг, кто оформлять документы, кто заказывать гроб, венки, могилу...

Гроб с телом поэта установили в Доме художников, в большом зале. Стены увешаны гирляндами из пихтовых веток, увитых и скрепленных красными и черными лентами. На фоне желтых штор, скрывших окна, спускаются черные полотна, и на них строфы из стихов покойного поэта. На одном:

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

А на втором:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Два больших портрета: один — фото, другой взят с выставки — работа художника Валентина Малыгина. И музыка, музыка... Почетный караул меняется через каждые пять минут.

В 15 часов 15 минут началась гражданская панихида. Зал переполнен. Проститься с поэтом пришли люди, знакомые и незнакомые, которых он собрал вокруг себя в этот горький час и объединил этим горем. Они все идут, идут, обходят вокруг гроба и отходят в сторону, уступая место другим... На короткое время все замерли в молчаливом прощании, не было слышно ни голосов, ни плача, ни движения.

Художники, писатели, друзья стали обращаться к покойному поэту со словами прощания. Виктор Петрович Астафьев сказал:

«Друзья мои! Человеческая жизнь у всех начинается одинаково, а кончается по-разному. И есть странная, горькая традиция в кончине многих больших русских поэтов. Все великие певцы уходили из жизни рано и, как правило, не по своей воле...

Здесь сегодня, я думаю, собрались истинные друзья покойного Николая Михайловича Рубцова и разделяют всю боль и горечь утраты.

У Рубцова был тяжелый путь, его судьба была трудна и горька. Это отразилось и в его стихах, полных печали и раздумий о судьбах русского народа. В этих щемящих стихах рождалась высокая поэзия. Она будила в нас мысль, заставляла думать...

...В его таланте явилось для нас что-то неожиданное, но большое и важное. Мы навсегда запомним его чистую пусть и недопетую песню».

Бывшая жена поэта, Генриетта Меншикова, приехавшая из Тотемского района — ехала на грузовой машине всю ночь, — сидела по-русски красивая, скорбная и одинокая. Она долго-долго смотрела на лицо покойного мужа, не сдержалась, зашлась в рыданиях. После, поняв, что скоро все кончится, что скоро его совсем не будет, остановила в себе плач и уже не сводила с него взгляда.

Разобрали венки, подняли гроб и понесли. На кладбище было долгое прощание, короткие, горькие, клятвен-

ные речи. Я все пыталась до конца понять, осознать, что вот ушел из жизни Николай Михайлович Рубцов. Чувство такое, будто не один он ушел из жизни, а много поэтов, прекрасных внешне и духовно, умных и интересных, ярких и содержательных, добрых, мудрых, сложных, наивных, нежных... И мысленно все повторяла: «Прости, дорогой Коля, за то, что мы, живые, так мало думаем и делаем для того, чтобы люди жили долго, жили чистой и достойной жизнью и сами были бы достойны ее, потому что не всегда способны понять, оправдать и научить добру даже ближнего своего... Прости меня...»

А потом было все: и плач, и споры, как уж повелось на Руси, все запоздало казнили, что не уберегли талант, не уберегли друга.

Горькие, тревожные, беспокойные пошли дни. Телефон не умолкал. Звонили знакомые и незнакомые, горевали, сочувствовали, спрашивали, что да как...

«Дорогой Виктор Петрович! — писал Николай Николаевич Яновский. — Сегодня у меня тяжелый день — ровно три года, как погиб мой сын. Сегодня же узнал из газет и из писем, что погиб Коля Рубцов. День этот для меня, как дурной сон. Я не решался написать тебе, зная, как ты его любил, как тяжело тебе что-либо говорить, когда свежа еще рана... Сейчас я решился, потому что мне больно и за сына, и за милого, большого русского поэта, полностью еще не раскрывшегося и унесшего тайну своего дара в безвременную могилу...»

«С большой скорбью узнали мы о смерти Коли Рубцова. Ударило прямо в сердце. Очень-очень жалко! — пишет из Калининграда Анатолий Соболев. — Вот и отлетело сразу все наносное, остался в памяти чистый и светлый поэт северной России. И стихи его, и песни, и гармошка, и сам он с «больным и маленьким организмом» стоит перед глазами. Боже мой! Боже мой! И по какому же такому случаю помирают истинные поэты! Жаль, очень жаль. Передай ребятам, что мы разделяем ваше горе...»

Мне думается, с годами он будет все больше и больше объединять вокруг себя своими стихами любителей и почитателей поэзии, и они не будут уставать удивляться и восхищаться его необыкновенным, большим талантом.

ГЕОРГИНЫ

Это ветер шумит, это осень пришла,
Опахнула печалью равнины,
И опять, без надежды, любви и тепла,
Замерзают в садах георгины.

Георгины, цветы... Не любила я их!
Что ж брожу по увядшему саду
И гляжу, как горят, словно в строчках твоих,
И летят лепестки за ограду?

У замшелой скамьи, где тропинка узка,
Я стою в час осенней кручины,
И, как странная весть, ранит сердце строка:
«Замерзают мои георгины...»

Ах, какая тоска! Словно жизнь пронеслась,
Словно жизнь отшумела — не лето!
Георгины, цветы... Непонятная связь
С несогретой судьбою поэта.

Нет, не думала я — никогда, никогда,
Что под небом, сиротски-пустынным,
Никогда им доцвести не дают холода,
Никогда — лишь одним георгинам.

И за то навсегда полюбила я их
В час печали, в ненастные ночи,
Что вовек на Руси любит смерть молодых
Целовать в непокорные очи...

Не одна я любила дремучесть лесов,
Облака и родимое поле!
Георгины, цветы... Алый жар лепестков!
Это жизнь горяча так —
до боли.

«ГИРЯ ДОШЛА ДО ПОЛУ...»

Очень долго казалось, что вот прозвенит звонок, я открою дверь и на пороге увижу его — тихого, сухоша-
вого, с внимательным взглядом и почему-то виноватой
улыбкой.

— К тебе можно? — спросит он настороженно.

А потом будет долго курить, кружить по комнате и
говорить, говорить... И я подумаю: «Как он, в сущности,
одинок и как ему не хватает обыкновенного человеческо-
го счастья!» Слова о том, что талант всегда одинок, ма-
ло кого утешают. Талант — прежде всего человек. То и
дело и теперь в моей квартире названивает звонок, но
я уже никогда не дождусь того заветного — раннего и
осторожного — звонка Николая Рубцова.

А он, бывало, придет с мороза, достанет из моей хо-
лостяцкой кладовки полосатый поролоновый матрас, по-
ложит его на пол, поближе к длинной ребристой бата-
рее, прижмется спиной и блаженно улыбнется:

— Почти как на русской печке!

Никогда он не жаловался, стеснялся признаться в
своей необеспеченности и неустроенности. Если ему нуж-
но было занять червонец-другой на прожитие, он мучил-
ся и не знал, как произнести это вслух и обычно, улы-
баясь, предлагал:

— Давай будем переписываться.

И, приладясь к краешку стола, в самых застенчивых

и неуклюжих выражениях излагал свою нужду: «Не можешь ли ты мне на некоторое время выделить...» И кто понимал его, тот никогда не отказывал.

Когда мы узнали о гибели Николая Рубцова и с разрешения следователя пришли с Василием Беловым и Александром Романовым в квартиру поэта, чтобы перебрать и унести рукописи, то в письменном столе обнаружили последние его 22 рубля наличными и ни копейки на сберкнижке. Невольно подумалось, что если бы он остался жив, то именно с этой суммы ему пришлось бы начинать новый день.

Но его уже не было в живых, и новый день мы начинали без него. Начинали с горечью и ожесточением, избегая смотреть друг другу в глаза, а если и смотрели, то сурово и требовательно, словно спрашивая: как же мы допустили такое?

Чувство вины не истаяло до сих пор, поэтому снова и снова перебираешь в памяти годы, встречи, выискивая момент, где ты проглядел, недопонял, упустил.

Моменты такие были. Может быть, когда приходил он в редакцию и настойчиво спрашивал, когда же пойдет его подборка стихов... Можно было — и нужно! — поторопить редактора, можно было попросить бухгалтерию побыстрее выплатить аванс — и посолиднее... Но вечно мешают нам то ли врожденная невнимательность, то ли благоприобретенный формализм, то ли обыкновенное равнодушие ко всему, что лично нас не касается...

А разве нельзя было поостеречь от надвигавшейся грозы? Ведь чувствовали мы ее приближение. Одна знакомая прислала поэту новогоднюю открытку с недвусмысленным текстом: «Береги свою голову...» А я даже стихи об этом начал. При его жизни. Сам испугался написанного. И — бросил.

Дописывать пришлось вскоре. Но уже после смерти Рубцова.

Отчетливо виделось, что не по себе выбрал он «другу». Слишком вспыльчива, неуступчива, яра. «Не то бы ему надо, не то...» — страдальчески морщились друзья. Но не полезешь же со своим советом в таком деликатном деле.

Помню, как пришли в редакцию газеты «Вологодский комсомолец», где я работал литконсультантом, стихи Николая Рубцова. Я быстро ответил ему, очень хорошо отозвавшись о стихах, и попросил при случае зай-

ти в редакцию. Хотелось познакомиться с автором уже тогда написанных строк:

Взбегу на холм
и упаду
в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!

А потом был семинар молодых литераторов в Вологде, где мы наконец и познакомились лично.

С людьми Николай Рубцов сходилась не просто и не сразу, хотя за его плечами был детдом, который, казалось бы, должен приучить к большей контактности. А возможно, эта трудная «сходимость» касалась только литераторов. Ведь не однажды я видел, как он запросто подходил на улице к прохожим, прося прикурить, и так же запросто завязывал разговор и с явным удовольствием его продолжал...

Мне повезло: мы сошлись быстро. Не скованные никакими цепями — ни семейными, ни бытовыми, — могли легко подняться и покатить либо по грибы, либо на рыбалку. А еще он любил прийти ночью и предложить:

— Поедем к твоей маме...

Она тогда жила в Череповце, куда ходил пригородный поезд в три часа ночи. Я понимал Рубцова, по существу не знавшего, что такое прикосновение материнской ладони к твоим волосам, плечу, щеке...

Мы объявляемся на пороге — и вот уже нас кормят горячим куриным бульоном, жарят котлеты и предлагают отведать вчерашних пирогов. Рубцов тает от переполняющего чувства благодарности и с горечью спрашивает:

— Александра Александровна, ну почему жены-то не могут вот так?

— Могут, Коля, да не хотят. Постарше будут — тогда поймут.

Но такие ответы его не устраивают...

— Пока они поймут, я уже, может, помру...

— Ну что ты, Коля, что ты!

Матери хочется перед работой еще часок соснуть, и она предлагает:

— Давайте укладывайтесь, ребята. Ведь наверняка всю ночь не спали.

Это точно. Ночной пригородный поезд ходит всегда пустым. Редкий полуночник войдет в вагон и через оста-

новку-две выйдет. И опять мы одни, и можно хохотать и резвиться сколько влезет. Благо проводница терпелива и сама не прочь «покемарить» в своем служебном купе. Так что спать нам после такой поездки и впрямь пора. Но Рубцов уже вошел во вкус и сыплет историю за историей, экспромт за экспромтом: на это был он большой мастак. Мы долго не можем уговориться. И матери приходится на нас прикрикнуть: «Спать!» Я плюхаюсь на широкий диван, который уже застелен для нас. Рубцов бурчит: «Ну, медведь!»

Предлагаю продолжить нашу ночную дорожную игру:

— Срифмуй со словом «балдеть».

— Тогда не мешай.

Он молчит несколько минут, потом читает:

...В это время заснул Коротаяев,
Как в берлогу залегший медведь,
Потому что у строгих хозяев
До утра не позволят балдеть.

Какой уж тут сон! Мы, постанывая, хохочем, пока мать снова не выходит из соседней комнаты и не взывает к нашему благоразумию.

Когда она возвращается с работы, мы идем втроем гулять, и Рубцов — больше, конечно, для матери, чем для меня, — без конца рассказывает, как он служил на флоте, жил в детдоме, первый раз влюбился. И я понимаю: он с ней говорит так, как, наверно, говорил бы со своей матерью; и когда слышу речи о том, что Рубцов ни перед кем не раскрывался до конца, всегда вспоминаю эти прогулки...

В 1969 году меня пригласили учиться в Москву на Высшие литературные курсы. Я передал свои немудреные обязанности литконсультанта по газете Николаю Рубцову.

Он согласился. Но проработал недолго. Да не очень и держался за такое место: у него в Москве готовилась к печати новая книга «Сосен шум». Он просил меня зайти в «Советский писатель», где у меня тоже была на выходе книга стихов, и узнать, как там идут его дела. В рубцовском архиве уцелело одно из моих писем той поры. Вот оно:

— «Коля! Заходил я тут на досуге в «Советский писатель». Спросил, как твои дела. Говорят, все нормально.

Дело идет к набору. Передали тебе отпечатанные, но невычитанные стихи, которые пойдут. Но предупредили, что это еще не окончательный вариант. Это посылают экземпляр просто тебе. Так что прочитай. Большой привет тебе от Михаила Павловича Еремина*. Он жалуется, что у него украли подаренную тобой «Звезду полей». Если ты найдешь свободный экземпляр, то пошли старику. Уж больно хороший мужик и любит он тебя по-настоящему. Я скоро приеду и сам подарю выправленный свой «Жребий». Так что до встречи. Твой В. Коротаев. 26.11.69».

Я нарочно передаю текст письма так дотошно. Хочется во всех наших писаниях прежде всего точности. Потому что о Николае Рубцове и так наплетено слишком много...

Наши встречи в ту пору были редкими, но запоминающимися.

Накануне Нового 1971 года я приехал в Вологду на зимние каникулы. Рубцов поджидал свою дочку Лену с мамой в гости. Приготовил елку, хотя заранее не стал ее наряжать. Видимо, хотел этот праздник подарить самой девочке.

Но праздника не получилось: дочь не привезли. Новый год я с Николаем Михайловичем встречал врозь. Наутро со своей невестой пришел его проводить. Рубцов был не один. Они всю ночь просидели вдвоем со знакомым художником и были угрюмы. Но хозяин встретил нас радушно, достал свежего пива, угостил, пытался развеселить. А мы пытались сделать вид, что нам действительно хорошо, и беззаботно болтали; но мешала веселиться ненаряженная елка, сиротливо стоявшая в переднем углу...

Вскоре я уехал на недельку к матери в Череповец. Но на другой день почувствовал странную и страшную тоску, не мог найти себе места и понял, что меня недолимо тянет обратно в Вологду. На недоуменные вопросы встревожившейся матери только ответил: «Надо!» И уехал. Уже в поезде почувствовал облегчение, успокоился...

На следующий день, 19 января, рано поутру ко мне позвонили. Вошел работник газеты «Вологодский ком-

* М. П. Еремин — преподаватель литинститута.

сомалец» Женя Некрасов, бледный, с трясущимися губами:

— Ты ничего не знаешь?

И я, еще боясь поверить, но зная, что это так, почти утвердительно ответил:

— Рубцов...

— Да... сегодня ночью убили.

Все остальное прошло как в беспамятстве, вместе с друзьями укладывал в гроб, стоял в почетном карауле и не мог отвести взгляда от совершенно прекрасного — с застывшей иронической улыбкой — лица.

Потом несли на руках гроб, говорили последние прощальные слова над могилой, поминали в Доме художника и читали его стихи... И все это без отчетливого понимания, что — безвозвратно, что — навсегда.

...Уезжая в Москву, об одном просил я друзей: известить, когда будет суд над убийцей. И вот наконец телеграмма пришла: суд назначен на 6 апреля 1971 года.

Здание суда, старое, кирпичное, стоит на улице Батюшкова. Того самого, около могилы которого в Прилуцком монастыре когда-то Николай Рубцов, предчувствуя, видимо, недалекий конец, просил положить себя...

Но он уже два с половиной месяца покоился на неуютном городском кладбище, когда женщина, лишившая его жизни, предстала перед судом. Она защищалась обдуманно и хладнокровно. И странно: даже одного доброго слова не нашла для человека, рядом с которым прожила полтора года, даже тени раскаяния не выказала, доказывая, что не было у нее времени одуматься, разжать пальцы, а после устыдиться своего бесовского порыва, не было времени сорвать с вешалки пальто, выбежать на мороз, остынуть, прийти в себя...

Суд доказал — было время.

Сейчас, просматривая свои записи ее последнего слова, я понимаю, что уже не восстановить жеста, выражения глаз, оттенков голоса. Но остался смысл: «...я не умышленно его убила, и все-таки убила я. И от этого никуда не денешься. Я до конца жизни буду считаться убийцей Рубцова».

На какое-то время она замолчала, словно вдумываясь в существо собственных слов. Да, будет считаться до конца.

...Идут дни. Полнится в моей библиотеке полка с книгами Николая Рубцова. Приходят все новые сборники из Москвы, Ленинграда, Архангельска. Для взрослых, для юношей, для детей. Время от времени я вчитываюсь в знакомые строки и с каждым разом открываю в них все новые грани таланта поэта, новые глубины его большой любви к людям, к жизни, к Родине. Жив поэт. И от этого тоже никуда не денешься.

**ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ РУБЦОВА**

I

Потеряем скоро человека,
В этот мир забредшего шутя.
У законодательного века
Вечно незаконное дитя.
Тридцать с лишним лет как из пеленок,
Он, помимо прочего всего,
Лыс, как пятимесячный ребенок,
Прост, как погремушечка его.
Ходит он по улицам Державы,
Дышит с нами временем одним,
Уважает все его Уставы,
Но живет, однако, по своим.
«Как сказал он! Как опять слукавил!» —
Шепчут про него со всех сторон.
Словно исключение из правил,
Он особым светом озарен.
Только на лице вечерне зыбком
Проступает резче что ни день
Сквозь его беспечную улыбку
Грозная трагическая тень.
И не видеть мы ее не вправе,
И смотреть нам на нее невмочь,
И бессильны что-нибудь исправить,
И не в силах чем-нибудь помочь.
В нашем мире риска и дерзання,
Где в чести борьба да неуют,
Эти отрешенные создания,
Как закаты, долго не живут.

II

За окнами мечется вьюга,
Сквозит предрассветная мгла.
Душа одинокого друга
Такой же бездомной была.
И мне потому — не иначе —
Все кажется, если темно,
Что кто-то под тополем плачет
И кто-то скребется в окно.
Не раз ведь походкою зыбкой
То весел, то слаб и уныл
Он с тихой и тайной улыбкой
Из вьюги ко мне приходил.
В тепле отогревшись немножко,
Почти не ругая житье,
Метельные песни ее
Играл на разбитой гармошке.
Гудела и выла округа,
Но он вылезал из угла.
И снова холодная вьюга
Его за порогом ждала.
И слышало долго предместье,
Привычно готовясь ко сну,
Как их одинокие песни,
Сближаясь,
Сливались в одну.

III

Милый друг мой,
Прощаясь навеки,
В нашей горькой и смертной судьбе
Всею силой, что есть в человеке,
Я желаю покоя тебе.
Оставаясь покамест на свете,
Я желаю у этих могил
Чистых снов, тишины и бессмертья.
И любви.
Ты ее заслужил.

СТИХИ И ДНИ

Поэты приходят к нам часто неожиданно, как открытие. Таким радостным открытием стала для меня крохотная книжечка Николая Рубцова «Лирика» (Северо-Западное книжное издательство, 1965), а чуть раньше — две большие подборки его стихов в журнале «Октябрь». Стихи заворожили и потрясли, хотя не буду уверять, будто тогда же узрел в них великого поэта.

Познакомившись с Николаем Рубцовым в конце 1966 года, с начала следующего я встречался с ним постоянно, иногда изо дня в день, в редакции газеты «Вологодский комсомолец», которую тогда редактировал.

К тому времени в Вологде имя Рубцова было известно еще не многим. Житейские волны долго носили его чуть ли не по всей стране — от Архангельска и Кировска до Ташкента, от Риги и Ленинграда до Алтая, и на родине узнали своего поэта довольно поздно. Летом 1962 года, после долгих лет разлуки, он появился вновь в селе Никольском Тотемского района, где когда-то воспитывался в детском доме. И с тех пор бывал там постоянно. Он любил этот тихий сельский край, хотя знал здесь не только радостные дни.

Зимой 1964 года в Вологде проводился очередной семинар молодых литераторов. Руководили им ответственный секретарь писательской организации С. Викулов, А. Романов, совсем молодой еще В. Коротаев, недавно

вернувшийся из армии. Участниками семинара среди многих других были Олег Кванин, Нина Груздева, Наташа Маслова, Сергей Чухин, Николай Рубцов. Угрюмый и несколько настороженный, он сидел позади всех в сторонке. В перерывах или курил в одиночестве, или беседовал с Борисом Чулковым.

Для обсуждения Н. Рубцов прочитал стихотворения «Видения на холме» и «Родная деревня». Стихи были приняты хорошо. Однако к «злобе дня» и «современности» его тоже призывали. Замечания поэт воспринял с некоторым раздражением — ведь он знал и шумный успех в Ленинграде, и более полное признание в кругу московских друзей-поэтов. В Вологде о творческих исканиях молодого поэта не знали, да и что бы это меняло?..

*
* * *

К концу 1964 года, когда Николай Рубцов подготовил для издательства свою первую книгу, за плечами его было целое десятилетие работы стихами, публикации в альманахе «Полярное сияние» (1959) литобъединения Северного флота, в коллективных сборниках «На страже Родины любимой» (1958) и «Первая плавка» (Л., 1961), во флотских и ленинградских газетах.

Кое-какой опыт стихотворца у Николая Рубцова был со школьных лет, но говорить об устойчивых навыках поэтической работы в ту пору, когда он пришел служить на флот, не приходится. Стихи молодого поэта не отличаются своеобразием. Отражается в них повседневность матросской службы с выходами в дозор, учебными атаками, мечтами об отпуске и встрече с близкими («Матросская слава», «Пой, товарищ!», «Морская служба», «В дозоре», «Возвращение», «Учебная атака», «Отпускное»). Но уже по ним видно, что Н. Рубцов умеет улавливать интересные детали, свежие образы, динамически передавать развитие событий, подбирая необходимо точный интонационный ключ.

Вот, скажем, концовка стихотворения «В дозоре», которая впечатляет наглядностью морского простора и ощущением физической мощи стихии:

Одни лишь волны
 буйно
 под ветрами

Со всех сторон —
 куда ни погляди —
Ходили,
 словно мускулы,
 буграми
По океанской
 выпуклой груди...

Порою молодой поэт схематичен, не всегда справляется с композицией, грешит дидактикой. Однако он чувствует слово, умеет строить фразу, добиться точности строки, учится находить соответствие картины и настроения.

Интересно, что уже тогда Николай Рубцов увереннее был в пейзаже, нежели в стихах на гражданские темы. Взгляд его обретал остроту, поэтическая речь — гибкость и раскованность.

Вьюги в скалах отзвучали.
Воздух светом затопив,
Солнце брызнуло лучами
На ликующий залив.
Ветра теплое дыханье,
Звоны легкие волны...

(«Май пришел»)

Душевное состояние поэта находит отклик в картине, открывающейся ему, и его улыбчивая радость сквозит в шутовском признании: «Так и хочется задание получить от старшины!» Уже пробивается юмор, столь характерный для зрелых стихов Николая Рубцова.

В поисках своего пути в поэзии пишет Н. Рубцов и стихи откровенно субъективистские, в которых всецело подчиняется своим настроениям, чаще всего невеселым, отчаянным, злым. Цикл таких стихов создан им в отпускную пору осенью 1957 года в Приютине под Ленинградом. Обращался он к ним и вернувшись со службы на флоте. В импровизированном сборнике «Волны и скалы» некоторые из них объединены в цикл «Ах, что я делаю?». Молодой поэт выплескивает свою душу в строки, желая, кажется, добиться только одного — полного совпадения переживания и слова. И во многом достигает цели.

Стихотворения «Утро утраты», «Не пришла», «Ненастье», в которых Н. Рубцов уже овладевает стихией

настроений, свидетельствуют о напряженной духовной жизни поэта. Цикл «Звукозаписные миниатюры» открывает его творческую лабораторию — поиск в образе единства звука и слова. Очень характерны для этого поиска стихотворения «Левитан» и «Старый конь», которые поэт опубликовал позже, избавив их от излишней «звукописности». Привлекает необычной «геометрической» образностью «Утро перед экзаменом». Каждое из подобных стихотворений индивидуально. Молодой поэт понимает, что ходить в поэзии проторенными путями — занятие малопочтенное, и не стремится тут же использовать удачный прием. Он ищет снова и снова, пробует необычные сочетания, отбрасывает одно и варьирует так или иначе другое. И постепенно очерчивается круг интересов поэта, выявляются излюбленные приемы в их внутренней, содержательной осмысленности. Начинает складываться собственный поэтический мир Николая Рубцова в его органичной многомерности и полнозвучии.

Обращаясь теперь к флотским впечатлениям (главным образом рыбацким), Н. Рубцов становится гораздо разнообразнее, чем раньше, в выборе тем, в изображении картин и настроений. Он умеет изобразить труд, передать настроение работающего рыбака, с усиленным вниманием присматривается к сценам берегового быта. «В океане», «Шторм», «Хороший улов», «Старпомы ждут своих матросов» — эти стихотворения хорошо известны читателям.

Пытается Н. Рубцов также набросать сельскую сценку и дать ее понимание («Репортаж»), пишет о деревенском мужичке зарисовку в стихах («Лесной хуторок»), обращается к полузабытым деревенским впечатлениям («Эхо прошлого», «На гуляние», «Я забыл, как лошадь запрягают...» и др.). Кажется, будто он вполне усвоил тот сторонний взгляд на деревню, который характерен был в те годы для «среднего» горожанина: взгляд, в сущности, насмешливо-снисходительный, лишенный реального понимания явлений. Но это были только первые подходы к теме, которая станет потом главной темой его творчества. Интересно проследить этот путь по стихотворению «Долина детства», которым он открыл одноименный цикл в рукописном сборнике «Волны и скалы». Первый его вариант — «Желание» появился не позднее июля 1960 года в коллективном сборнике «Первая плавка», второй — «Долина детства» из сборника

«Волны и скалы» помечен 9 июля 1962 года, а третий — «Ось» опубликован в книжке «Лирика» (1965).

Сопоставления вполне отражают поиск поэтом своего пути в поэзии и в жизни. Постепенно тема скитаний отходит на второй план, как лишь один из моментов жизни, которая поверяется в целом отношением к отчим краям. Поэт ищет родину в стихах и находит ее в своей жизни — вот чем важны эти варианты. Они вполне определенно отражают формирование системы нравственных ценностей у молодого поэта, направление его внутренней душевной работы.

Тема Родины и раньше звучала в искренних и цельных стихотворениях Рубцова «Деревенские ночи» (1953), «Первый снег» (1955), «Березы» (1957). Но к началу шестидесятых годов поэт подходит к ней с новыми представлениями, обогатившись знанием и пониманием истории. И это понимание вполне проявляется уже в стихотворении «Видения в долине» (1960). Да, это ныне хрестоматийное стихотворение «Видения на холме», лишь избавленное поэтом от красоты и многословия в стремлении высветить сквозную мысль о Родине, ее тревожных судьбах.

Уже к лету 1962 года, когда составлялся машинописный сборник «Волны и скалы», Николай Рубцов вполне отдавал себе отчет в том, что стоят и значат те или иные его стихотворения, умел их четко разграничить. «Кое-что в сборнике (например, некоторые стихи из цикла «Ах, что я делаю?»), — отмечал он в предисловии, — слишком субъективно. Это кое-что интересно только для меня, как память о том, что у меня в жизни было. Это стихи момента...» Как видим, оценка очень верная и определенная, что очень характерно для поэта.

От деревенского детства Николай Рубцов ушел к широкому океанским просторам, в тесноту городов с пестротой их быта, чтобы снова вернуться к русской деревне и оттуда увидеть, с учетом всего своего опыта, весь мир и человека в нем. В беспокойной жизни своей поэт обрел не только живую чуткую душу, а ей были доступны «звуки, которых не слышит никто», но и чувство истории и чувство пути. Без этих качеств истинного поэта не бывает. Но обрел он их не сразу, в настойчивом поиске своей индивидуальности, в упорном отстаивании своей самобытности.

Всего того, что было за плечами Николая Рубцова к середине шестидесятих годов, повторяю, не знали и его ближайшие друзья: он не любил рассказывать о себе, не хвастал своими публикациями. И все-таки в Вологде поэт нашел взаимопонимание и признание.

Радужные и уют, которым делились с Николаем Рубцовым многие, помогли ему не только пережить бездомность, но и продуктивно работать все эти годы. У него появились в Вологде друзья, своим человеком он чувствовал себя и в редакции молодежной газеты.

В редакции Рубцов появлялся то в сером костюме, темной рубашке со светло-серым галстуком сплошными крохотными ромбиками, то, несколько позже, в новом коричневом костюме в тонкую серую полоску и белой рубашке с зеленым галстуком. Ботинки и пальто поношенные, но аккуратно вычищенные, и пресловутый длинный шарфик не висел, как попало, а снимался вместе с пальто, когда он усаживался с ребятами играть в шахматы...

Обращала на себя внимание смугловатая бледность его узкого лица с большим лбом, а карие при добром расположении глаза в гневе темнели. Говорили о его вспыльчивости и нетерпимости — и говорили во многом напрасно. Мне довелось не раз видеть его возмущенным, и не помню, чтобы он был неправ.

Хамского пренебрежения Николай действительно не терпел. Чем он вызывал раздражение людей определенного сорта, трудно сказать, то ли какой-то особой внутренней сосредоточенностью, то ли цепкостью быстрого взгляда, который был «не как у всех»... А между тем выглядел он скорее незаметно, чем вызывающе.

Навязчивости в Рубцове не было никакой, пьяным за три почти года мне не довелось его видеть ни разу, и потому многое в рассказах о нем представляется досужим вымыслом. Да, чуть выпивши он появлялся не раз. Однажды вошел ко мне, с порога, глядя прямо в глаза, расстегнул пальто.

— Давай выпьем немножко... — сказал и выжидающе смотрит, улыбаясь.

— Служба ведь, Николай, — я развел руками.

— Так у меня шампанское... — а глаза светятся мягко и застенчиво.

И это было обычным для него — не показаться назойливым. Когда же он был почему-либо не в духе, мог вообще на весь белый свет пенять и на каждого.

Печатали его в эти годы у нас в газете много, любовно оформляли подборки рисунками Генриетты Бурмагиной. Она теперь заслуженный художник РСФСР, позже вместе с мужем Николаем Бурмагиным удачно оформила «Избранную лирику» (1974, 1977) Н. Рубцова.

Приносил Николай стихи, протягивал:

— Посмотри.

И выжидательно глядит, выясняя впечатление, угадывая, понято ли.

Ни разу не случалось, чтобы он упрасивал печатать то или иное стихотворение, настаивал. Свои оценки он высказывал прямо и откровенно, если не сказать, резко и зачастую не считал нужным их как-то аргументировать. И сам соответственно прямо ту принимал спокойно. Но фальши терпеть не мог, ложь угадывал сразу, как и неискренность — и сразу утрачивал интерес к собеседнику, равнодушно и откровенно замолкал, отходил в сторону, не умея и не желая вести игру в «приличия». Может быть, поэтому он и не вписывался ни в какую «систему», всегда оставался самим собой.

*
* *
*

Осенью 1967 года вышла «Звезда полей» Николая Рубцова. Выслушал он немало похвал, но оставался к ним равнодушен. Высказывались о книге или нет — он знал, что ее читали, чувствовал истинное отношение к его стихам по интонации, по тому, как к нему обращались... Видимо, перегорел человек ожиданием: ведь столько вошло в эту книгу из давних-давних стихотворений, цену которым он представлял уже тогда и от которых теперь далеко-далеко ушел...

Прием в Союз писателей Николай Рубцов тоже прошел как должное, без особых восторгов. И к литинституту уже охладел в то время, заканчивая его только по необходимости. Он знал, что его дипломная работа —

«Звезда полей» выполнена вовсе не на студенческом уровне.

В писательской организации отношение к Рубцову было не только благожелательное, но и уважительное. Нельзя сказать, что здесь его поэзия сразу была оценена по достоинству, но внутренняя «расстановка сил» своего рода установилась спокойно, как бы сама собой. С ответственным секретарем Александром Романовым сложились у Николая Рубцова добрые дружеские отношения. И в работе писательской организации он принимал постоянное участие: бывал на собраниях и на встречах с читателями, рецензировал рукописи, давал консультации.

Кстати, консультации давал он и в молодежной газете, а с сентября 1969 года недолго даже работал в ее штате, отвечая на письма начинающих стихотворцев. Сохранилось довольно много рецензий Н. Рубцова на рукописи, присланные в писательскую организацию, несколько статей и обзоров, опубликованных в газете. Эти материалы, по сути своей рядовые, рабочие, ни на что особо не претендующие, как и выступления Рубцова на собраниях, дают некоторую возможность представить его суждения о литературе, о поэзии. Возможность тем более ценную, что рассуждать о поэзии он не любил.

В своих немногословных, да, надо сказать, и нечастых выступлениях на собраниях Вологодской писательской организации Николай Рубцов неизменно отстаивал искренность и самостоятельность в поэзии. Так, хотя у Нелли Старичковой «слабый голосок в поэзии», но стихи ее «не подражательны, самостоятельны», говорил он в апреле 1969 года. Тогда же Рубцов отмечал слепое следование литературным образцам, заметное в стихах Германа Александрова. А выступая 8 сентября 1969 года на обсуждении журнала «Север», Н. Рубцов обратил внимание на то, что «слишком однообразен» поэтический тон в журнале», «отдается предпочтение безликим стихам», отстаивал право поэта на элегию, которая плохо принимается в редакциях, и высказывал пожелание: «больше доверия к хорошим стихам».

Чтобы избежать необходимости подробно говорить о рецензиях Николая Рубцова на рукописи, приведу выдержку из одной — мысли ее потом не однажды повторяются, они были, видимо, особенно дороги поэту.

«Когда я говорю Вам, что тема вашего стихотворения старая и общая, это еще не значит, что я вообще против

старых тем. Тема любви, смерти, радости, страдания — тоже тема старая и очень старая, но я абсолютно за них и более всего за них!

Потому я полностью за них, что это темы не просто старые (вернее, давние), а это темы вечные, неумирающие. Все темы души — это вечные темы, и они никогда не стареют, они вечно свежи и общеинтересны.

В Вашем же стихотворении, как я уже говорил, нет оригинального настроения, т. е. нет темы души. Вы, очевидно, думаете, что достаточно взять какую-либо тему современного прогресса, особенно популярную, и уже получится поэтическое стихотворение. Но это далеко не так. Хорошо, когда поэт способен откликаться на повседневные значительные события жизни, общества. Но надо сначала своими стихами убедить людей в том, что Вы поэт, чтобы к Вашим словам относились с вниманием и интересом, а потом уже откликаться на эти значительные события.

Так что главное для Вас, я думаю, попробовать сначала свои силы в умении выражать свои душевные переживания, настроения, размышления, пусть скромные, но подлинные. Поэзия идет от сердца, от души, только от них, а не от ума (умных людей ужасно много, а вот поэтов очень мало!). Душа, сердце — вот что должно выбирать темы для стихов, а не голова...»

Здесь Рубцов стремится говорить на языке, понятном неопытному стихотворцу, однако и его собственные представления открываются достаточно определенно.

Конечно, уровень начинающих авторов, стихи которых по просьбе Вологодской писательской организации рецензировал Николай Рубцов, не давал возможности вести разговор по большому счету. Но он и тут внимателен и серьезен, доброжелателен и взыскателен, идет ли речь о прозе Н. Разживиной, М. Гурьева, А. Згеева или о стихах А. Расхожева, Г. Кухтина, В. Цимлякова и многих других.

В любом случае Н. Рубцов ищет доброе, обнадеживающее начало в рукописях людей, не обладающих литературным опытом. Он снова и снова повторяет в своих рецензиях мысль о необходимости настойчивой работы над словом, над образом, над собой.

С большой определенностью представления Николая Рубцова о поэзии проявились в двух его небольших за-

метках: «Настроив душу на добро» — о первой книжке Сергея Чухина и «Подснежники» Ольги Фокиной».

Десять стихотворений С. Чухина в его сборничке «Горница» из поэтической кассеты «Сполохи» (1968) дали Н. Рубцову возможность показать и основные особенности почерка молодого поэта, и ограниченность его творчества. И все это — на одной буквально страничке!

Он отмечает у Чухина, с одной стороны, «лиризм с веселым северным говором и темпераментом, с тягой к ясному поэтическому выражению и образу», а с другой — стихи, «написанные в интонации раздумья, хорошим, но уже лишенным диалектного говора языком». В них-то и почувствовал Рубцов перспективы будущего развития С. Чухина.

Не ошибся Николай Рубцов в оценке первого робкого шага молодого поэта, которого предупреждал, что у него «узок еще круг поэтических тем, еще не отличаются они, эти темы, глубиной и силой... и арсенал изобразительных средств пока еще недостаточно богат и разнообразен». Сейчас С. Чухин опубликовал уже шестой сборник стихов, стал членом Союза писателей.

В основных чертах сложившаяся к 1966 году поэтическая манера Ольги Фокиной дала Николаю Рубцову возможность для более широких обобщений. Он высказывает свое определение, кто есть поэты: это — «носители и выразители поэзии, существующей в самой жизни — в чувствах, мыслях, настроениях людей, в картинах природы и быта». Формулирует Н. Рубцов и те критерии, которые определяют ценность поэзии. «Органичность выражения, сложность и глубина содержания, совершенство и простота формы, — пишет Рубцов, — вот те подснежники, которые ищут все поэты, в том числе и Ольга Фокина...»

Природа русского севера, «мокрого угла», по словам Н. Рубцова, своими многочисленными приметами отразилась в стихах Ольги Фокиной. Можно усмотреть эти приметы как внешнюю экзотику, иллюстративность, но в стихи Фокиной они вошли «органично», стали «фактом поэзии» по той причине, поясняет Рубцов, что «все это не придумано и является не мелкой подробностью, а крупным фактом ее биографии, ее личной жизни, судьбы».

И еще одну важную особенность поэзии Ольги Фокиной отметил Николай Рубцов — «слияние двух тради-

ций — фольклорной и классической». Такое слияние он считал особенно примечательным, поскольку оно, по его словам, «обновляет, если можно так выразиться, походку слова».

И, наконец, главное в поэзии Ольги Фокиной видится Рубцову в том, что «она пишет о самом простом и дорогом для всех — о матери, о любви, о природе, пишет о своей судьбе, а также о судьбе земляков. Все это по-человечески очень понятно и привлекательно и поэто-му находит отклик».

Суждения Николая Рубцова выражены настолько ясно и определенно, что не нуждаются в особых комментариях. Он утверждает изначальность связи поэта с жизнью народа и на этой основе — самовыражение как способ раскрытия духовного мира человека в поэзии.

Интересны соображения Н. Рубцова о соотношении, диалектике простого и сложного в поэзии, о традициях, о «географии» и судьбе — как они проявляются в творчестве поэта...

Спустя пятнадцать лет статья «Подснежники» Ольги Фокиной» стала предисловием к ее книге «Буду стеблем» (М., Мол. гвардия, 1979), настолько точно во всех измерениях определил Николай Рубцов особенности ее творчества.

Общие суждения поэта можно применить и к анализу его собственного поэтического мира — и это не только правомерно, но и необходимо. Ведь, в конце концов, Н. Рубцов формулирует здесь законы творчества, которые считает обязательными и для себя.

Сам Николай Рубцов в последние годы много работал, выпустил книги стихов «Душа хранит» и «Сосен шум», подготовил избранное — сборник «Зеленые цветы», который вышел уже посмертно...

*
* * *

Осенью 1968 года Николай Рубцов получил комнату в квартире-общежитии на Красноармейской набережной, на излюбленном им берегу Вологды. Жилье радовало поэта только поначалу: это все-таки было общежитие, и надо было приспособливаться к соседям, а приспособливаться Рубцов уже не хотел. Жизнь его и работа шли нервно, и к тому времени, когда следующим летом Рубцов пере-

селлся в однокомнатную квартиру на улице Александра Яшина, всего в двух кварталах от реки, он был немало измотан. Успокоение наконец пришло, но теперь уже и одиночество было поэту в тягость.

Зашел я с ним как-то раз в квартиру, подивился пустоте, неуюту, которые, видимо, за долгие годы бездомности стали привычными (хотя, бывая у друзей, Николай остро подмечал уют, устроенность и быстрее в этих случаях привыкал к новой обстановке). У стены напротив окна стоял диван, к нему был придвинут стол, в пустом углу у окна лежала куча журналов, малость обгоревших.

— Засиделся вчера долго и заснул незаметно, абжур зашаял, от него и журналы, — равнодушно пояснил Николай, заметив мой взгляд.

...Человек принят в Союз писателей, книжки у него выходят, есть наконец у него собственное жилье, а настоящего удовлетворения жизнью нет как нет. Он рано созрел как поэт и сознавал себя по праву поэтом истинным, а признание и нормальные условия жизни заставили себя ждать так долго...

Он, однако, не жаловался и будто сам стыдился своей необеспеченности и неустроенности, тайно мечтая об уюте и душевном участии и не надеясь, видимо, обрести их.

Внешне он стал гораздо спокойнее. Все реже встречал непонимание своих стихов, тем более — открытое непризнание, а чаще замечал заискивающую комплиментарность. Но что это ему! Настороженность уступила место видимому равнодушию. Он просто не обращал внимания на то, что ему было неинтересно, но среди близких по духу людей был человеком открытым, хотя и не из разговорчивых. Встречая старых друзей, умел быстро находить с ними прежний доверительный тон.

И все-таки ясно, что душевного равновесия в последние годы Николай Рубцов не находил. Он явно ощущал какой-то перевал в своем творчестве, иногда пугался этого. Наверное, потому, что очертания будущих путей для него самого еще не прояснились. Но нет сомнения, что поиск подсказал бы ему новые возможности. Например, попытку работать в необычном для Рубцова ключе я вижу в написанной им осенью 1968 года лесной сказке «Разбойник Ляля», которая резко отличается от всего им созданного и которую он очень ценил. Короче, ситуа-

ция безысходной не была — жизнь открыла бы перспективы развития так или иначе.

В крещенскую ночь 1971 года злая безрассудная воля оборвала дни Николая Рубцова, поэта, который писал:

Все умрем.
Но есть резон
В том, что ты рожден поэтом,
А другой — жнецом рожден...
Все уйдем.
Но суть не в этом...

Не в этом, верно. Но если бы «суть» нас еще и согревать могла...

* * *

Кто-то вышел...
и стало томительно пусто,
и страдальчески вьюги
завыли вдали.

Небеса омертвели
и давящим сгустком
обвалились на жесткое тело Земли.
По спиральям времен
мчалось эхо желаний.
Кто-то вышел.
Иль это почудилось мне?
Бились в родах
еще не созревшие мамы
И сгорали поэты на адском огне...
Кто-то вышел из нас, неожиданно, просто,
И до боли обидна была

простота:
отрешенная жуть городского погоста,
шелест звезд жестяных,
скрип гнилого креста.

Забываем...
С годами и память мертвеет,
но вот эту потерю забыть не смогли...
Кто-то вышел —
и замерли люди,
седея,
не от стужи крещенской — от великой любви!

Вологда

II. ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НИКОЛАЯ РУБЦОВА





О природе

Если б деревья и ветер,
 который шумит в деревьях,
если б цветы и месяц,
 который светит цветам, —
все вдруг ушло из жизни,
 остались бы только люди,
я и при коммунизме
 не согласился б жить!

Приютино, 1957

Первый поход

От брызг и ветра
 губы были солонь,
Была усталость в мускулах остра.
На палубу обрушивались волны,
Перелетали через леера.
Казался сон короче
 вспышки залповой.
И обостренность чувств такой была,
Что резкие звонки тревог внезапных
В ушах гремели,
 как колокола.
И вот тогда
 до головокружения
(Упорством сам похожий на волну)
Я ощутил пространство и движение...

И с той поры
у моря я в плену!
И мне обидно,
если вижу слабого,
Такого, что, скривив уныло рот,
В матросской жизни
не увидит главного
И жалобы высказывать начнет.
Когда бушует море одичалое
И нет конца тревожности «атак»,
Как важно верить
с самого начала,
Что из тебя получится моряк!

Мое море

Эх ты, море мое штормовое!
Как увижу я волны вокруг,
В сердце что-то проснется такое,
Что словами не выразишь вдруг.
Больно мне, если слышится рядом
Слабый плач
перепуганных птиц.
Но люблю я горящие
взгляды,
Озаренность взволнованных лиц.
Я труду научился на флоте,
И теперь на любом берегу
Без большого размаха
в работе
Я, наверное, жить не смогу...
Нет, не верю я выдумкам ложным,
Будто скучно на Севере жить.
Я в другом убежден:
Невозможно
Героический край не любить!

Учебная атака

Улыбку смахнул
командир с лица:
Эсминец
в атаку брошен.
Все наше искусство
и все сердца
В атаку брошены тоже.
Волны взревели,
как стадо волков,
Крепко обиженных чем-то.
Пенную воду ревущих валов
Эсминец
бортами
черпает.

Одни лишь волны
 буйно
 под ветрами
 Со всех сторон —
 куда ни погляди —
 Ходили,
 словно мускулы,
 буграми
 По океанской
 выпуклой груди.
 И быть беспечным
 просто невозможно
 Среди морских
 загадочных дорог,
 В дозоре путь
 бывает
 бестревожным, —
 Но не бывает
 думы
 без тревог!

(Из альманаха «Полярное сияние», 1959)

Поэзия

Сквозь ветра поющий полет
 И волн громовые овации
 Корабль моей жизни плывет.
 По курсу
 к демобилизации.

Всю жизнь не забудется флот,
 И вы, корабельные кубрики,
 И море, где служба идет
 Под флагом Советской Республики...

Но близок тот час, когда я
 Сойду с электрички на станции.
 Продолжится юность моя
 В аллеях с цветами и танцами.

В труде и средь каменных груд,
 В столовых, где цены уменьшены.
 И пиво на стол подают
 Простые красивые женщины.

Все в явь золотую войдет,
 Чем ночи матросские грезили...
 Корабль моей жизни плывет
 По морю любви и поэзии.

г. Североморск

Сердце героя

Спит герой у холодного моря,
Где о подвиге слава родилась.
Словно мать, затаившая горе,
Над могилой березка склонилась.

И под этой березкою низкой
При торжественных гимнах приборя
Будто светит звездой с обелиска
Неумершее сердце героя.

Это сердце под ношею горя
Было чистым, как солнце в кристалле.
В этом сердце сильнее, чем море,
Гнев и ярость в бою закипали.

Ничего нет врага ненавистней!
Тот, кто смело врагов истребляет,
Никогда не уходит из жизни,
Если даже в бою погибает!

И у моря холодного близко,
Как маяк, негасимой звездой
Будет вечно светить с обелиска
Неумершее сердце героя.

Начало любви

Помню ясно,
Как вечером летним
Шел моряк по деревне —
и вот
Первый раз мы увидели ленту
С гордой надписью
«Северный флот».
Словно бурями с моря

пахнуло,
А не запахом хлеба с полей,
Как магнитом к нему потянуло,
Кто-то крикнул:
«Догоним скорей».
И когда перед ним появились
Мы, взметнувшие пыль с большака,
Нежным блеском глаза осветились
На суровом лице моряка.
Среди шумной ватаги ребячьей,
Будто с нами знакомый давно,
Он про море рассказывать начал,
У колодца присев на бревно.
Он был весел и прост в разговоре,
Руку нам протянул: «Ну, пока!»
...Я влюбился в далекое море,
Первый раз повстречав моряка!

Пародия

Куда меня, беднягу, завезло!
Таких местов вы сроду не видали!
Я нажимаю тяжко на педали,
Въезжая в это дикое село!
А водки нет
 в его ларьке убогом,
В его ларьке единственном, косом...
О чем скрипишь
 передним колесом,
Мой ржавый друг?
О, ты скрипишь о многом!..

Ненастье

Погода какая!
 С ума сойдешь:
снег, ветер и дождь-зараза!
Как буйные слезы, струится дождь
по скулам железного Гааза*.

Как резко звенел
 в телефонном мире
твой голос, опасный подвохом!
Вот трубка вздохнула в моей руке
осмысленно-тяжким вздохом
и вдруг онемела с раскрытым ртом...
Конечно, не провод лопнул!
Я дверь автомата открыл пинком
и снова
 пинком
 захлопнул...

И вот я сижу
 и зубрю дарвинизм,
и вот, в результате зубрежки,
внимательно ем
 молодой организм
какой-то копченной рыбешки...
Что делать? —
ведь ножик в себя не вонжу,
и жизнь продолжается, значит.

На памятник Гааза в окно гляжу:
железный!
 А все-таки... плачет.

* Имеется в виду памятник известному врачу-гуманисту
Ф. П. Гаазу в Ленинграде.

Сказка-сказочка

Влетел ко мне какой-то бес.
Он был не в духе или пьян.
И в драку сразу же полез:
Повел себя, как хулиган.

И я сказал: — А кто ты есть?
Я не люблю таких гостей.
Ты лучше с лапами не лезь:
Не соберешь потом костей!

Но бес от злости стал глупей
И стал бутылки бить в углу.
Я говорю ему: — Не бей!
Не бей бутылки на полу!

Он вдруг схватил мою гармонь.
Я вижу все. Я весь горю!
Я говорю ему: — Не тронь,
Не тронь гармошку! — говорю.

Хотел я было напрямик
На шпагах драку предложить,
Но он взлетел на полку книг.
Ему еще хотелось жить!

Уткнулся бес в какой-то бред
И вдруг завыл: — О, божья мать!
Я вижу лишь лицо газет,
А лиц поэтов не видать...

И начал книги из дверей
Швырять в сугробы декабря.
...Он обнаглел, он озверел!
Я...ничего не говорю.

1960

Вспомнилось море

Крыша. Над крышей луна.
Пруд. Над прудом бузина.
Тихо. И в тишине
Вспомнилось море мне.
Здесь бестревожно.
А там,
В хмуром дозоре ночном,
Может, сейчас морякам
Сыгран внезапный подъем.
Тополь. Ограда. Скамья.

Пташек неровный полет...
Скоро из отпуска я
Снова уеду на флот.
Я расскажу, как у нас
Дружным звеном из ворот
С радостью в утренний час
В поле выходит народ.
Я в чистоте берегу
Гордое звание матрос,
Я разлюбить не смогу
Край, где родился и рос.
Крыша. Над крышей луна.
Пруд. Над прудом бузина...
С детства нам дорог такой
Родины светлый покой.

Пусть поют поэты!*

*Мне трудно думать:
Так много шума.
А хочется речи
Простой, человеческой.*

В каких словах
Воспеть тебя, о спутник!
Твой гордый взлет — падение мое.
Мне сообщил об этом литсотрудник,
В стихи перо направив,
Как копье.

Мол, век ракетный,
Век автомобильный,
А муза так спокойна и тиха!
И крест чернильный,
Словно крест могильный,
Уверенно поставил на стихах.

На этом с миром
И расстаться нам бы,
Но отчего же
С «Левым маршем» в лад
Негромкие есенинские ямбы
Так громко в сердце бьются и звучат!

Орел взлетит,
Куда взлететь не может
Петух, влюбленный в курочье: ко-ко!
Но, в ширь влюбленный
Жаворонок тоже,
Как и орел, взлетает высоко!

* Первоначальный вариант известного стихотворения «О чем шумят друзья мои, поэты...», впервые опубликованного в сборнике Н. Рубцова «Лирика» (1965).

И, слава век
Космической ракеты,
Готовясь в ней лететь на небеса,
Пусть и шумят,
И пусть поют поэты
Во все свои земные голоса!

1962

На злобу дня*

Экспромт

Космонавты советской земли,
люди самой возвышенной цели,
снова сели в свои корабли,
полетели, куда захотели!

Сколько ж дней, не летая ничуть,
мне на улице жить многостенной?
Ах! Я тоже на небо хочу!
Я хочу на просторы Вселенной!

Люди! Славьте во все голоса
новый подвиг советских героев!
Скоро все улетим в небеса
и увидим, что это такое...

Только знаю: потянет на Русь!
Так потянет, что я поневоле
разрыдаюсь, когда опущусь
на свое вологодское поле...

Все стихи про земную красу
соберу и возьму их под мышку
и в издательство их отнесу —
пусть они напечатают книжку!

12 августа 1962 г.

* Стихи написаны в день начала совместного космического полета Андрияна Николаева и Павла Поповича.

Рассказ о коммунисте

Он поднял флаг
Над сельсоветом,
Над тихой родиной своей,
Над всем старинным белым светом
Он поднял флаг!
В краю полей
Он дорожил большим доверьем
И даже,
Брошенный женой,
Не изменил
Родной деревне,
Когда ей было тяжело.
Он не стремился
К личной славе,
Не верил скучным голосам.
Он знал:
Кто едет,
Тот и правит!
И в трудном деле
Правил сам!
За изобилье
В каждом доме,
За добрый говор —
Напрямик
Он твердо шел,
Собою скромн
И одновременно
Велик...

(«Ленинское знамя», 15 августа 1964 г.)

Октябрьские ветры

О ветры! Октябрьские ветры!
Не зря вы тревожно свистели!
Вы праздник наш
 гордый и светлый
В своей сберегли колыбели.
Вы мчались от края до края —
И день разгорался цветущий!
Но, прожитый день прославляя,
Мы смотрим, волнуясь, в грядущий.
Мы смотрим вперед,
 как матросы
Сквозь бури идущего флота:
Еще ожидают нас грозы,
Работа, работа, работа!
Еще беспокойны и долги
Дороги под флагом бессмертным.
Еще на земле не замолкли
Октябрьские сильные ветры!

(«Ленинское знамя», 7 ноября 1964 г.)

Горбоносый,
В коротких штанишках,
Он стоял у родного крыльца,
И мечтал,
увлеченный мальчишка,
Что изведает мир до конца! —

Переводы были сделаны мастерски. Не было никакого сомнения — Рубцов не новичок в переводе. Но какова судьба других его переводов? И почему именно Дзаболова переводил Рубцов, подумалось, ведь вокруг было столько товарищей-поэтов, нуждавшихся в хорошем переводчике.

Интересуюсь у осетин судьбой Дзаболова.

Отвечают:

— Хазби умер.

— Как?!

— Трагически погиб 19 января 1969 года. Прожил всего 37 лет. «Ушел он так же неожиданно, как и пришел. Никто не помнит, когда он пришел в осетинскую литературу, словно он был в ней всегда. Никто не помнит, ибо он пришел, как пахарь к весеннему полю, — работать радостно и основательно», — прочитал я про Хазби Дзаболова у его друга, критика Нафти Джусойты.

Людмила Дзаболова, жена Хазби, прислала мне дру-гие переводы Рубцова. Их оказалось пятнадцать.

Легко заметить, что стихи Дзаболова, которые Рубцов переводил, и по тематике и по своему решению близки оригинальным стихам Рубцова. Его не заинтересовали те стихи Дзаболова, на которых лежала пыль экзотики. Его интересовало то общее, что было у него с поэтом, живущим в другом конце страны.

Николай Рубцов родился в 1936 году, Хазби Дзаболов — в 1931.

Оба рано начали самостоятельную жизнь. Оба пере-менили немало профессий. Рубцов — от моряка трало-вого флота до слесаря-сборщика и сельского избача. Дзаболов — от землепашца до шахтера. Оба работали медленно, понимая, что «прекрасное должно быть вели-чаво». Дзаболов издал три книги стихов. Рубцов — че-тыре.

...Их знакомство могло быть и для одного, и для дру-гого, и для нас с вами одним из сотен знакомств в сте-нах общежития Литературного института, если бы после него не остались стихи, которые сегодня и предлагаются вниманию читателей.

А. Брагин

Общее горе

В гнездах покинутых рылись вороны,
И гибель носилась вокруг.
В избе, где вручили листок похоронный,
Рыдание послышалось вдруг!
И все, кто услышал, тотчас зарыдали,
Как листья осины одной,
И всем представлялись холодные дали,
Где муж или сын их родной...

Когда кричала сорока

Закричит возле дома сорока —
Мать, волнуясь, глядит из сеней:
О! Наверное, гость издалека
С доброй вестью торопится к ней!
Но... войну накричала сорока!
Сколько зим пронеслось, сколько лет
После этого скорбного срока!..
Но сороке доверия нет. —
Закричит возле дома сорока —
И тотчас, будто что-то стряслось,
Мать встревоженно смотрит с порога:
Злой иль добрый появится гость?

На могиле отца

Ты был землепашцем на этой земле.
Но отдыха время настало —
Сложив свои руки, без мук на челе,
Заснул ты устало, устало.
Я знаю, что там темнота, забытьё...
Но здесь, где живут в непокое,
Пусть светлым останется имя твое
И долго звучит, как живое!

Огонь

Было видно село издалека
Даже темною ночью, как днем:
Вся земля озарялась жестоко
Ослепительным смертным огнем.
Падал с воздуха огненной свечкой
Самолет, и дымилась стерня...
А чтоб только не выстудить печку,
Часто не было в доме огня!
Не смолкали горящие звуки...
А соседки, сквозь пули, тайком,
Чтоб над печкой погреть свои руки,
Шли к другим за живым огоньком.

Давно я не вставал по крику петухов

Село, где на чинаровом столбе
Осталась моего рожденья дата,
Зеленогрудое! Грущу я о тебе...
Мои поля! Где мной трава не смята...
Давно по свежевспаханной земле
Я не бродил и не слышал спросонок,
Как блеют за стеною в теплой мгле
Коза и разлученный с ней козленок.

Давно я не вставал по крику петухов
И солнце не встречал в лощинах вешних,
Но домик наш — гнездо моих стихов
Не забываю, как скворец скворешник...

* * *

Меня война солдатом не застала.
Чтоб взять винтовку, был годами мал.
Но тоже рос голодный и усталый
И тоже груз на плечи поднимал!
Своим крылом безжалостное время
Махало так, что мой мутился взгляд, —
Недетских слез и всех лишений бремя
Я тоже нес, как будто был солдат!..

Пожелание новорожденному

Ты рожден под крылом водопадной струи,
Там, где властвуют скал перевалы,
Будь же чист, как высокие воды твои,
Будь же тверд, как родимые скалы!

* * *

Горбоносый,
В коротких штанишках,
Он стоял у родного крыльца.
И мечтал,
 увлеченный мальчишка,
Что изведает мир до конца!
Он мечтал
 и не ведал сомнений
В том, что имя его прозвенит,
Что везде
И у всех поколений
Будет подвиг его знаменит!..
Где же подвиг твой,
 гордый мальчишка?
Где крылатая слава твоя?..
Горбоносый,
В коротких штанишках,
Это был...
 неужели не я?

* * *

Человек переносит любую беду,
Он сгорает в болезненном жарком бреду,
И заносит его обезумевший снег —
Все равно переносит беду человек!

Но как трудно, как трудно бывает тогда,
Если рядом случится чужая беда!
Если кто-то страдает у вас на виду,
И, душой проникая в чужую беду,
Вы не в силах пройти стороною и прочь,
Но не в силах ничем человеку помочь!

* * *

Всегда заботой матери храним
От колыбельных дней и до конца,
Взрослеет сын, и борется и дышит!
Так почему за именем своим
Он пишет имя гордого отца,
А имя доброй матери не пишет!..

От автора

*Предисловие к рукописному
сборнику «Волны и скалы»*

В этот сборник вошли стихи очень разные. Веселые, грустные, злые. С непосредственным выражением и с формалистическим, как говорится, уклоном. Последние — не считаю экспериментальными и не отказываюсь от них, ибо, насколько чувствую, получились они — живыми. Главное — что в основе стиха! Любая «игра» — не во вред стихам, если она — от живого образа, а не от абстрактного желания «поиграть», если она — как органичное художественное средство. Это понятно каждому.

Кое-что в сборнике (например, некоторые стихи из цикла «Ах, что я делаю?») слишком субъективно. Это «кое-что» интересно только для меня, как память о том, что у меня в жизни было. Это — стихи момента.

Стихотворения «Березы», «Утро утраты», «Поэт перед смертью» — не считаю характерными для себя в смысле формы, но душой остаюсь близок к ним. Во всяком случае Бурыгиным, Крутецким и т. п. — тут не пахнет. И пусть не суются сюда со своими мнениями унылые и сытые «поэтические рыла», которыми кишат литературные дворы и задворки. Без них во всем разберемся.

В жизни и в поэзии — не переносу спокойно любую фальшь, если ее почувствую. Каждого искреннего поэта понимаю в любом виде, даже в самом сумбурном.

По-настоящему люблю из поэтов-современников очень немногих.

Четкость общественной позиции поэта считаю не обязательным, но важным и благотворным качеством. Этим качеством не обладает в полной мере, по-моему, ни один из современных молодых поэтов. Это — есть характерный знак времени. Пока что чувствую этот знак и на себе.

Сборник «Волны и скалы» — начало. И как любое начало, стихи сборника не нуждаются в серьезной оценке. Хорошо и то, если у кого-то останется об этих стихах доброе воспоминание.

Ленинград
11 июля 1962 г.

Коротко о себе

Родился в 1936 г. в Архангельской области. Но трех лет меня увезли оттуда. Детство прошло в сельском детском доме над рекой Толшмой глубоко в Вологодской области. Давно уже в сельской жизни происходят крупные изменения, но до меня все же докатились последние волны старинной русской самобытности, в которой было много прекрасного, поэтического. Все, что было в детстве, я лучше помню, чем то, что было день назад.

Родителей лишился в начале войны. После детского дома, так сказать, дом всегда был там, где я работал или учился. До сих пор так.

Учился в нескольких техникумах, ни одного не закончил. Работал на нескольких заводах и в Архангельском траловом флоте. Служил четыре года на Северном флоте. Все это в разной мере отозвалось в стихах.

Стихи пытался писать еще в детстве.

Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти, любви и удали. Думаю, что стихи сильны и долговечны тогда, когда они идут через личное, через частное, но при этом нужна масштабность и жизненная характеристность настроений, переживаний, размышлений... «Над вечным покоем» — это рукопись моего первого сборника.

(Около 1963 г.)

Поэтами не являются те авторы, которые создают в стихах абстрактные понятия или образы прекрасного. Поэты — носители и выразители поэзии, существующей в самой жизни — в чувствах, мыслях, настроениях людей, в картинах природы и быта. Достаточно порой просто хорошо чувствовать и понимать поэзию (коротко говоря, прекрасное) в сложных явлениях жизни, в сложном поведении людей, чтобы определить поэта, встретившись с ним и еще не зная его стихов.

Конечно, наиболее полный и подлинный образ поэта раскрывается в его стихах.

Ольга Фокина заинтересовала меня при первой же встрече. Хотя ее стихи мне не были известны. Сдержанная и даже строгая в разговоре, она тотчас же оживилась и затихла, когда из репродуктора слышались удивительные мелодии русских народных песен.

— Жить без них не могу, — грустно сказала она, когда пение прекратилось.

В стихах Ольги Фокиной (речь сейчас идет только о главном) привлекает, в первую очередь, как раз то, что она жить не может без этих стихов о родной самобытной сельской земле, жить не может без стихов о песнях, красоте и людях этой земли. Она пишет о самом простом и дорогом для всех — о матери, о любви, о природе, пишет о своей судьбе, а также о судьбе земляков. Все это по-человечески очень понятно и привлекательно и поэтому находит отклик...

Простые звуки родины моей:
Реки неугомонной бормотанье
Да гулкое лесное кукованье
Под шорох созревающих полей.

По внешней и внутренней организации это четверостишие сильно напоминает лермонтовское «ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье». Все равно напоминает, хотя оно гораздо интимней по интонации. Это было бы плохо, если бы стих был просто сконструирован по лермонтовскому образцу. Это хорошо потому, что стих не сконструирован, а искренне и трепетно передает такое подлинное состояние души, которое просто родственно лермонтовскому.

Кажется, это Ольга сказала, что мы нередко бежим от желания выразить то или иное настроение, боясь показаться неоригинальными, боясь напомнить кого-либо из классиков. А получается так, что бежим от поэзии.

С этим нельзя не согласиться. Суть, очевидно, в том, чтобы все средства, весь опыт предыдущей литературы использовать для того, чтобы с наибольшей полнотой выразить самого себя и тем самым создать нечто новое в поэзии. Было бы что стоящего выражать.

Многим стихам Ольги Фокиной, в смысле формы, свойственно слияние двух традиций — фольклорной и классической. Это интересно, т. к. обновляет, если можно так выразиться, походку слова.

В лучших стихах Фокиной, в смысле содержания, выражается не простое, а сложное чувство, т. е. радость и боль, нежность и огорчение представляют собой в том или ином стихотворении лишь оттенки одного сложного чувства. Это особенно свойственно ее стихам о любви. Таким, как «Зря я маму не послушала», «Влажный ветер с твоей стороны», «Прости, прощай и будь счастлив», «Тебя обманут первого апреля», «Западает голос у баяна», «В девственном лесу». В этих стихах — свежее дыхание поэзии, порой задумчивое, порой сдержанно-неудержимое.

Леса, болота, плесы, снега — все эти черты и приметы так называемого «мокрого угла» (Архангельская, Вологодская области и прилежащие местности) органично и красочно вошли в лучшие стихи Ольги Фокиной. И все это стало фактом поэзии потому, что все это не придумано и является не мелкой подробностью, а крупным фактом ее биографии, ее личной жизни, судьбы.

Вообще, надо сказать о том, что плодотворный путь поэзии один: через личное к общему, т. е. путь через личные, глубоко индивидуальные переживания, настроения, раздумья. Совершенно необходимо только, чтобы все это личное по природе своей было общественно масштабным, характерным. Это значит, что переживания должны быть действительно глубокими, мысли — действительно сильными, настроения — действительно яркими. Только на этой почве произрастают цветы поэзии. К сожалению, они, как подснежники, еще бывают занесены холодным снегом декларативности, рационализма, юродства разной масти. И надо, видимо, хорошенько разбираться в сложнейших явлениях литературы, чтобы

не потерять, как говорится, свою голову. Ольге Фокиной это, кажется не грозит.

Последнее время Ольга часто выступает со стихами перед большими читательскими аудиториями. Это требует известного напряжения сил. Естественно было спросить, не устает ли она от этого.

— Устаю. Но что же делать?

Это не шутка. За этими словами стоит серьезный разговор о назначении поэта в обществе. Каждый поэт обязан помнить и учитывать, что стихи и понимание стихов действительно необходимы людям, особенно молодежи.

Органичность выражения, сложность и глубина содержания, совершенство и простота формы, общественная масштабность поэзии — вот те подснежники, которые ищут все поэты, в том числе и Ольга Фокина. Ищет и находит.

(«Вологодский комсомолец», 2 февраля 1966 г.).

Настроив душу на добро

Трудно пока завести большой разговор о стихах Сергея Чухина, автора одной, еще очень маленькой книжки, но и те десять стихотворений, из которых состоит она, имеют вполне определенные поэтические достоинства, оставляют впечатление и наводят на некоторые мысли.

...Ворочусь к зазнобе
ночью поздней.
Выйди на крыльцо
да покажись!
Зачеркните, милые полосья,
Прошлую укатанную жизнь...

Такого рода стихи особенно характерны для Чухина. Они яснее других показывают его творческий почерк, его лиризм с веселым северным говором и темпераментом, с тягой к ясному поэтическому выражению и образу. Показывают они также особенности и меру его общего восприятия жизни, отношения к ней.

В другом стихотворении он пишет:

Настроив душу на добро,
На чистоту лесной бересты,
Понять природу так же просто,
Как птице обронить перо.

Думается, что и такие стихи, написанные в интонации раздумья, хорошим, но уже лишенным диалектного говора языком, не случайны в этой книжке. Видимо, в этом направлении, имеющем явную перспективу, Чухин пойдет и дальше.

К основным и заметным недостаткам книжки следует отнести, во-первых, то, что в ней узок еще круг настроений, переживаний, раздумий, картин. Иначе говоря, узок еще круг поэтических тем, еще не отличаются они, эти темы, глубиной и силой. Кроме того, и арсенал изобразительных средств пока недостаточно богат и разнообразен.

В общем, трудно по одному сполоху судить о состоянии природы в целом, но, тем не менее, поэтический сполох Сергея Чухина состоялся, он замечен, и это главное.

(«Вологодский комсомолец», 1968)

ВАЛЕНТИНУ САФОНОВУ*

2 февраля 1959 г.

Дорогой Валя, привет!

Письмо твое получил. Большое спасибо.

Твое бодрое, деятельное настроение вдохнуло в меня новую порцию любви к жизни. Такую любовь можно смело назвать кислородом, которым дышит сердце и без которого легко задохнуться в угарных газах мрачного, скептического состояния. Ты своим письмом избавил меня от вредного и неприятного расположения духа, которое тогда владело мной. В общем, я был очень и очень рад твоему письму.

Сейчас политзанятия. Минуту назад я с должным воодушевлением ответил на вопрос, заданный мне по теме. Больше, видимо, не потревожат, и я решил переключиться мыслями и вниманием к тебе.

Сперва о деле. Ты говоришь, что необходимо (или желательно) узнать подробности поездки Есенина в Мурманск. Действительно, это надо сделать, и кто-то должен добиться здесь успеха, т. е. узнать, что требуется. К сожалению, для меня это пока почти невозможно, поскольку, сам знаешь, я на службе и потому лишен свободы действий.

Надо бы поехать в Мурманск и на месте попытаться найти людей, которые помогут. Перепиской вряд ли чего добьешься, но, не имея других средств, я все-таки написал одно письмо в Ростов-на-Дону знакомой пре-

* Сафонов Валентин вместе с Н. Рубцовым служил на Северном флоте, был членом литобъединения, после демобилизации работал в газете «На страже Заполярья». Сейчас живет в Рязани, автор нескольких книг прозы, член СП СССР.

подавательнице литературы, она любит Есенина и прекрасно знает его биографию. Недавно она тоже была в Мурманске продолжительное время. Может, подскажет, с чего начать. А если в подходящее мурманское учреждение написать? Мало толку?

Что бы там ни было, помнить об этом деле буду постоянно. Да и невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина. О нем всегда я думаю больше, чем о ком-либо. И всегда поражаюсь необыкновенной силе его стихов. Многие поэты, когда берут не фальшивые ноты, способны вызвать резонанс соответствующей душевной струны у читателя. А он, Сергей Есенин, вызывает звучание целого оркестра чувств, музыка которого, очевидно, может сопровождать человека в течение всей жизни.

Во мне полнокровной жизнью живут очень многие его стихи. Например, вот эти:

Кто видал, как в ночи кипит
Кипяченных черемух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять!

Так и представляется, как где-то в голубой сумрачной степи маячит одинокая разбойная фигура. Громкий свист... Тихий вскрик... И выплывает над степью луна, красная, будто тоже окровавленная...

Что за чувства в этих стихах? Неужели желание убивать? Этого не может быть! Вполне очевидно, что это неудержимо буйный (полнота чувства, бьющая через край, — самое ценное качество стиха, точно? Без него, без чувства, вернее, без нее, без полноты чувства, стих скучен и вял, как день без солнца), повторяю: это неудержимо буйный (в русском духе) образ жестокой тоски по степному раздолью, по свободе. Неважно, что образ хулиганский. Главное в нем — романтика и кипение, с исключительной силой выразившие настроение (беру чисто поэтическую сторону дела). Вообще, в стихах должно быть «удесятеренное чувство жизни», как сказал Блок. Тогда они действенны.

Вот у Сельвинского:

И мое далекое страдание,
Стиснутое, сжатое толпой,
Розой
 окровавленной
 в стакане
Будет полыхать перед тобой!

В «Литературке» было напечатано. Ты читал? Наверно, тоже понравилось? В большинстве стихов наших флотских, как ты называешь, пиитов (да и не только наших) как раз недостает этого. Какие-то сухие, схематичные стишки. Не стоит говорить о том, что они не будут жить: они рождаются мертвыми.

Валя, я только что расписался, а конец политзанятий уже близок, и, пожалуй, надо кончать, чтобы не откладывать письмо до следующего случая: собраться что-то написать для меня всегда трудность. Да и зачем рассуждать так много, всего не перескажешь; и может получиться такое нагромождение чепухи, что ты вынужден будешь воскликнуть что-нибудь в духе Гоголя: «Это черт знает что!».

Рядом со мной сидит бывалый моряк, давний мой приятель. Он произносит иронический упрек в мой адрес: мол, меня не волнует (а должна волновать!) тема занятий. Я отвечаю, что люблю только интересные, захватывающие места, но умалчиваю о том, что он уже надоед своими репликами. Не говорю этого потому, что он вспыльчив. Как спичка. Хотя и отходчив. Попилит и успокоится. Как крем-сода.

Ну, позволь пожелать тебе всего только самого лучшего, успехов во всем, здоровья на тысячу лет.

О себе писать ничего пока не стану. Скажу только, что все чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ни черта не могу придумать! Неужели всю жизнь придется делать то, что подскажет обстановка? Но ведь только дохлая рыба (так гласит народная мудрость) плывет по течению!

Еще раз счастливо! Пиши ответ, если найдешь время. Буду ждать!

С приветом и наилучшими пожеланиями *Н. Рубцов*.

Пиши о себе, о своих планах, как живешь? Нравится ли работа в газете?

Р. С. Кушака* я видел один раз на занятии объединения. Стихи его знаю хорошо. Вот из стихотворения «Поэт»:

* Кушак Юрий служил одновременно с Н. Рубцовым и В. Сафоновым на Северном флоте, был членом литобъединения, сейчас живет в Москве. Поэт, переводчик, член Союза писателей СССР.

Он двадцать раз
готов гореть над строчкой,
Чтоб в двадцать первый раз
зажечь сердца!

Северный флот.

ВАЛЕНТИНУ САФОНОВУ

29 мая 1959 г.

Валя, здравствуй! Здравствуй!

Пишу тебе из мурманского госпиталя. Требовалась легкая операция — вот я сюда и угодил.

Дня три-четыре мучился, потом столько же, примерно, наслаждался тишиной и полным бездействием, потом все надоело. На корабль не очень-то хочется, но и здесь чувствуешь себя не лучше, чем собака на цепи, которой приходится тявкать только на кошку или на луну.

Обстановка для писания стихов подходящая, но у меня почти ничего не получается, и я решил убить время чтением разнообразной литературы. Читал немного учебник стенографии — в основном искал почему-то обозначения слов «любовь» и «тебя», читал новеллы Мопассана, мемуары В. Рождественского в «Звезде», точнее, в нескольких «Звездах» и даже «Общую хирургию» просматривал. Между прочим, пришло здесь в голову, кажется, удачное сравнение: моряк обязан знать свое дело, как хирург свое дело знает. Каждый моряк.

Еще занимаюсь игрой в шахматы.

В понедельник или вторник на следующей неделе выпишусь.

Ночами часто предаюсь воспоминаниям. И очень в такие минуты хочется вырваться наконец на простор, поехать куда-нибудь, посмотреть на давно знакомые памятные места, поклоняться по голубичным болотам да по земляничным полям или посидеть ночью в лесу у костра и наблюдать, как черные тени, падающие от деревьев, передвигаются вокруг костра, словно какие-то таинственные существа.

Ужасно люблю такие вещи.

С особенным удовольствием теперь слушаю хорошую музыку, поставив динамик к самому уху, и иногда в такие минуты просто становлюсь ребенком, освобождая душу от всякой скверны, накопленной годами.

Ну, хватит об этом.

Посылаю тебе два стихотворения: «Дан семилетний план», «Сестра»*. Первое озаглавлено строкой Н. Асеева, и этот заголовок измени, если хочешь, как хочешь.

Второе написано с посвящением здешней девушке — медсестре.

Не подумай, что я влюблен, точнее, не подумай, что только я в нее влюблен: ее любят все за чудесный характер и работу. С ней говорить — то же, что дышать свежим чистым воздухом.

Если что не пойдет в газету, сообщи об этом.

В прошлое воскресенье случайно увидел Проценко. Он к кому-то приходил в госпиталь. Поговорили немного о делах, так сказать, литературных.

Ну, будь здоров!

До свиданья!

С приветом, с горячим дружеским приветом *Н. Рубцов*.

Р. С. В стихах о семилетке в последней строфе слова «Ведь в каждом деле...», может, лучше заменить на «И в каждом деле...» Посмотри. В таком случае после сл. «растущее» надо будет, наверно, поставить многоточие?

А ты получил стихи «Первый поход»? А будет напечатано «Счастливого пути»?*

Ответ пиши, конечно, не на госпиталь, на прежний адрес.

ВАЛЕНТИНУ САФОНОВУ

Ленинград, 2 июля 1960 г.

Здравствуй, Валя!

Письмо твое получил. Правда, далеко не сразу, поскольку с прежнего места жительства (куда пришло письмо) давно перебрался в Ленинград. И оно, твое письмо, терпеливо ждало, когда я наконец соберусь на побывку в «старую хату».

От всей души, от всего сердца поздравляю тебя с браком. И от всей души и от всего сердца желаю тебе в новой жизни всего, что желают только другу.

Пусть в дальнем домике твоём
Никто ни с кем не лается.
Пусть только счастье входит в дом
И все, чего желается.

* Названные стихи сохранились в рукописи.

** «Первый поход» публикуется в наст. сб., с. 273. Стихотворение «Счастливого пути» неизвестно.

Валя, ты просил написать, на что я живу. Я благодарен тебе за твое внимание даже к деталям моего теперешнего житья. И отвечаю на вопрос: сперва было не очень-то весело, теперь же можно жить, т. к. работать устроился на хороший завод, где, сам знаешь, меньше семисот рублей никто не получает. С получки особенно хорошо: хожу в театры и в кино, жру пирожное и мороженое и шляюсь по городу, отнюдь не качаясь от голода.

Вообще, живется как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать и кому доказывать — не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться.

Но все это муть. Тебе все это неинтересно и старо. Дело жизни тобой выбрано, насколько я понимаю.

А мне нравятся только поездки в разные места.

Погода в Ленинграде неплохая. Лету давно был объявлен подъем. Но оно сперва, как недисциплинированный моряк, «тянулось», за это наказано несколькими внеочередными похолоданиями, теперь поняло свою вину и выполняет обязанности добросовестно. Что это мне взбрело на ум боевая и политическая подготовка — это тут при чем?

Ну, Валец, будь здоров! Передай привет и наилучшие пожелания твоей жене. Передай привет Юре Кушаку.

Жму крепко краба.

С искренним приветом *Н. Рубцов*.

Валя!

Извини, еще немного займу твое внимание.

Получил вчера из вашей газеты перевод девятнадцатирублевый. Мне интересно узнать, что это за миниатюра такая была напечатана в газете? Я таких коротких стихов не посылал. Может быть, ты читал ее, тогда, будь добр, напиши мне, про что в ней, в этой миниатюре. И еще напиши, пожалуйста, выходила ли полоса стихов б. ч. л. (бывших членов литобъединения, — В. С.), если выходила, было ли там мое что-нибудь?

Валя, а ты видел фильмы «Рапсодия», «Алексей Кольцов»? Какие это замечательные вещи, да?

Ну, дорогой Валька, еще раз поздравляю тебя, еще и еще раз крепко жму руку.

Искренне *Н. Рубцов*.

Р. С. Валя, очень прошу: если будешь писать ответ, пошли, пожалуйста, что-нибудь из своих стихов. Мне так хочется почитать их. Пиши. Очень жду.

НЕИЗВЕСТНОЙ

(Около 1961 г.)

Лариса!

Привет, привет!

Ты спрашиваешь, почему я так и не написал письмо, хотя обещал. А мне интересно знать, не все ли равно тебе, напишу я или нет.

В общем, короче. Перехожу с прозы на стихи, кои для меня удобней выражать мысли. А также и чувства.

Ах отчего мне
Сердце грусть кольнула,
Что за печаль у сердца моего?
Ты просто
В кочегарку заглянула,
И больше не случилось ничего.
Я разглядеть успел
Всего лишь челку
Но за тобою, будто за судьбой,
Я выбежал,
Потом болтал без толку
О чем-то несущественном с тобой.

Я говорил невнятно:
Как бабуся,
Которой нужен гроб, а не любовь,
Знать, потому
Твоя подруга Люся
Посмеивалась, вскидывая бровь?
Вы ждали Вову,
Очень волновались.
Вы спрашивали: «Где же он сейчас?»
И на ветру легонько развевались,
Волнуясь тоже,
Волосы у Вас.
Я знал
Волненья Вашего причину
И то, что я здесь лишний, —
Тоже знал!
И потому,
Простившись чин по чину,
К своим котлам по лужам зашагал.

Нет, про любовь
Стихи не устарели!
Нельзя сказать, что это сор и лом.
С кем ты сейчас
Гуляешь по Форели?
И кто тебя целует за углом?
А если ты
Одна сидишь в квартире,
Скажи: ты никого к себе не ждешь?
Нет ни одной девчонки в целом мире,
Чтоб про любовь сказала: «Это ложь!»
И нет таких ребят на целом свете,
Что могут жить, девчонок не любя.
Гляжу в окно,
Где только дождь и ветер,
А вижу лишь тебя, тебя, тебя!

Лариса, слушай!
Я не вру нисколько —
Созвучен с сердцем каждый звук стиха.
А ты, быть может,
Скажешь: «Ну и Колька!»
И рассмеешься только: ха-ха-ха!

Тогда не сей
В душе моей заразу —
Тоску, что может жечь сильнее огня.
И больше не заглядывай ни разу
К нам в кочегарку!
Поняла меня?

С искренним приветом Н. Рубцов.

Э. ШНЕЙДЕРМАНУ*

(Не датировано)

Дорогой Эдик, привет, привет!
Посылаю стихи.

Попробуй как-нибудь разобраться в почерке и правильно отпечатать стихи.

А когда выходит «Оптима»?

Мою подборку открой «Элегией». Потом пусть будет тралфлотский цикл с таким расположением стихов: «В океане», «Фиалки», «На берегу», «Бывало». Двух стихов («Портовая ночь», «Я весь в мазуте») пусть не будет. Неохота просто больше мне писать. Потом — два стиха про любовь, «Видение в долине», «Поэт», «В этом городе крыши низкие»** (обязательно этот стих напеча-

* Скорее всего, письмо написано в конце 1962 (может быть, в начале 1963) года в Ленинград друзьям по литобъединению.

** Стихотворение неизвестно.

тай в таком виде, в каком посылаю). И закрой подборку стихотворением «Космонавты советской земли»*.

«В «Океане» и «На берегу» сейчас не посылаю. Помнится, что они у тебя уже есть.

Стихи печатай смелей. Там просто чувства, отвлечение, точно? Тем более что все эти стихи я посылал уже сюда, в институт на конкурс. Ну будь здоров, Эдик. Жду от тебя письма. Пиши. Посылай стихи свои.

С большим приветом *Коля*.

Привет Киму, Лене**.

Н. Рубцов.

Р. С. Эдик, это стихотв[орение] помести после стиха «Птицы разного полета». Больше про любовь ничего не надо. Про Гааза тоже не надо***.

СЕРГЕЮ БАГРОВУ****

27 июля 1964 г.

Здравствуй, Сережа!

Я снова в своей Николе. А ты? В своей ли Тотьме? Что-то я не вижу в здешних газетах твоей фамилии. Может быть, ты уехал или отъехал куда-нибудь, и мое письмо не застанет тебя дома?

Живу я здесь уже месяц. Погода, на мой взгляд, великолепная, ягод в лесу полно — так что я не унываю.

Вася Белов говорил мне, что был в Тотьме, был у тебя. В Тотьме и у тебя ему понравилось. Да иначе и не может быть!

Хотелось бы мне встретить тебя, тем более что у меня есть к тебе дело. О нем я пока не стану говорить. Думаю, что заеду в Тотьму, вот тогда об этом и поговорим.

Ты обязательно, я прошу, дай мне ответ на это письмо, если ты дома. Я буду знать, что ты никуда не

* Это стихотворение публикуется в наст. сб., с. 281.

** Вслед за этим переписано стихотворение «Эх, коня да удале азиата...».

*** Первое из названных стихотворений под заголовком «Куда полетим?» опубликовано в сб. «Подорожники» (1976), второе сохранилось в рукописи, в наст. сб. публикуется под названием «Ненастье», с. 278.

**** Сергей Багров вместе с Н. Рубцовым учился в лесотехническом техникуме в 1951—1952 годах, потом был журналистом (в Тотьме и Вологде), сохранил до конца дружеские связи с поэтом. Выпустил несколько книг прозы, живет в Вологде.

уехал. А иначе (если ты уехал) и в Тотьму мне заезжать нечего.

Может быть, ты возьмешь командировку опять в Николу? И тебе неплохо несколько дней пошляться по этой грустной и красивой местности.

Ты не видел моих стихов в «Молодой гвардии» и в «Юности» — 6-е номера? Я недоволен подборкой в «Юности», да и той, в «Молодой гвардии». Но ничего. Вот в 8-м номере «Октября» (в августе) выйдет, по-моему, неплохая подборка моих стихов. Посмотри. Может быть, в 9-м номере. Но будут.

Какие у тебя новости? Как живется тебе? Как пишется?

Жду от тебя письма. До свидания.

Крепко жму твою добрую мускулистую руку!

С искренним приветом *Н. Рубцов*.

Мой адрес: Тотемский р-н, Никольский с/с, с. Никольское. Привет твоей маме. 27/7—64 г.

Пиши ответ скорее: мои каникулы уже на исходе. Во второй половине августа уеду отсюда.

СЕРГЕЮ БАГРОВУ

(Август 1964 г.)

Сережа, милый!

Как доехал? Не сломался мотоцикл?

Сразу после тебя целые сутки у нас был дождь. Сразу же после дождя я побежал в лес искать рыжики. Рыжиков не нашел, но зато написал стихотворение о том, как много в лесу бывает грибов. Это стихотворение* наполовину навеяно случайно сказанной тобой строчкой (а может, и не случайно) «Ведьмы тоже по-детски плачут». Посылаю его тебе. По-моему, оно получилось неплохим. Ты лучше что-нибудь выкинь из тех стихов, а это предложи своей газете.

Я очень был рад твоему приезду. Спасибо тебе, что «наш двор уединенный, пустынным снегом занесенный, твой колокольчик огласил!» (Пушкин).

Вышел 8-й номер «Октября». Там есть и мои стихи. Я уже их читал. А ты не читал? Посмотри, если найдешь как-нибудь минуту свободного времени. Сядь в

* Стихотворение «Сапоги мои — скрип да скрип...», посвященное Н. Рубцовым С. Багрову.

кресло, закури сигару и почитывай их помаленьку, балагурия о том, о сем...

Я получил письмо от одного московского товарища, поэта. Собирается приехать ко мне в Николу. Поздновато он что-то надумал: пока едет, пока то да се, — я буду готовиться покинуть эту святую обитель природы. Да как знать! Может, потом вместе заглянем к тебе.

А рыжики еще будут!

Ваня Серков уехал. Почти всю ночь просидели у прощального костра. Жаль, что и он уехал.

Ну, будь здоров! До свиданья, Сережа. Пиши. Буду ждать.

Сердечный привет Елесину*.

Н. Рубцов.

СЕРГЕЮ БАГРОВУ

(Август 1964 г.)

Сережа!

Черт возьми! Еще раз приходится тебя беспокоить. Пустьак, но все-таки.

Только что отправил тебе письмо и вспомнил, что в посланном стихотворении одна строфа отпечатана не так. Вернее, одна строчка: «Будто **видишь ты** сновидение?»

Надо так: «Будто **видит твоя душа** сновидение?»

Извини за беспокойство.

Еще раз привет!

Н. Рубцов.

СЕРГЕЮ БАГРОВУ

(Осень 1964 г.)

Здравствуй, Сережа!

Видел литстраницу в «Ленинском знамени» — твой рассказ и свои стихи. Твой рассказ мне понравился. За свои стихи благодарен тебе и редакции.

Снимки тоже получил. И тоже большое тебе спасибо. Но тут у меня к тебе вот какое дело: не смог бы ты отпечатать еще и послать снимки, где сидят на колоде Ленька Богданов, Лев Николаевич и я с ними? Это ты зафотографировал у нас во дворе. Этот снимок, конечно, нужен не мне, а Льву Ник. и Леньке, так что послать

* Елесин Василий, журналист, работал в Тотьме, Вашках, Вологде, был близок с Н. Рубцовым. В настоящее время заведует отделом партийной жизни редакции областной газеты «Красный Север», выпустил три книги повестей для детей, член Союза писателей СССР.

его можно и не спешно, хоть когда, когда меня и в Николе не будет.

В Николе я решил прожить вплоть до сентября, т. к. в лесу поспело много брусники. Да и рыжики, должно быть, скоро пойдут.

По-прежнему пишу иногда стихи. Написал после тебя еще 6 стихотворений. Несколько из них посылаю тебе, просто так, почитать.

Ну, будь здоров, Сережа!

Да, я так и не сумел послушать твое выступление по радио. Получил твое письмо уже после выступления и поэтому ничего не знал о нем. А сплю я обычно часов до девяти, так что случайно услышать тебя в эфире тоже не смог: ты ведь говорил по радио часов в 7?

Всего тебе наилучшего!

Салют городу Тотьме, реке Сухоне, всем ее островам и заливам!

Крепко жму руку.

С приветом *Н. Рубцов*.

СЕРГЕЮ БАГРОВУ

30 октября 1964 г.

Дорогой Сережа!

Добрый день!

Я уже три дня в Николе. Один день был на Устье в дороге. Пришлось топать пешком. Не знаю, как бы я тащился по такой грязи, столько километров... с чемоданом! Хорошо, что ты любезно оставил его у себя.

Что новенького в твоей жизни? В личной и общественной? Продолжаешь ли работать над повестью?

Вчера я отправил Каленистову заметки о той учительнице и стихотворение. Стихотворение писать было тяжелей, ей богу! Ты сам знаешь, почему это. Можно было бы подумать еще и над прозой, и над стихами, если б я точно знал, что еще будут ходить пароходы. Ведь если они на днях перестанут ходить, этот мой материалчик мог бы сильно задержаться, и тогда я был бы виноват перед Каленистовым.

Сережа, я здесь оказался совсем в «трубе». На Устье у меня потерялись или изъялись кем-то последние гроши. Сильно неудобно поэтому перед людьми в этой избе, тем более что скоро праздник. Может быть, поскольку я уже подготовил материал, Каленистов может послать мне десятку (только мне ничего и не надо за эту

командировку)? Непосредственно к нему с этим вопросом я решил не обращаться, т. к. плохо знаю его. А вообще надо бы обязательно хоть немного поддержать эту мою избушку.

Праздник я проведу здесь, а потом уеду куда-нибудь. Плохо, что здесь в Николе не найдешь никакой литературной работенки, ни постоянной, ни временной, а без работы жить невозможно.

Здесь выпал, день назад, первый снег. Сегодня растаял. Картины за окном очень унылые. Грибов в лесу нет, стихи не пишутся — я как будто бы сел на мель. Хорошо еще, что можно поразмышлять, подумать, что же делать дальше. Хорошо еще, что в Тотье есть ты, и можно написать тебе письмишко.

Между прочим, сейчас за окном, над этой унылой дорожной грязью, над скучной осенней травой заиграло солнышко.

До свидания, Сережа!

От всей души желаю тебе весело проводить праздник и в остальном — всего наилучшего. Сердечный привет Любви Геннадиевне*, бабушке.

С искренним приветом *Н. Рубцов*.

ВАСИЛИЮ ЕЛЕСИНУ

(Начало ноября 1964 г.)

Дорогой Вася!

Добрый день!

Посылаю заметку о нашем фельдшере**. Редактируй ее и сокращай, как хочешь (это не стихи), но только хоть что-нибудь из этой заметки надо бы напечатать. Так что, если найдешь это возможным, предложи, пожалуйста, заметку в газету.

Живу неплохо. Хожу в лес рубить дрова. Только щепки летят!

Поздравляю с праздником. Будь здоров и счастлив. Передай, пожалуйста, привет Сереже, если он уже вернулся.

С искренним приветом *Н. Рубцов*.

с. Никольское

* Любовь Геннадиевна — мать С. П. Багрова.

** Заметка опубликована в газете «Ленинское знамя» 7 ноября 1964 года.

СЕРГЕЮ БАГРОВУ

(Осень 1964 г.)

Добрый день, дорогой Сережа!

Как ты живешь? Что нового в твоей жизни? Вопрос, конечно, банальный, и сам я, когда мне задают такой вопрос, обычно теряюсь и не знаю, что сказать. Но все-таки я искренне желаю узнать что-нибудь о тебе, о твоей жизни, т. к. давненько уже не видел тебя и не слышал.

Я живу же по-прежнему, среди зимней, рано темнеющей теперь скучной никольской природы. Нехотя пишу прозу, иногда стихи.

Жаль, что Гета* (из Николы) без твоего ведома взяла у тебя дома мой чемодан. Она бы этого не сделала, если бы не спешила на грузовик, в котором отправлялась из Тотьмы. Между прочим, я просил ее, чтоб она только подстрочники стихов Хазби взяла из чемодана, но она без тебя все равно ничего бы не нашла, поэтому унесла их вместе с чемоданом.

Что буду делать дальше, я еще не знаю. Хочу все-таки до того, как поеду отсюда, что-нибудь закончить, хотя бы несколько глав повести, которую я задумал. А еще пришла в голову дурацкая мысль записать кое-какие свои соображения о поэзии в литературной форме и дать им заголовок «Письмо другу». Вот так, Сережа.

Напиши когда-нибудь несколько слов мне. Крепко жму руку.

С приветом Коля.

СЕРГЕЮ БАГРОВУ

(Декабрь 1964 г.)

Добрый день, Сережа!

Вчера, сразу же после нашего разговора по телефону, взялся за новогоднее стихотворение и написал его. Помоему, получилось неплохо, потому посылаю его тебе.

Вместе с этим стихом посылаю еще несколько с другими темами. Одно из них философское — «Душа». Может быть, и эти стихи когда-нибудь после праздника Вы сможете напечатать. Они по своему настроению и мыслям тоже печатные.

Жизнь моя идет без всяких изменений и, кажется, остановилась даже, а не идет никуда. Получил письмо

* Гета, Генриетта Михайловна — жена Н. М. Рубцова.

от брата из Ленинграда. Он зовет меня в гости, но я все никак не могу сдвинуться с места ни в какую сторону. Выйду иногда на улицу — увижу снег, безлюдье, мороз и ко всему опять становлюсь безразличным и не знаю, что мне делать, да и не задумываюсь над этим, хотя надо бы задуматься, т. к. совсем разонравилось мне в старой этой избе, да и время от времени рассчитывать ведь надо за эту скучную жизнь в ней. Было бы куда легче, если б нашлись здесь близкие мне люди. Но их нет, хотя ко всем я отношусь хорошо. Впрочем, хорошее отношение здесь тоже понимает каждый по-своему и все отлично от меня.

Хорошо то, что пишется. Но ужасно то, что так тяжело печатать стихи: слишком много тратится на это времени.

У меня пока все. Может быть, ты посоветуешь мне сделать что-нибудь интересное в жизни?

Поздравляю с чудесным праздником — елкой, желаю тебе весело встретить и проводить ее.

С приветом *Н. Рубцов*.

С. В. ВИКУЛОВУ*

(Октябрь—ноябрь 1964 г.)

Дорогой Сергей Васильевич!

Пишу Вам из села Никольского. Это в Тотемском районе. Решил провести здесь праздник и подзаняться чтением, пока нет его, праздника. Читаю самого Льва Толстого. Между прочим, об этом — что читать надо — сказал мне А. Я. Яшин** однажды. И этот много раз слышанный совет вдруг поразил меня. В самом деле, оказывается, удивительно хорошо и полезно, уединившись в какой-нибудь глухой избе, читать целыми днями прекрасные книжки. А еще я должен кое-какой материал (ну, заметки, статьи, стихи) подготовить для здешней районной газеты. Там я скромно заработаю на дорогу отсюда. Немного стихов не по просьбе тоже, наверное, напишу.

* Викулов С. В. — известный поэт, сейчас живет в Москве, тогда — ответственный секретарь Вологодской писательской организации.

** Яшин А. Я. (1913—1968) — известный писатель, поэт и прозаик, уроженец Вологодчины, жил в Москве, отечески относился к Н. Рубцову.

Недавно здесь выпал первый обильный снег (с дождем он уже давненько пролетал), это было так внезапно, так красиво — снег лежит повсюду — на крышах, на порогах, на дорожной грязи. На меня это подействовало, как в детстве. Но на другой день снег растаял, и за окном опять возникли во всей своей унылой красоте прежние осенние картины.

Сижу порой у своего почти игрушечного окошка и нехотя размышляю над тем, что мне предпринять в дальнейшем. Написал в «Вологодский комсомолец» письмо, в котором спросил, нет ли там для меня какой-нибудь (какой угодно) работы. Дело в том, что если бы в районной газете и нашли для меня, как говорится, место, все равно мне отсюда не выбраться туда до половины декабря. Ведь пароходы перестанут ходить, а машины тоже не смогут пройти по Сухоне, пока тонок лед. Так что остается одна дорога — в Вологду — с другой стороны села, сначала пешком, потом разными поездами.

...Я хочу поблагодарить Вас за поддержку и еще от всей души пожелать Вам весело проводить праздник, с которым я Вас поздравляю, и пожелать в остальном, пользуясь случаем, всего наилучшего. Еще надо А. Я. Яшину написать — поздравить и пожелать ему здоровья. Не знаю только, найду ли сегодня еще листок бумаги для письма....

С искренним приветом *Н. Рубцов.*

С. В. ВИКУЛОВУ

(Октябрь — ноябрь 1964 г.)

Сергей Васильевич!

Когда Вы предложили мне дать стихи для «Красного Севера», тогда я еще не подумал, что сделаю это, т. к. был доволен уже тем, что получу командировку, и чувство успокоенности (и благодарности, но об этом я уже говорил Вам) было достаточно полным, чтобы не пополнять его. А сейчас, когда подошло время, я подумал о том, что жизнь все-таки не стоит на месте, и почему бы мне, если Вы тогда не пошутили, не послать Вам стихи? Я посылаю Вам кое-какие стихи, но, конечно, не прошу напечатать их, т. к. это зависит от Вашего о них мнения, и буду вполне готов к тому, если они не будут напечатаны.

Среди этих стихов есть одно чисто философское — «Душа»*. Говорю о нем отдельно потому, что оно смущает меня своей холодноватостью, но и все же я не прочь напечатать его...

Все последние дни занимаюсь тем, что пишу повесть** (впервые взялся за прозу), а также стихи, вернее, не пишу, а складываю в голове. Вообще, я никогда не использую ручку и чернила и не имею их. Даже не все чистовики отпечатываю на машинке — так что умру, наверно, с целым сборником, да и большим, стихов, «напечатанных» или «записанных» только в моей беспорядочной голове. Но это между прочим. Пустяки.

Извините, что посылаю вторые экземпляры стихов: первых не осталось, а сейчас мне машинку дали только на несколько минут.

Всего Вам хорошего.

С приветом и любовью *Н. Рубцов*.

А. А. РОМАНОВУ***

(Осень 1965 г.)

Дорогой Саша!

Несказанно был рад твоей весточке.

Одно меня озадачило: о какой рукописи ты говоришь? Рукопись моей книжки лежит в Архангельском издательстве. Она пришла оттуда на Вол. отделение, что ли? Или ты имеешь в виду рукопись стихов, которые я послал С. В. Викулову? Если эту рукопись, то тогда о какой рецензии ты пишешь мне? Эти стихи я послал С. В. с той целью, чтобы он смог отобрать стихи из них для подборки в «Кр. Север», о которой у нас был разговор с ним до этого.

А тебя, Саша, от всей души поздравляю и желаю тебе на этой новой должности всего самого доброго****.

Стихов пишу, да, много. Не знаю даже, что делать с ними. Мне самому они абсолютно не нужны, когда уже закончены, а и никому, видно, не нужны, раз их не пе-

* Стихотворение «Душа» впервые опубликовано посмертно в сб. «Подорожники» (1976) под названием «Философские стихи».

** Возможно, повесть была написана, но утеряна, видимо, еще при жизни Н. М. Рубцова.

*** Романов А. А. — поэт, автор многих книг стихов, живет в Вологде.

**** В это время А. Романов был избран ответственным секретарем Вологодской писательской организации.

чатаяют (бывают, конечно, исключительные случаи). Хорошо бы, Саша, если бы из «Кр. Севера» в счет стихов, которые будут напечатаны, как-нибудь, каким-нибудь образом послали мне немного денег до Нового года.

Ты не мог ли чуть-чуть похлопотать об этом?

Мне тут, в этой глуши, страшно туго: работы для меня нет, местные власти начинают подозрительно смотреть на мое длительное пребывание здесь. Так что я не всегда могу держаться здесь гордо, как горный орел на горной вершине. «Кр. Север» напечатает только один стих, ради снисхождения? Наверное, так и будет. Только мне вся эта мелкая возня вокруг какого-нибудь дурацкого одного стишка надоела и не нужна. Всегда столько разговоров, работы на машинке, всякого беспокойства, усилий — и ради чего? Ради того, чтобы увидеть, что вот все-таки напечатали? Есть в газете 8—10 строк! Правда, Саша, все это как-то ненормально? Были бы у меня средства, я никогда не напечатал бы стихи, не стремился бы к этому, т. к., насколько я убедился, стихи, вернее, хорошие стихи (не говорю о себе) печати не нужны. Это обстоятельство, как самый печальный цветик в букете остальных печальных обстоятельств в жизни пишущих ребят, не имеющих литературного имени.

Ну, я разболтался, как воробей на зерне. Извини. Очень рад был бы увидеть тебя.

С сердечным приветом *Н. Рубцов*.

А. А. РОМАНОВУ

(Сентябрь 1965 г.)

Дорогой Саша!

Очень рад был твоей весточке. Извини только, что не поздравил тебя с праздником. Дело в том, что я не успел сделать этого. Как только пошел на почту, так сразу же по дороге угодил в самый разгар праздника. А потом посылать телеграмму было уже поздно.

Кое-что о делах.

Здесь подписались после моего разговора на 3 номера журнала «Север». Только пока на 3. Знаешь, поздно вато взялись за это дело: агитация насчет подписки на всевозможные издания здесь была проведена раньше, люди подписались в результате уже на все, на что были способны. Ну, ничего, может еще кто-нибудь надумает <...>

...С Москвой пока не поддерживаю никакой связи. Да это и ужасно трудно при никаких транспортных и дорожных условиях. И жаль еще: у меня здесь нет пишущей машинки, а я срочно должен перепечатывать рукопись «Сов. писовскую» и отсылать ее. Но это все, конечно, ни в коей мере не должно касаться. Это я пишу просто так — «жалобы турка».

В. Елесин поместил в здешней газете хорошую (даже очень хорошую) рецензию на мою книжку* и тот же хороший отзыв о ней написал мне в личном письме. Вообще он молодец. Наверное, ведь сделал он это вопреки воле мрачного редактора.

Вопрос: как все-таки из этой глуши ты посоветуешь мне «проявить себя» в Вологде?

Саша, я тут поднаписал кое-каких стихов. Два из них — «Осенние этюды» (длинное) и «Кружусь ли я...» — посылаю тебе с просьбой: предложи ты, пожалуйста, если сам найдешь возможным, хотя бы эти «Этюды» в «Вологодский комсомолец». Стихотворение это лирическое, картинное, с кое-какими мыслями на, так сказать, общечеловеческие темы. Намерен, между прочим, в будущем написать целый цикл такого рода.

А в стихотворении «Кружусь ли я в Москве бурливой» можно заменить кое-какие эпитеты. И в частности, «грустные стихи» можно заменить «добрыми», «адский дух» — «бодрым» и стих будет абсолютно даже комсомольским. Да ты сам все поймешь прекрасно.

Вызова твоего жду. Может, смогу из этого бездорожья выбраться.

Сердечный привет твоей семье, Васе Белову, С. Багрову (что он мне журнал-то не послал?)

Да хранит тебя бог.

Н. Рубцов.

Р. С. Прошу тебя передать в редакцию стихи лишь потому, что сам я теперь не сразу соберусь им написать. Просьба моя, так сказать, попутная с этим письмом тебе. Да ведь там все рядом. Все дело в том, одобришь ли ты сам-то эти стихи.

Еще раз всего наилучшего!

* В 1965 году вышла первая книжка Н. Рубцова «Лирика» в Северо-Западном книжном издательстве, включившая 25 стихотворений. Рецензия В. Елесина на сборник Н. Рубцова опубликована в районной газете «Ленинское знамя» (Тотьма).

Да, там есть строка: «Картины нашей жизни одна другой прекраснее...» Так надо бы «Картины... одна другой туманнее».

А. А. РОМАНОВУ

(Начало 1966 г.)

Добрый день, Саша!

Получил ты или нет мое первое письмо, которое я написал тебе еще до Нового года, — я не знаю.

Живу по-прежнему.

Саша, будут <...> или не будут мои стихи в «Кр. Севере»? Забыли о них, может быть? Если же не забыли и отменили опять их публикацию, то сообщи, пожалуйста, об этом. Чтоб я не надеялся.

Нет ли какой-нибудь работы для меня в Вологде? Здесь ее нет. Чувствую себя изгнанником.

Спасибо за рецензию на подборку тех моих стихов. Я эту рецензию получил.

Привет В. Белову.

Пока все. Прошу только, Саша, пошлите, пожалуйста, мне сюда пару слов о том, о сем.

Желаю тебе и Тасе* и всей семье всего самого наилучшего.

С искренним приветом *Н. Рубцов*.

Гогемский р-н, с. Никольское.

ВАСИЛИЮ ЕЛЕСИНУ

(Октябрь 1965 г.)

Дорогой Вася!

Я опять в Николе. На сей раз в командировке сюда на длительный срок Союзом писателей.

Возможно, что скоро уеду.

У меня вышла книжечка**. Конечно, тут далеко не все, на что я способен. Ну пусть. Посылаю одну книжечку тебе. Найдешь нужным — отрецензируй, я не буду против.

А еще в 10 номере «Октября» вышла большая подборка моих стихов. Можешь посмотреть.

Вот вкратце такие мои дела.

* Тася, жена Романова, Анастасия Александровна.

** Имеется в виду первая книжка Н. Рубцова «Лирика».

Сейчас я возьмусь писать два очерка по заданию журнала «Сельская молодежь». Вполне возможно, что ничего не напишу*.

Вася, милый, как ты там живешь в своей скучной, но хорошей Тотьме? По-прежнему? Есть ли новости?

В Москве я побывал у Александра Яшина. Осталось очень хорошее, но печальное воспоминание: слишком уж часто он болеет. Ну, жму руку.

Напиши мне. Буду рад.

С приветом *Н. Рубцов*.

ВАСИЛИЮ ЕЛЕСИНУ

24 октября 1965 г.

Добрый день, дорогой Вася!

Я рад, что книжечка моя тебе в общем-то понравилась. С твоими дружескими (очень уж скромными) замечаниями я согласен. Да, есть у меня пристрастие к восклицательным знакам. Ставить их где надо и где не надо. Ну, а насчет того, что колокол под дугой звенеть не может, даже «легонечко», когда лошадь идет шагом, — это, Вася, плод твоей великолепной фантазии. Сейчас вот бабки говорят: «Колокольчик на любой животине всегда звенит». Да и как ему не звенеть, если дороженьки-то наши настолько ухабисты, Вася, что тут и дуга, и оглобли, и груз, не только колокольчик — все запоем. Ну, да бог с ними.

Сережу Багрова, да, я видел в Вологде**. Правда, быстро расстались. Прошлись только от редакции до рынка.

О себе писать нечего. Могу только сказать, что очень полюбил топить печку по вечерам в темной комнате. Ну, а слушать завывание деревенского ветра осенью и зимой — то же, что слушать классическую музыку, например, Чайковского, к которому я ни разу не мог остаться равнодушным.

Вася, я посылаю тебе два стихотворения и, как это говорится, прошу напечатать, что можно, в газете.

Одно из них — «Осенние этюды» — посвящается А. Яшину, т. к. ему понравились те картины, которые есть в этом стихотворении. Стихотворение абсолютно печатное. В другом стихе есть у меня строчки: «Склоню

* Очерк для журнала «Сельская молодежь» написан не был.

** В это время С. Багров приехал в Вологду и работал в редакции газеты «Вологодский комсомолец».

ли голову, слагая о жизни грустные стихи». Если вашу газету не устроит слово «грустные», можно его заменить другим. Это сделать легко, хотя никакое другое слово, никакой другой эпитет здесь не будет точнее и лучше. Еще в этом же стихотворении есть строчки: «Нет, не найдет успокоенья мой беспокойный бодрый дух!» Это вариант для газеты. Но, может быть, газета примет и другой, лучший вариант этих строчек: «Нет, не найдет успокоенья во мне живущий адский дух!» Буду очень рад, если в нашей газете еще раз появятся мои стихи. Особенно я желал бы увидеть там «Осенние этюды».

Вася, читал ли ты мою подборку в «Вол. комсомольце» за 10 октября? Видел ли подборку в журнале «Октябрь» в 10 номере? Если видел, то покажи их и редактору.

Пиши. Крепко жму руку. Не унывай!

С искренним приветом *Н. Рубцов*.

В. НЕЧУНАЕВУ и Б. ШИШАЕВУ*

(Июнь-июль 1966 г.)

Добрый день, Вася и Боря.

Вспомнил вдруг, что вы скоро уедете из Москвы (ведь уже экзамены?), и вот спешу послать вам весточку.

Вообще, вас вспоминаю часто.

Доехал я тогда, как это говорится, благополучно.

Сначала побывал у тебя дома. У тебя, Вася. Встретили меня хорошо. Матрена Марковна передает тебе привет. А еще она спрашивала, пьешь ли ты вино (я отвечал — нет), как живешь и т. д.

На другой день видел Ольгу. Мы с ней немного поговорили и потом я сразу же поехал к С. Вторушину. От Славки сразу же опять направились к Ленке Мерзликину. У него я и остался ночевать. Через два дня я был уже не в Барнауле, а в Бийске и — через несколько часов в Красногорском.

Гена Володин, а также жена его Галя, встретили меня вполне гостеприимно. И до сих пор живется мне у них неплохо.

* Письмо отправлено с Алтая, откуда родом В. Нечунаев, друзьям в литинститут.

Правда, твое представление о Швейцарии, мне кажется, не совсем верное — иначе ты не стал бы эту грязно-пыльную-снежную, похожую на пустырь местность (я давненько не видел такой неживописной местности) сравнивать с ней, со Швейцарией. Гена говорит, что зато очень красиво за ближайшей горой. Ну что ж, посмотрим.

Частенько сейчас бываем на рыбалке с Геной и его товарищами.

Цветы здешние мне понравились. Вино плохое. Поэтому, наверное, я его так редко здесь пью. Предпочитаю чай.

Вот так внешне я сейчас и живу.

Боря, а как ты чувствуешь себя? Понял ли ты наконец, что еще слишком и слишком рано и совершенно бессмысленно сочинять завещания? Куда интереснее и веселее сочинять (ну, писать) стихи. Летом земля (вообще жизнь) особенно красива. А сколько еще впереди этих лет?

Вася и Боря, мне очень и очень интересно узнать, как складываются сейчас ваши жизненные обстоятельства, чем вы сейчас, как говорится, дышите. Поэтому буду рад и благодарен вам, если вы (перед отъездом из Москвы) пошлете мне сюда письмецо.

Вася, все твои товарищи и знакомые, которых я здесь видел, передают тебе искренний привет. А значит, и Боре. Особый привет от Ольги.

Заканчивая письмо, я хотел бы и вас попросить передать мой привет некоторым ребятам из института: Эдику Крылову, Лене [Самохвалову]*, С. Чухину, С. Петрову, В. Юдинову.

А когда ты, Боря, будешь в Рязани, то передавай привет Жене Маркину.

Еще вот что: почему не послал мне Алиферовский контрольные работы? Узнайте, пожалуйста, там. Или все эти ребята уже уехали? Плохо тогда. Мне эти контрольные, кажется, очень нужны.

Ну, жду ответа. Пишите обо всем. Побольше — о себе. Крепко жму ваши мускулистые руки.

с. Красногорское Красногорского района Алтайского края, ул. Мира, д. 15а, кв. 5.

Ваш Н. Рубцов.

* Фамилия неразборчива.

Уважаемый Василий Иванович!

Обращаюсь к Вам в крайнем случае по чрезвычайно важному для меня делу. Я вовсе не склонен к официальному тону своего обращения к Вам — поэтому пишу Вам обычное (ну, пусть просительное) письмо, а не специальное заявление.

Для ясности общей картины расскажу немного, без всякого художества и подробностей, о своей жизни.

Родился я в 1936 г. Родителей лишился рано, поэтому исключительно мало знаю о них. С пяти лет воспитывался в различных детдомах Вологодской области, в частности в Никольском Тотемского района. Там закончил семь классов, и с тех пор мой, так сказать, дом всегда находился там, где я учился или работал. А учился я в двух техникумах — в лесотехническом и горном, работал кочегаром тралового флота треста «Севрыба», слесарем-сборщиком на заводском испытательном полигоне в г. Ленинграде, шихтовщиком на Кировском (бывшем Путиловском) заводе, также в Ленинграде, прошел четыре года военной службы на эскадренном миноносце Северного флота. В 1962 г. сдал экстерном экзамены за десять классов и поступил на заочное отделение Литературного института им. Горького в г. Москве. В настоящее время — студент-заочник последнего курса этого института. Начиная с того же 1962 г., я постоянно жил и зарабатывал, как говорится, на хлеб (а также занимался студенческими делами) в г. Вологде и ее окрестностях. Но постоянного адреса все это время не имел. Снимал «углы», ночевал у товарищей и знакомых, иногда выезжал в Москву — на период экзаменационных сессий. В общем, был совершенно не устроен.

При вашем благожелательном участии (Вы, конечно, помните встречу с Вами вологодских и других писателей) я получил место в общежитии. Искренне и глубоко благодарен Вам, Василий Иванович, за эту помощь, т. к. с тех пор я живу в более-менее нормальных бытовых условиях.

Хочу только сообщить следующее:

1. Нас в комнате проживает трое.

* В. И. Другов — в то время секретарь Вологодского обкома КПСС.

2. Мои товарищи по местожительству — люди другого дела.

3. В комнате, безусловно, бывают родственники и гости.

Есть еще много такого рода пунктов, вследствие которых я до сего времени не имею нормальных условий для работы. Возраст уже не тот, когда можно бродить по морозным улицам и на ходу слагать поэмы и романы. Вследствие тех же «пунктов» я живу отдельно от жены — впрочем, не только вследствие этого: она сама не имеет собственного жилья. Среди малознакомых людей я привык называть себя «одиноким». Главное, не знаю, когда это кончится.

Василий Иванович! Вряд ли ошибусь, если скажу, что жизнь зовет к действию...*

* Письмо не закончено и не отправлено.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	17
I. ВОСПОМИНАНИЯ И ПОСВЯЩЕНИЯ	
С. Викулов. Его подснежники	23
А. Мартюков. Детдом на берегу	47
А. Меньшикова. Как сейчас вижу...	52
Обзор писем. В большой семье	55
Б. Романов. Встречи и впечатления	62
В. Сафонов. «...Иметь большую цель»	65
В. Карпущенко. Продолжение песни	81
И. Михайлов. В «Нарвской заставе»	85
Б. Тайгин. «Волны и скалы»	89
Г. Горбовский. Долгожданный поэт	93
Г. Горбовский. «И вспомнилось мне...»	98
С. Макаров. «Мы буквы изучим...»	101
Э. Крылов. На первом курсе	104
В. Кожин. В кругу московских поэтов	110
С. Куняев. Памяти поэта	122
Б. Шишаев. Его беспокойная пристань	124
В. Чичинов. Алтайская страница	131
Б. Укачин. Письмо Николаю Рубцову	133
А. Рачков. Лицом к лицу	135
Ю. Леднев. «Никто не волен музыку земли...»	152
В. Кузнецов. Тревожный житель земли	153
С. Куняев. Русский огонек	157
В. Петров. «Отзовется острой болью слово...»	175
С. Багров. Пахло некошеным клевером	176
Н. Старшинов. «Рябина от ягод пунцова...»	183
В. Елесин. «Расплатимся любовью...»	184
И. Таяновский. Кони	194
Б. Чулков. Осенняя песня	196
Б. Чулков. «Листок, осенним мчимый ветром...»	199
С. Чухин. До последнего дня	200
А. Романов. Всего один день	209
Е. Вдовенко. Сугробы	216
В. Степанов. Последние годы, последние встречи	218
А. Передреев. Кладбище под Вологдой	228
М. Корякина. Душа хранит	229
Э. Дубровина. Георгины	247
В. Коротаяев. «Гиря дошла до полу...»	248
В. Коротаяев. Памяти Николая Рубцова	255
В. Оботуров. Стихи и дни	257
В. Ельтипифоров. «Кто-то вышел...»	270
II. ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НИКОЛАЯ РУБЦОВА	
Ранние стихотворные опыты	
О природе	273
Первый поход	—

Мое море	274
Учебная атака	—
В дозоре	275
Поэзия	276
Сердце героя	277
Начало любви	—
Пародия	278
Ненастье	—
Сказка-сказочка	279
Вспомнилось море	—
Пусть поют поэты!	280
На злобу дня. Экспромт	281
Рассказ о коммунисте	282
Октябрьские ветры	—
Переводы	
<i>Далекий друг Хазби Дзаболов, А. Брагин</i>	283
Общее горе	284
Когда кричала сорока	285
На могиле отца	—
Огонь	—
Давно я не вставал по крику петухов	—
«Меня война солдатом не застала...»	286
Пожелание новорожденному	—
«Горбоносый, в коротких штанишках...»	—
«Человек переносит любую беду...»	—
«Всегда заботой матери храним...»	287
О поэзии и о себе.	
От автора. Предисловие к рукописному сборнику «Волны и скалы»	288
Коротко о себе	289
Подснежники Ольги Фокиной	290
Настроив душу на добро	292
Письма	294

ВОСПОМИНАНИЯ О РУБЦОВЕ

Редактор А. С. Глущенко

Рисунки шмуцтитлов, портрет художника Ю. А. Воронова

Переплет, форзац художника А. С. Мазурина

Технический редактор Н. Б. Буйновская

Корректоры Н. К. Галкина, В. А. Фокина

ИБ № 311

Сдано в набор 17.05.83 г. Подписано в печать 30.08.83 г. ГЕ04426.

Форм. бум. 84×108/32. (бум. тип. № 2). Гарнитура литературная.

Высокая печать. Физ. печ. л. 10,0. Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 16,063.

Тираж 15000. Заказ 4928. Цена 1 р. 40 к.

Северо-Западное книжное издательство,

Вологодское отделение, 160000, Вологда, Урицкого, 2.

Областная типография, 160001, Вологда, Челюскинцев, 3.



